

Звезда Востока

Литературно-художественный журнал
писателей Узбекистана

3'96

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Сабит МАДАЛИЕВ
главный редактор

*Карим
ЕГЕУБАЕВ*

Райхан САДЫКОВ
ответственный
секретарь

*Алексей
УСТИМЕНКО*

*Лейла
ШАХНАЗАРОВА*

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Вячеслав Авилов. Август. Суббота. Восемнадцатого
Рассказ.....48
Ахмад Арифханов. Записи между молитвами.....75

ПОЭЗИЯ

Усман Азим. *Стихи*.....69
Вадим Муратханов. *Стихи*.....72
Дмитрий Григорьев. *Стихи*.....85
Дмитрий Чернышев. *Стихи*.....86
Николай Румянцев. *Стихи*.....88

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ВОСТОКА

Алишер Навои. Дуновения любви.....3

ВОСТОЧНЫЙ ДИВАН

Сабит Мадалиев. Житие Юсуфа аль-Магриби.....11
Павел Цветков. Под семью небесами — над
бездной.....116

ИЗ ОПЫТА МИРОВОЙ ПОЭЗИИ

Эмили Дикенсон. *Стихи*.....45

МИР ЕДИН: ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ

Марк Стронд. *Стихи*.....47

ЭССЕ О ПОЭЗИИ

Виктор Райкин. Взросление.....111

ИЗДАЕТСЯ
С 1932 ГОДА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ	БЕЗ СЮЖЕТА _____
<i>Абдухолик</i>	Шамшад Абдуллаев. Натюрморт. Лето.....91
АБДУРАЗАКОВ	Васильев Кондратъев. Сеанс. Закрытый город. Дворцы мёртвых.....101
<i>Абдуманап</i>	ПОЭЗИЯ ЭМИГРАЦИИ _____
АЛИМБАЕВ	Григорий Калчан. <i>Стисси</i>107
<i>Шавкат</i>	Максим Суханов. <i>Стисси</i>108
АЛИМОВ	ДРАМЫ "КРАСНОГО" ВОСТОКА _____
<i>Кахрамон</i>	Валерий Германов. Печальные призраки.....140
АЛЛАЕВ	ЭПОХА И ЛИЧНОСТЬ
<i>Валентин</i>	Светлана Горшенина. Странный археолог Кастанье.....146
БОЧИН	ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ _____
<i>Валерий</i>	Юсуф Караев. Фукуоко.....161
ГЕРМАНОВ	КРИПТОГРАММЫ _____
<i>Светлана</i>	Абдулхамид Исмомли. О философии узбекского языка.....162
ГОРШЕНИНА	GAUDEAMUS IGITUR _____
<i>Абдухаким</i>	Майкл Маклашевич. Письмо о сёистической войне.....175
ДАМИНОВ	ВЫМЫСЛЫ И ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ _____
<i>Михаил</i>	Валерий Вотрин. Человек бредущий. <i>Фантастическая повесть</i>183
КОСТЕЦКИЙ	
<i>Николай</i>	
КУЧЕРСКИЙ	
<i>Нина</i>	
ЛЫСАКОВА	
<i>Насирулла</i>	
МИРКУРБАНОВ	
<i>Талиб</i>	
САИДБАЕВ	
<i>Сергей</i>	
СТРОГИЙ	
<i>Валерий</i>	
ТАТЕОСОВ	
<i>Шоир</i>	
УСМАНХОДЖАЕВ	
<i>Шакасым</i>	
ШАИСЛАМОВ	
<i>Сергей</i>	
ШАЙТАРОВ	
<i>Владимир</i>	
ШАПИРО	
<i>Аскар</i>	
ЮНУСОВ	

Алишер Навои

ДУНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ

фрагменты из книги

Книга "Дуновения любви" была написана Навои в последние годы жизни под большим впечатлением от сочинения "Ароматы дружбы" его старшего друга и наставника, великого персидско-таджикского поэта Абдуррахмана Джамии. В ней собраны рассказы о выдающихся людях Востока разных времён.

Книга Джамии была написана на персидском языке, и тюркам, не владевшим им, оказалась недоступна. Навои пожелал сделать её достоянием и своего народа. Во вступлении он подробно рассказывает об истории замысла и о том, какие мотивы руководили им при её создании. Сам он скромно называет свой труд переводом, но это скорее переложение книги Джамии на тюркский язык, дополненное новыми фактами и его интерпретацией их.

Любовь ко всему сущему, лежащая в основе суфизма, органически увязывается с любовью к ближнему, к обездоленному. Известно, что забота о благе народа никогда не покидала Навои. В один голодный год он заплатил налог за весь свой край. Но он заботился и о душах людей (и не только бедных), об их нравственности. Вот он рассказывает притчу об одном великом шейхе, который в богатом облачении и в сопровождении большой свиты слуг и сподвижников ехал в повозке. Горделивые мысли полезли ему в голову: "Вот я каков, вот чего я добился!" И в это время идущая впереди лошадь громко испустила ветры ему в лицо. Великий шейх расхохотался. Окружающие спросили, почему он смеётся. И тогда он объяснил им: гордыня вскружила ему голову, а случай показал, чего он заслуживает. Как бы высоко ни вознёсся человек, нельзя заноситься.

Хвала Аллаху, который открывает сердца святых дуновением из садов любви и гармонии и радует души любимых его друзей ароматами из цветников благородства и поисков истины, к которым приходит гордость честью бедности и благодаяния и с которыми распространяется честь веры на современников. Он — источник чудес, обычаев и вдохновений, Он — рудник всевозможных диковин. Пусть благословит Аллах Его лучшие династии и Его непорочных последователей.

Как рассказывает бредущий по долине невежества и отчаяния Алишер, прозываемый Навои, да отвратит Аллах его лицо от долины заблуждения и направит на праведный путь, в 881 году¹ этот бедняк, лишённый средств к существованию, помогая хазрату², мастеру своего дела, потомку пророка, достойному веры, заслуженному человеку, мавляне³, светочу веры и нации Абдуррахману Джамии, да будет над ним милосердие и всепрощение Божие, и Божье приветствие и согласие, собрал и привёл в порядок его книгу "Ароматы дружбы от великих благородством людей". Хазрат, да святится его гробница, в этой славной книге приводит их жизнеописания и поясняет их в комментариях, — те, кто читал, знают, а те, кто не читал, могут прочесть и узнать.

...Вслед за пророком его благородные сподвижники — Избранные — наставляют на праведный путь — путь к Всемилостивейшему и Всевышнему. И именно они, да не уменьшится благоденствие их благословенных натур, дарят надежду, что эта религия и шариат до конца света будут дорогою истины.

О НЕКОТОРЫХ ДЕЛАХ И ПОСТУПКАХ ЛЮДЕЙ ЭТОГО СОСЛОВИЯ, ИХ ОБХОЖДЕНИИ И ВОЗДЕРЖАНИИ ОТ ЖЕЛАНИЙ

Первая их забота — раскаяние. Всевышний и всемилостивейший Аллах оберегает их от любых посторонних дел. Для них возможно лишь небольшое количество еды — и только дозволенной.

Многие шейхи добывали себе еду своим ремеслом. Шейх шейхов Абусаид Харроз, которого называли предводителем суфиев, и шейх-уль-ислам⁴, близкий друг хазрата Ходжа Абдулла Ансари писали родословное древо шейхов. Из всех святых чаще описывают и более высоко ставят этих. Они были мастерами, шьющими сапоги.

Шейх Мухаммад Саккок, да будут святы его тайны, единственный шейх своего времени, был мастером, изготавливающим ножи.

Шейх Абухавс Хаддад, да освятит Аллах его дух, занимался кузнечным ремеслом.

Шейх Абубакр Хаббад, да будут святы его тайны, известен как пекарь.

Шейх Абулаббас Омили, вождь и помощник своего времени, и султан тариката, шейх Абусаид Абулхайр были мясниками.

Шейх Ибрахим Аджари шлифовал камни.

Мирчай, торговец керамикой, который был пиром⁵ народа Хорасана, складывал печи для обжига керамики.

¹ 881 год Хиджры соответствует 1476 году христианского летоисчисления.

² Хазрат — господин.

³ Мавляна — титул мусульманских богословов и учёных.

⁴ Шейх-уль-ислам — глава духовенства в ханствах Средней Азии; здесь и далее — Абу Исмаил Абдулла ибн Мансур Мухаммад Ансари Хирави.

⁵ Пир — авторитетный духовный наставник в суфийской традиции.

Шейх Абулхасан был цирюльником, шейх Баннон — носильщиком, и единственный из последних шейхов хазрат Ходжа Бахауддин, да освятит Аллах его дух, был известен умением наносить рисунки на шёлковую одежду.

И другие великие шейхи зарабатывали себе на хлеб своим трудом, — дозволенный кусок хлеба говорит о твоём благородстве и просвещённости, а одна сомнительная корка¹ приводит к неисправимому.

Существовали правила шариата, которым следовало подчиняться и, насколько возможно, не преступать. Шейх уль-ислам говорит: "Если от чего-нибудь взять немного, часть непременно останется. С шариатом — по-другому: если от него взять хоть самую малость, от него ничего не останется".

...Для Избранных путь к успокоению — в царстве Всемиловитейшего и Всевышнего, и сила — в сокровищнице его благородства. На путь паломничества они вступают с тем спокойствием и силой, которые дают уважение к тем четырём опорам, и с упоением преодолевают этот путь.

И ещё есть одно правило, которого придерживаются эти люди. На пути суфизма по шариату следует держать себя подобающе с хорошими и плохими, большими и малыми. Это значит — со всеми вести себя скромно и всем служить, и всем платить добром, даже своим слугам и рабам. И никогда ни с кем не говорить грубо, а наставлять мягко и приветливо, будь это даже воры или отступники от шариата.

Рассказывают, Ходжа-Абул Вафон Хорезми, да будут святы его тайны, как-то сидел у стены и читал при свете из одной щели. Какой-то вор подкрался сзади и стал стаскивать с него чалму. "Оставьте меня и чалму в покое, — говорил ходжа. — Она такая дряхлая и ветхая, что вам она совершенно ни к чему". Эти слова не произвели никакого впечатления на вора, и ходжа отдал ему чалму. Вор тут же развернул её, убедился в её негодности и швырнул на землю. Ходжа подобрал её, невозмутимо накрутил снова на голову и сказал сам себе: "Этот человек привык во всём разбираться самостоятельно".

РАССКАЗЫ О ЧУДЕСАХ, СЛУЧАВШИХСЯ СО СВЯТЫМИ

Их много, как и степеней святости. В частности, вот некоторые: создание несуществующего и уничтожение существующего, обнаружение скрытого повеления и сокрытие явного повеления, принятие молитвы (Богом), пересечение больших расстояний за короткое время, сверхчувственное узнавание и передача мысли, способность узнавать и сообщать о том, что скрыто от чувств, из одного превращаться в многих и появляться в отдалённом месте, воскрешение умершего и умерщвление живого, умение слышать и понимать язык неодушевлённых предметов, растений и животных, из чёток и многого другого необъяснимо как готовить еду и питьё, ходить по воде и летать по воздуху, есть то, что обычно в пищу не употребляется...

У одного дервиша спросили: "Кто низок, презрен?" Он сказал: "Тот, кто молится Богу от страха или ради надежды". У него спросили: "А ты почему молишься?" Ответил: "Меня держат в благочестии Его любовь и любовь к Нему".

¹ Сомнительная пища — еда, о которой не известно, каким образом она была добыта — честно или нет, и как была приготовлена.

Баязид Бистами, да благословит Всевышний Аллах его дух, — из первого сословия. Его имя — Тайфур бинни Иса Ахмад Хизравия. Он видел Абу Хафза, Яхью Мааза и Шакыка балхи. Он был мыслящим человеком, но открылись для него врата святости, а он не увидел в этом своего пути. Когда Баязид совершал намаз, из его груди исходило шуршание костей от страха перед Всевышним и преклонения перед шариатом. Когда Баязид умирал, он сказал: "О Боже, я невежественно поминал Тебя, я лениво служил Тебе". Он сказал это и умер. Ученик Баязида, Абу Муса, рассказывал, что Баязид говорил ему, что видел во сне Всевышнего. И спросил у него: "О Боже, каков путь к Тебе?" Тот ответил: "Если прошёл через себя, достиг Меня". Спустя некоторое время он увидел сон, в котором спросили о его состоянии. Он сказал: "У меня спросили: "О старик, что принёс?" Я ответил: "Если дервиш приходит к порогу падишаха, у него не спрашивают, что принёс, спрашивают, что надо". Он скончался в двести шестьдесят первом году.

Говорят, в Нишапуре была старуха по имени Ираклия. Она ходила от ворот к воротам, прудила подаюния. Когда она умерла, у неё спросили, каково её состояние. Сказала: "Ах, всю мою жизнь положила бы к этому порогу, если бы Бог разрешил. А у меня спрашивают, что принесла". Раздался голос: "Она говорит правду. Оставьте её в покое".

Манаур бинни Умар, да благословит Аллах его дух, — из первого сословия. Прозвище его — Абуссари. Некоторые говорят, что он из Мерва, некоторые — из Баварда. Его видели во сне, спросили, как он себя чувствует. Он сказал: "Всемиловнейший Всевышний Бог велел установить кафедру на седьмом небе и сказал мне: "В мире ты говорил от Меня, теперь говори для Меня и для моих ангелов". Один раз один юноша раскаялся перед ним, но потом нарушил зарок и опять стал склонен грешить. Он сказал: "Я не знаю тому другой причины, чем та, что путь тебе показался труден, спутники скучны, и ты возвратился".

Абу Абдулла Ханик Сабак Антаки — из высшего сословия. Его прозвище — Абу Мухаммад. Из подвижников Суфии. Происходит из Куфы, но жил в Антокии. В суфизме он придерживался учения Суфияна Сури, беседовал с его учениками. Он говорил: "Есть четыре вещи, для которых нет лекарств: глаза, язык, сердце и страсть. Береги свои глаза, чтобы они не смотрели на то, чего не одобряет Всевышний; береги свой язык, чтобы не произносил ничего, что обнаружило бы в твоём сердце противное Всевышнему; береги своё сердце, чтобы в нём не было злобы и вражды к мусульманам; береги свои чувства, чтобы не было склонности ни к чему неприличному. Если у тебя не будет этих четырёх качеств, посыпь голову пеплом, ибо ты несчастен".

Абу Талиб ал-Ахьями, да благословит Всевышний Аллах его тайны, — из шейхов. Абу Усман Магриби говорит, что видел Абу Талиба, он разговаривал со знаками Зодиака. И ещё Абу Усман рассказывал: "Однажды в странствии я был его спутником. В этой дороге была опасность нападения хищных зверей. Я сказал: "Не будем останавливаться, пройдем побыстрее". Он сделал остановку. Ночью я от страха не мог спать, а он спал с наслаждением. Утром он спросил у меня: "Почему ты не спал?" Я ответил: "Из-за страха перед хищниками". Он сказал: "Каждый, кто боится Бога, больше ничего не боится".

Талхта бинни Мухаммад ас-Сиб, да благословит Аллах его тайны. Он из великих людей, сподвижников Абу Усмана Хайри. Умер в триста втором году. Абу Усман Магриби сказал ему: "Хочешь, я дам тебе один совет. Прошло пятьдесят лет, как я дал его людям, но они не приняли его". Он ответил: "Хочу". Тот сказал: "Прости тем, кто клеветает на тебя, пока он не оценит тебя, и сними клевету с народа, пока не случится между ним ссоры". Он принял его и сказал: "Я сделал много открытий благодаря этому совету".

Али бинни Муваффах ал-Багдади — из старейших шейхов Ирака. Он видел Зуннуна Мисри. Шейх-уль-ислам говорит, что ему приписывают семьдесят четыре хаджа. Однажды, совершив хадж, он огорчённо сказал сам себе: "Ухожу, прихожу, что это даёт душе, и когда я почувствую, что вершу Божье дело?" В ту ночь он увидел во сне Всевышнего, и Бог сказал ему: "О достойный юноша, если тебе не нравится человек, разве ты пригласишь его к себе домой? И если бы ты не нравился Мне, Я не допустил бы тебя в Свой дом". Он ответил: "О Боже! Если я буду молиться Тебе из страха перед адом, ввергни меня в ад, и если я буду молиться Тебе из-за надежды на рай, не пускай меня в рай. И если я буду молиться Тебе из-за любви к Тебе, дай мне один раз увидеть Тебя, сделай, если можешь".

Абу Абдулла Санджари беседовал с Абу Хифзом. Он пересекал пустыню шагами упования. Он говорил: "Есть три признака святости: скромность при возвышении, крепость в подвижничестве и сила в честности". И ещё он говорил: "Проповедник, от общения с которым богатый не становится бедным, а бедный не становится богатым, — не проповедник".

У него спросили: "Что такое великодушие?" Он сказал: "Прощать людей, насколько это возможно, видеть свои недостатки и проявлять милосердие ко всем людям — и праведным, и грешникам. И совершенство великодушия в том, что не может отвратить человека от Бога".

Кто-то спросил у него: "Если я дам тебе деньги, как это будет оценено?" Он сказал: "Если дашь, тебе будет хорошо, если не дашь — мне будет хорошо".

Абу Якуб Нахраджури — из четвёртого сословия. Его имя — Исхак бинни Мухаммад. Из числа учёных шейхов. Он беседовал с Джунайдом и Умаром бинни Усмон Макки. Годами жил в Мекке и там же умер в триста тридцатом году. Ибрахим Фатик рассказывал, что Абу Якуб Нахраджури говорил: "Мир — это море, а конец его — берег. Судно — благочестие. И люди все — путешественники".

Абу Мансур Кадкулах жил в Сарахсе. Однажды один его сподвижник отправился в путешествие. Он был свободен. Начал копать колодец, а когда дошёл до воды, начал рыть ещё один колодец, чтобы закопать в него землю, вынутую из прежнего колодца, а потом опять стал рыть новый. Ему сказали: "Ты не безумен, зачем же ты делаешь бесполезную работу". Он ответил: "Пока моя натура не заставила меня чем-то заниматься, я занимаю её делом". И некоторые из шейхов тоже так поступают. Абу Абдулла Динвари остался на море на корабле. Он резал и шил своё рубище, пока не получился колпак.

Абулхусайн Хашими рассказывает: "У Джунайда спросили: "Когда душа радуется?" Он сказал: "Всегда, когда Он в душе".

Абдулла Банозани. Шейх-уль-ислам передаёт его рассказ: "Я увидел во сне Мустафу и спросил: "О посланник Аллаха, с каким племенем ты живёшь?" Он ответил: "С тем племенем, которое ходит в гости, то есть у них нет нищих, с тем племенем, которое любит принимать гостей, то есть богатое".

Абубакр Хаббаз ал-Ягдади — из числа учителей Джарири. Он говорит: "Дети являются наказанием за расходование всех дозволенных желаний".

Абу Али Сайрджани. Рассказывают, к нему пришёл странник. И семьдесят раз посылал его на базар за иглой, чтобы принёс лучшую. Он ходил, несмотря на старость, слабость и почтенность. Ещё раз принёс, и ещё. После семидесяти раз привёс с собой игольного мастера, потому что ему захотелось покончить с этим. Тот странник сказал: "Друг мой, ты не лучший слуга. Если бы сразу привёл мастера, мне не пришлось бы посылать тебя семьдесят раз".

Ибрахим Маргинани. Шейх-уль-ислам говорил, что Ибрахими Маргинани принадлежит высказывание: "То, что воспринимается ушами, — наука, то, что воспринимается разумом, — мудрость, и то, что ты слышишь и понимаешь, это жизнь".

Абу Талиб Хаззадж бинни Али. Шейх Абу Абдулла Хафиф говорил, что Абу Талиб Хаззадж был сподвижником Джунайда. Он пришёл в Шираз. Была у него внутренняя скорбь. Шейх рассказывал: "Я захотел служить ему и предложил свои услуги. Каждую ночь он поднимался шестнадцать-семнадцать раз. Однажды ночью допоздна я не спал, веки покраснели, слышу, он позвал меня, но я не пошёл. Когда же он позвал меня ещё раз, я послал блюдо. Позже он сказал мне: "Сынок, если ты не можешь служить существу, подобному тебе, как ты хочешь служить народу?"

Абу-л-Музаффар Термези, да смилуется над ним Всевышний. Его имя — Хобаль бинни Ахмад. Он был имамом и подвижником. Проповедовал в Термезе.

Шейх-уль-ислам говорил, что у него много хороших высказываний об обходительности, подвижничестве, благочестии и праведности. Шейх-уль-ислам говорил, что Абу-л-Музаффар Термези и его учитель Абу Хомид не отгоняли от себя мух, чтобы, слетев с них, они не сели на другого.

Шариф Хамза Акили, да смилуется над ним Всевышний, — из Мерва, жил в Балхе. Удостоился бесед с чудотворцами и Хызром, мир ему.

Шейх-уль-ислам — со слов отца, а его отец — со слов Абу Музаффара Термези утверждают: "Каждый, кто сделал тебе добро, тот привязал тебя к себе, и каждый, кто обидел тебя или причинил тебе зло, — освободил от себя. Свобода лучше зависимости".

Ходжа Музаффар Ахмад бинни Хамадон, благословенны его тайны. Кунья Ходжи — Абу Ахмад. Всевышний открыл для него двери к высокому посту владычества и возложил на его голову корону чудотворства. У него были хорошие сочинения и высокие выражения о тленности и вечности. Шейх Абу Саид говорил: "Нас привели в эти чертоги пути праведности и рабского служения, а его — пути владычества, то есть мы обрели

созерцание укрощением страстей, а он — укрощение страстей — созерцанием”.

Шейх Абулкасым Кашири, да смиляется над ним Всевышний. Его имя — Абулкарим бинни Муаззан ал-Кашири. Автор комментария изящных символов. У него есть трактаты по каждой науке и сочинения по всем разделам знаний. Он мюрид Абу Али Даккока и учитель Абу Али Форанди. Умер в 405 году. Автор "Открытия сокровенного" сообщает такое его высказывание: "Поведение суфия подобно процессу тяжёлой простуды: сначала — горячка, в заключение — покой, но если простуда утвердилась — немота". И ещё он говорил: "Тавхид (постижение истины, слияние с Богом) - отпадение изображения при появлении имени, исчезновение при восходе светила, замирание всего живого при появлении истины”.

Али Усмон Аби Джаллоби ал-Газнави. Его кунья — Абулхасан. Он был учёным и мудрецом. Он мюрид шейха Абулфазла бинни Хасан Хасли. Удостоился бесед со многими шейхами. Он автор книги "Открытие сокровенного", очень известной и признанной в этой области знаний. Он рассказывает: "Я спросил у шейха шейхов Абулкасыма Гургани: "Что необходимо для дервиша, чтобы можно было сказать, что он исповедует бедности?" Он сказал: "Три вещи. Первое — уметь правильно пришивать заплаты. Второе — уметь говорить и слушать правду. Третье — уметь ходить по ровному месту". Присутствовали многие дервиши. Мы решили: давайте каждый из нас подумает над смыслом этих слов и скажет, как он их понимает. И каждый сказал своё слово. Когда очередь дошла до меня, я сказал: "Правильно пришивать заплаты — это значит пришивать в силу бедности, а не для украшения. Если пришьёшь заплату на рубище по бедности, даже если криво пришьёшь, будет правильно. Правдивое слово — это такое, которое человек говорит и слышит в экстазе, а не из благодарности к кому-то, слово, которым овладевает благодаря способностям и стараниям, а не шутя, и которое понимает исходя из жизни, а не из разума. Ходить по-ровному — это значит ходить с волнением, а не равнодушно". И эти слова в точности передали уважаемому шейху. Он сказал: "Всевышний Аллах наставил его на верный путь”.

— Люди, исповедующие суфизм, предпочитают не говорить о нём, это глубоко личное, интимное. Суфизм не признаёт храмов для молитв, храм Бога — в сердце человека. Любовью ко всему существу, к венцу творения — человеку — продиктованы страницы книги Навои. В человеке ему интересно всё, и всё это находит отражение в той, что он рассказывает.

"Дуновения любви из садов благородства" — таково полное название этой книги. Навои хотел, чтобы читающие по-туркски смогли вдохнуть благодатные веяния благородства от знакомства с рассказами о выдающихся людях.

Перевод сделан Л.СЕРИКОВОЙ с фотокопии парижского списка, который выполнил прекрасным почерком насталик каллиграф ал-Хиджрани, ученик знаменитого Султана Али, в 1525—1527 годах, и частично сверен с фотокопией стамбульского списка этого произведения, выполненного при жизни автора в 1494—1496 годах каллиграфом Мухаммедом ал-Таки, также учеником Султана Али.



И. Гуленко

Графика
Игоря ГУЛЕНКО

Сабит Мадалиев

ЖИТИЕ ЮСУФА АЛЬ-МАГРИБИ

79. БОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

В четверг, 12 шевалля на рассвете властительница души моей почувствовала себя хуже, потускнел и как-то неумолимо быстро стал угасать свет единственной этой жемчужины. И сколько ни старались лучшие лекари, особенно — искуснейший и премудрый, редкость всего государства мулла Бистани, туранский целитель Хаким мир Арифи, — результаты получались обратные тому, чего они добивались. Превратностью судьбы событие божественного предопределения медленно завершало свой круг, рикошетом болезненного страдания коснувшись и моего сердца. Я не скупился на бесчисленные дары и пожертвования нищим и обездоленным, различным мазарам и святым местам, дервишам и суфиям, — пользы не было никакой. И даже миндальное масло, снимающее лихорадку, перестало оказывать благотворное своё действие...

Последними словами её были: "Вот и я, наконец, Всевышний, вот и я, возвратись же, душа моя, к Господу своему удовлетворённой".

Подлинно, все мы принадлежим Аллаху и поистине к нему возвратимся.

Из канцелярии принесли указ, гласивший о том, что с сегодняшнего дня "все ремесленники и мастеровые города в обязательном порядке должны украсить траурными лентами свои лавки, а жителям предписывается в течение всего месяца считать световые дни за ночи и приостановить торговлю; на это же время на все удовольствия и развлечения

наложить запрет, дабы никому в этом не было потом неприятности". Я прочитал этот указ и разорвал его: боль, которую испытывал я, касалась только меня одного и мне ни с кем не хотелось ею делиться. Более того, я ни с кем не хотел общаться, чтобы ничьё око не видело и никакое ухо не слышало моих страданий.

Несмотря ни на какие запреты, город целый месяц был погружён в траур, и бездомные собаки опять появились на улицах, но никто их не трогал. Все оседлые и кочевые люди из самых отдалённых селений проявили признаки участия, присылали своих гонцов ко двору, чтобы выразить соболезнование. По прошествии же сорока дней все мастеровые и ремесленники города, каждый по своему таланту и вкусу, сработав разные изделия и новинки, принесли их в высочайший чертог в память о моей Бану. Боль моя поутихла, и я был признателен каждому.

80.

Смерть Бану разбила мне жизнь. Сначала я потерял человека, которого любил даже больше, чем власть и славу, потом потерял и сына, который умер в младенчестве. И я окончательно пал духом...

Никто и ничто не в состоянии вернуть меня к прошлой жизни, живу я неузнанным чужаком, отторженным навсегда изгоем, уютнее всего чувствующим себя в одиночестве, наедине со своими мыслями. Есть особое, ни с чем не сравнимое наслаждение в моём добровольном изгнаничестве, где я медленно постигаю смысл своего существования, где пространство и время — не просто умозрительные понятия, а небо над головой и тонкая, дрожащая на ветру паутинка, и где, наконец, я проживаю каждое дарованное небесами мгновение и чувствую полноту дней в их холодной, почти равнодушной нейтральности и анонимности. Я открыл для себя мир оттенков и полутонов, многозначность и таинство светотеней, когда ослеплённая солнцем гора отбрасывает огромную, странной формы тень на дорогу, оставаясь сама при этом вне видимости для меня, сидящего у подножия.

Оказалось, пространство вокруг населено одушевлёнными призраками, с которыми можно научиться общаться лишь в одиночестве. Лицедеи, обманщики, женщины, власть — всё исчезло и растворилось. И теперь мне, человеку, который приучил себя хвататься за спасительную соломинку сомнения со всей силой отчаяния, мне, научившемуся преодолевать встречное течение, лавируя между надеждою и разочарованием, утопией и меланхолией, кого не тяготит непригодность к жизни и чьё сердце бьётся в такт только собственным мыслям, — больше не грозит возвращение назад, туда, где царствует блеск и юродствует нищета. Я умер для той жизни. А мёртвые совестливее живых.

81.

Для меня, чьё время теперь перестало уже измеряться количеством удач или неудач, восхитительна не сама жизнь, а та безрассудная непоследовательность, с какой река моей безотрадной повседневности вписывается в её повороты. С какой лёгкостью и беспечною доверяю я судьбу свою этому неуправляемому потоку, который чем больше приближает меня к океану смерти, тем обострённее заставляет постигать вкус обрушивающегося одиночества. И моего мужества не всегда хватает на то, чтобы заставить себя поверить в бессмертие.

82. СЛУТИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

Я никогда не завидовал судьбе придворных. Это были люди особого склада ума, кому существование при дворе, с его шелестом сплетен и шлейфом непрекращающихся интриг заменяло саму жизнь. Я не замечал в них искренности. Только полусогнутые спины, вытянутые шеи и глаза, не выражающие ничего, кроме одной-единственной мысли — быть замеченным властелином.

Маски на лицах этих людей постепенно прирастали к коже, заменяя натуру, дарованную им свыше, ибо никогда и никого из них мне не удавалось застать врасплох: каждый раз маска полуплача и полуулыбки с непостижимой готовностью застывала на слащавом лице.

Чем выше было место человека в незамысловатой иерархии двора, тем чаще питали его химеры и тем больше в нём было позёрства. Даже самые мелкие чиновники, и те не упускали случая, чтобы подчеркнуть свою значимость перед просителем. Высота, на которой они обитали, им самим представлялась столь недосягаемой, что позволяла им обращаться с просителями цинично и грубо, не скрывая своего корыстного намерения извлечь выгоду из любой услуги, оказанной кому-либо. Одно время я даже подумывал о том, чтобы отдельных чиновников, хотя бы время от времени, отправлять на короткий период в ряды горшечников или медников для исполнения самой незначительной службы, но после того, как один из них повесился лишь из-за того, что начальник моей канцелярии не допустил его на приём к государю, — я отказался от этой затеи.

Изведавшие сладость власти даже перед лицом смерти готовы отстаивать место своё под солнцем.

83.

Словно приливы и отливы, нахлывают, накатываются воспоминания и, оставив на берегу следы недавнего кораблекрушения, утолив свою ярость, отступают беззлобно и тихо, пристыжённо оглядываясь назад, на свидетельства своих бесчинств, и тяжело вздыхая. Но как же нам нравится по инерции плыть по волнам уходящих страданий, вновь и вновь возвращая в сознании давно отшумевшую бурю. И все это ради того, чтобы испытать до конца отравленную чашу себялюбия, эту сладкую горечь убаюкивающего промедления, прежде чем душа осознает бесполезность и картинность давно улетучившихся страданий.

Редко кому из нас удаётся, пройдя эту школу очарованного себялюбия, не развратить своё сердце пустотой бесполезных выстрелов, а закалить его в чистом огне на высоких холмах одиночества.

84.

Постоянное обращение человека к своему прошлому упрощает его жизнь до примитивной схемы, чаще всего ограничивающейся всё более тускнеющими воспоминаниями, которые, в конце концов, превращаются в точку, притягивающую к себе обещанием сладостной боли. И вот создаётся физическое ощущение подмены самого себя кем-то другим, отвечающим представлениям о человеке, которому некогда, может быть единственный раз в жизни, выпало редкое счастье — пережить собственное страдание.

85. НЕБЕСНАЯ ТИШИНА

В последнее время меня постоянно тянет к воде. Часами я хожу по берегу реки, кажется, и не видя перед собой дороги и устремив взор в одну расширяющуюся до бездумности точку, убаюкиваемый мерным рокотом воды, стремительным, проносающимся мимо течением, так много говорящим о вечности. Но чаще всего я забираюсь в своё укромное место, скрытое от посторонних глаз с одной стороны разросшейся густой ивой, а с другой — основанием скалы, обрывающейся над водою.

Пугающая тишина. Падающая прямо с небес. Даже слышно, как сердце бьётся. Привыкаю и расслабляюсь. Наслаждаюсь прохладой реки, улыбаюсь, вхожу в созерцание, словно в храм, где читают молитву. Просветлённой воды полоса огибает завалы камней, образуя у ног моих заводь, где водоросли голубые, зелёные тихо струятся, словно живые.

Учусь у облака искусству тишины. И вот, глотнув забвенья, отрешённый, всматриваюсь в своё расплывчатое отражение в воде, и сам становлюсь водой, речной водой, переливающейся от полноты дней, не знающей ни пространства, ни времени, вечно юной в своём неумолчном движении, в каждой капле своей несущей по фантастическому мирозданию. Руки мои колыхнутся, трепещут, изгибаются, словно водоросли, сливаются с музыкою потока, а тело моё растекается, разливается по течению от подножья горы до самого горизонта, и вот уже сам становлюсь я рекой, неумолчной, струистой рекой, трудолюбивой и скромной, уносящейся в неизвестность. В глубинах моих стоит голубая прохлада, озвученная солнечным светом и тайнописью бытия, отражается небо в моих зрачках, голубое и тоже прохладное. То ли небо плывёт во мне, то ли я разливаюсь по небу. В тихой заводии сердца волнуются две одинокие мысли. И ничего — кроме вечности. Только где-то совсем далеко надрыдается, плачет кукушка.

86. ПЕТУХ, НАРИСОВАННЫЙ ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ

Несколько дней назад мне рассказали историю о знаменитом китайском художнике, с которым случилось следующее. Самый богатый и влиятельный человек провинции призвал к себе художника и велел написать живописный портрет его любимого бойцового петуха, незадолго до этого одержавшего победу в петушиных баталиях. Проходит месяц. Заказчик призывает к себе художника и требует показать картину.

— Ещё не готова, — отвечает художник, потупив взор.

— Когда же будет готова? — вскипает нетерпеливый заказчик.

— Не знаю, — отвечает скромно художник. — Может быть, через год.

— А может быть, через пять? — язвительно усмеяется богач. — На каждое пёрышко по одному месяцу.

— Может быть, — отвечает художник, — но я ещё только обдумываю работу.

Расхохотался богач и велел выгнать из дома художника, который даже петуха не умеет нарисовать.

Проходит семь лет. Богач уже успел похоронить бойцового своего петуха, как однажды открывается дверь и входит к нему художник. А

заказчик ни о заказе своём не помнит, ни художника не узнаёт.

— С чем пожаловал, мил человек, — обращается он грубо к нему, — разве я приглашал тебя?

Но вместо ответа художник снимает с плеч мешок, достаёт из него потрёпанную холстину, долго разворачивает эту ветошь, пока глазам изумлённого богача не открывается ослепительная картина с портретом его любимого бойцового петуха. От него не оторвать взгляд. Заказчик поспешно сзывает своих домочадцев, он отказывается верить своим глазам: на картине изображён его петух, дерзко выпятивший грудь и готовый к яростному нападению.

— Почему же ты раньше не приходил? — спрашивает заказчик, не сводя заворожённого взгляда с картины.

— Лишнее отсекал, — ответил художник.

87.

Самое важное сегодня в моей жизни — это то, чего в ней нет. В ней нет ничего лишнего. Оставленного без внимания. Отвлекающего от главного. Я веду аскетический образ жизни, которая выглядит вполне скромно и ничем не напоминает о прошлом. Для человека, который распрощался с жизнью, стираются временные пространства, все события далёкой и близкой истории, хотя мне кажется, что во мне абсолютно нет ничего от всепонимающего и всезнающего аскета или отшельника, мудро доживающего в одиночестве остаток своих дней. Слишком много вопросов накопилось у меня за всю мою жизнь, но слишком мало остаётся времени, чтобы пренебрегать каждой божественной минутой и каждой, пусть даже и случайно залетевшей мыслью.

88.

Господи, Ты отпускаешь мне долгие годы жизни, позволяя не спеша подготовиться к самому дню, когда в изменчивом пространстве вылепится, наконец, мой образ, который и суждено моей смерти окончательно запечатлеть в долгой памяти вечности или забвения. Как иссушённый водоём, наполняется смыслом душа, раздвигается и расслаивается небо моё и расходятся тучи. разбредаясь по полю безмолвному, словно коровы в тумане, смотрят печальными на меня глазами мои прощальные мысли. И пропадают. Видно, не время мне уходить. Видно, не время.

Но оглядываюсь назад, чтобы запомнить навечно тихий взгляд женщины одинокой, несравненной моей Бану, и день пролетевший запомнить, и натываюсь на пустоту, от которой мне в спину веет белым холодом потусторонним.

Дерево впереди. Непонятно какое. Неопределённого цвета. Расплывчатый его силуэт, а может быть просто задумчивый, вписывается в мои зрачки и пропадает безмолвно. В неопределённости горизонт: нижняя часть его надвигается на меня, а та, которая наверху — растворяется в блёклой дымке нахмурившихся облаков. И только я продолжаю чертить, рисовать лихорадочно на деревьях, на камнях и траве придорожной, на всём, что мне встретится по дороге, образ свой и моей Бану.

Набухает тоска моя каплей воды дождевой и срывается в небытие.

89.

Чаще всего наши представления о жизни и заменяют нам саму жизнь. И поэтому мы отвергаем ту реальность, которой не знаем. Так удобно. Подсахаренная, подрисованная, переодетая до неузнаваемости, она исчезает в самых укромных уголках нашего сознания, где в мягкой паутине страха или самообмана, словно пойманную муху паука, пожирает нашу активность и любое желание созидать, заменяя их привычными мифами, неожиданными взрывами агрессивности и безумия.

90.

Для людей, даже обладающих чувством собственного достоинства, а значит, склонных критически оценивать жизнь, утрата представлений о реальности кончается соглашательством. Именно из соглашателей и выходят самые ревностные блюстители устоев государства, и уж они никогда не упустят случая, чтобы показать, как послушно и бодро можно вышагивать в ногу. Но тем не менее ни один соглашатель не признается в похлестки на своих соратников. Различия в ментальности, резко бросающиеся в глаза и воспринимающиеся как помеха для объединения, на самом деле объясняются разве что различиями в общественном строе. Какой бы ни была шкала ценностей в обществе — всегда отыщутся люди, для которых система соглашательства становится единственным мериллом смысла их жизни.

91.

Когда чинопочитание в крови, а послушание в генах, то даже случайное неповиновение отдельных людей или критика ими существующего беззакония, независимо от реакции властей, вызывает в толпе чувство вины. Я об этом помнил. И я убедился сам: любая тирания начинается прежде всего с толпы. С её молчаливого согласия. С её готовности быть послушным и терпеливым стадом. Заданная действительность находит своё человеческое проявление в характерах сотен тысяч статистов, роль которых с блеском исполняют наделённые талантом послушания терпеливые обыватели. У людей этих столько времён года — сколько скажут. Хотя безгранично испытывать терпение масс — всё равно что надеяться на безобидность старых цирковых львов. За годы своего правления мне неоднократно приходилось видеть, как эти самые законопослушные и богобоязненные люди, для которых власть была проявлением божественной воли на земле, выходили из подчинения целыми селениями и поднимали смуту.

Три лика я увидел у толпы: лик равнодушия, лик послушания и лик безумия.

92. ЗЛОРАДСТВО И ЗАВИСТЬ

Подобно золотым россыпям, погребённым под толщей песка, крупницы нашего достоинства скрыты в нас до поры до времени от посторонних глаз, и только наши значительные успехи позволяют вдруг обнаружить их, придавая им неотразимый блеск благородного совершенства. И тогда одни из людей начинают завидовать нам, со всей скрупулёзностью пытаясь проследить наш путь, чтобы к злорадной своей радости обнаружить червоточинку или фальшь в наших достоинствах; другие, примирившись с чужою славой и признавшие,

наконец, превосходство наше над ними, ждут не дождутся, когда мы с ними расстанемся. Со своими достоинствами. И те и другие старательно ведут игру по правилам приличий, чтобы за собой оставить заманчивую привилегию быть вознесёнными тоже на гребень успеха.

Падения и взлёты сопровождали меня всю жизнь. И всю жизнь злорадство и зависть преследовали меня по пятам неотступно. Ослеплённые моими внушительными победами, мелкие и завистливые душонки слетались, сталкиваясь, на мой свет, пили бесплатный нектар наслаждения и, пользуясь моей щедростью безотказной, вымаливали, выпрашивали, униженно выклянчивали для себя и других должности при дворе, пели мне дифирамбы, каждому вздоху моему посвящали стихи, добивались наград и подарков и приходили снова, невозмутимые, заискивающие и хитрые. Алчные в своей неуёмной жажде почестей и наград, они завистью исходили, тихой злобою исходили, если случайно другой им перебежал дорогу. Я всё это видел, однако и посмеивался над ними. Меня не пугало змеиное их шипение, даже когда иные из них, добившись у меня аудиенции, возносили меня до небес, называли тенью Всевышнего на земле, а за мою спиной распространяли слухи и на меня клеветали, как обычно клеветают на мёртвых. Жажда мести вскипала во мне, но я никогда не позволял ей выплеснуться наружу. Я поручал этих людей воле Всевышнего и, по-моему, делал правильно: все, кто причинил мне зло, исчезли из моей жизни, не причинив существенного ей вреда, пропали и растворились в безвестности. Да простит их Аллах и да помилует.

93.

Сколько людей клялось мне в верности — где все они теперь? Невольно подумаешь: преданность сильным мира сего никогда не бывает искренней.

94.

На пути тех, кто рвётся к власти, было бы, несомненно, гораздо больше побед, чем поражений, если бы они умели проявлять чуть меньше рвения, чем это требуется для достижения цели. Глядя на перекошенные от напряжения лица людей, мечтающих занять своё место, я невольно жалел их за неумение предаваться лени и совершать глупости.

95.

Чем больше я задумываюсь о жизни, тем больше прихожу к мысли, что я о ней ничего не знаю. Мы рождаемся, и мы умираем, — это единственное, хотя и ужасно банальное, в чём я уверен безраздельно. Между этими вполне реальными событиями мы участвуем в сотворении истории, которая, я полагаю, меньше всего в нас нуждается и чей подлинный смысл всё равно остаётся тёмным и непонятным. И непостижимым. Ибо всё, что написано об истории — только вариация на заданную тему, где мы, безусловно, были лишь статистами в эпизоде, являвшемся малой частью некоего глобального и не постижимого рассудком целого, не услышанного до конца и подсмотренного частично, осмыслить которое ещё труднее нам, свидетелям, чем тем, кто будет изучать историю по фактам. И чем ближе подступаешь к разгадке тайны, тем глубже погружаешься в слушающуюся темноту.

Говорят, поскольку умные только тем и заняты, что пытаются разгадать тайны бытия, а значит, вокруг ничего, кроме этого, не видят, — то дуракам остаётся всего-навсего объяснять человечеству, куда оно движется и что вообще с ним случится, если какому-нибудь умнику вздумается вдруг подкрутить одно из многочисленных колёсиков истории.

Поэтому я и говорю: едва мы начинаем задумываться об истории — реальность безумного, захлёстывая, опережает безумие реальности, и нам ничего не остаётся, как домысливать свою действительность.

96.

После всего того, что увидел, услышал и узнал я при дворе, я пришёл, наконец, к убеждению, что у власти должны были бы находиться люди, готовые к самопрезрению, а приходят те, кто несёт впереди себя факелы своего самолюбия. И какое оно всё же странное — счастье властителя. Надо, чтобы о нём говорили, а вокруг его имени складывались и наслаивались легенды, пересуды и оговоры — эти зыбкие и фантазмагорические отражения, сотканые наполовину из человеческих деяний, наполовину — из того, что придумывают о нём массы.

Я убедился сам: во временном пространстве власти нет ни прошлого, ни грядущего, а настоящее очерчено всё уменьшающимися размерами шагреновой кожи — узкой и шаткой вершины, на которой всё начинается, и всё умирает, оказавшись за её пределами. Поэтому нет времени соблюсти и уберечь в себе человека. Нет простоты и искренности, чтобы позволить себе немного человеческих отношений с людьми. Нет друзей. И нет никакой возможности вспомнить, что он, властитель, обыкновенный невежда, неуклонно деградирующий и утрачивающий крохи последних знаний...

Я был одним из них, и я кидал камни через плечо, не ведая о том, куда они падают.

97. ТЕНЬ ВСЕВЫШНЕГО НА ЗЕМЛЕ

Серьёзность выражения моего лица среди пышущих оптимизмом, энергичных и самовлюблённых физиономий придворных, наверно, выглядела слишком нарочитой. Я замечал, как люди, едва успев прослужить три месяца под моим крылом, переставали меня бояться и пользовались моей добротой, как только могли. Мне ничего не оставалось, как прибегать к наказаниям. Но они измерялись не тяжестью физического унижения человека, а в большей степени моральным на него воздействием. И, зачастую, люди преображались. Можно было только дивиться тому, как завистники и недоброжелатели становились моими сторонниками и проявляли в работе усердие и преданность, что подкрепляло мою уверенность: ни дворцовый переворот, ни заговор мне не грозят. Но я зря тешил себя надеждой: властители отдалённых провинций постепенно стали выходить из подчинения и под нажимом моих визирей, которые больше боялись за свою жизнь, а не за меня, — вынужден был пойти на самые крутые меры. Под благовидным предлогом двух эмиров, проявивших чрезмерную самостоятельность и подтолкнувших своих вождей на отделение от государства, пригласили во дворец и казнили у меня на глазах, смута была подавлена быстро и без большой крови. Крепость

Хафарниган держалась только два дня. Истинных смутьянов оказалось всего несколько человек, которых связанными привели ко мне сами простолюдины.

Сожаление о том, что понапрасну казнили эмиров, преследует меня до сих пор. Уже потом я узнал, что таким образом главный мой визирь избавился от своих врагов. А тогда визири и сановники, придворные поэты и звездочёты прославляли моё решение, подготовленное самими же, и решительно подталкивали меня к проявлению твёрдости и даже жестокости там, где это касалось решения государственных дел. Моя чрезмерная мягкость сослужила плохую службу. Узаконенная моим именем, тирания стала набирать силу во всём государстве. Напуганные скорой расправой, к сиятельному двору потянулись эмиры других вилайатов. Вельможи мои блаженствовали, пили нектар своего возвышения и вынуждали этих людей часами томиться в ожидании минутной у меня аудиенции. При этом бесчисленные и дорогие подарки отбирались ими немедленно. Так складывался и лепился мой образ кровожадного и непредсказуемого тирана. Конечно, я ничего не мог с этим поделать. Правда, я не цеплялся за власть, но и не отказывался от неё: она меня опьяняла, втягивала и засасывала в водоворот неумолимых, переходивших из века в век правил и предписаний, которым мне приходилось следовать, чтобы сохранить свою власть. Доставшаяся мне по наследству, эта ноша оказалась для меня слишком тяжёлой, скроенной не по моему характеру. Но сначала, кажется, складывалось всё удачно. Было что-то столь завораживающее и околдовывающее в этой всеисильности, в этой пляске жизни и смерти, что временами я испытывал истинную сладость от атмосферы трепета передо мной. Я жил в созданной не мной атмосфере. Она меняла меня. И меняла так, что не только другим я казался поднявшимся на высшую ступень величия и державности, но и себе. В сознании льстивых фанатиков я был тенью Всевышнего на земле. И я делал вид, что моё существование и моя власть способны изменить человечество, ускорить или замедлить вращение планет. Я хотел властвовать. Зинданы стали заполняться. Другого пути удержать эту власть не было.

98.

Любая власть, едва лишь вступив в права (как было и в моё правление), выдаёт себя неумением или просто нежеланием сдерживать размах своих честолюбивых притязаний на собственную значительность.

99.

Я никогда не считал себя умным, но сегодня утром, вспомнив о мучениях последнего времени, подумал: мудрые хотят жить, остальные — властвовать, наверное, поэтому мудрые мучаются, а живут — остальные.

100. МОЛИТВЫ ПРОРОКА МУХАММАДА

Странный сон мне приснился сегодня. Матушка моя покойная стоит над моим изголовьем, вся с ног до головы в белом одеянии, и улыбается мне. А я, скованный тяжёлым недугом, лежу на открытой террасе, обливаюсь холодным потом и никак не могу вспомнить имя её.

— Матушка, — говорю я со слезами на глазах, — я забыл ваше имя. Разве это возможно?

— Прочитай молитву, сынок, — говорит она мне ласковым голосом, — и вспомнится имя моё.

— Но какую молитву читать мне? — спрашиваю я, привстав на постели.

— Благословенна любая молитва, — говорит матушка, — вознесённая во имя ближнего своего. Помнишь, я тебе говорила, что у каждого раба божьего над головою свой ангел. Вспомнил?

— Сколько раз вознесёт правоверный молитву во благоденствие ближнего своего, — произношу я торжественно, — столько раз пожелает ангел и ему самому благоденствия.

— А теперь давай вспомним молитву, — говорит матушка, а сама почему-то плачет. И в сторону отворачивается.

И не успев я прочесть до конца молитву, как почувствовал облегчение. Словно и не было измучившей меня лихорадки. Изумлённый произошедшим чудом, вскакиваю я с постели, оглядываю комнату и не нахожу моей матушки. Крик отчаянья вырывается у меня, и... на этом самом месте сон мой прервался.

И поднялся я среди ночи, совершил омовение и погрузился в ночную молитву, и вспомнил родных, и матушку свою вспомнил. И наполнилось сердце печалью, и глаза наполнились влагой.

Матушка моя была искусной чтицей Корана, и многие суры Святого писания запомнились мне с детства, после бесчисленных повторений вслед за нею. Отец наш был строгого нрава, и только дважды в неделю позволялось мне, семилетнему мальцу, переступить порог женской половины дома, чтобы наедине с матерью побыть всего час или два, которые пролетали, кажется, быстрее молнии. Отцу не нравилось, что мать балует меня, и, обнаружив в кармашках моего халата сладости, он строго выговаривал ей, а я на несколько дней лишался и без того не частых встреч. "Будешь липнуть к матери, — грозно сдвигал брови отец, — отпавши в гарнизон к военным. Тут тебя многому не научат. Изнеженным у меня ты растёшь. Смотри у меня". Но бывали дни, когда отца неделями не было дома, и мы с моей пятилетней сестрёнкой, не ведая о том, что он в очередном опасном походе, не скрывали радости по поводу его отсутствия и по целым дням, бывало, пропадали на женской половине дома, умоляя матушку рассказать нам новую историю о жизни и деяниях пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Особенно интересными нам казались истории о шайтанах и злых духах, и одну из них я помню до сих пор.

"Однажды Абу Дуджана, да будет доволен им Аллах, обратился к пророку Мухаммаду:

"О посланник Аллаха! Стоит мне войти в дом, как он начинает ходить ходуном, раздаётся шум грохочущей мельницы, который прерывается злым жужжанием пчёл, неясные тени мелькают перед глазами, и когда я, обхватив голову, озираюсь по сторонам, то непременно натыкаюсь взглядом на длинную чёрную тень, покачивающуюся посреди комнаты. И я хочу схватить её, протягиваю руки к ней, но неожиданно пальцами натыкаюсь на торчащие, подобно колючкам ежа, волосы, чувствую, как жаром пламени дышит на меня злой дух, и, словно он собирается сжечь меня в своём пламени, всем моим существом овладевают страх и смятение".

И сказал тогда Расулу Акрам:

"О, Абу Дуджана, тень, посещающая ваш дом, это тень сатаны или злого духа. Принесите мне перо и бумагу".

И принесли ему перо и бумагу. И продиктовал он молитву.

Абу Дуджана, да благословит его Аллах и да приветствует, рассказывает:

"Положил я под голову молитву, продиктованную пророком, и лёг спать. В полночь просыпаюсь от страшного крика:

"Клянусь всеми дьяволами преисподней, ты нас поджарил на страшном огне. Выкинь свой талисман, и мы обещаем никогда не входить, и не приближаться к твоему дому".

Абу Дуджана, да будет доволен им Аллах, продолжал: "После этого в утренних сумерках стал я читать молитву, стоя за спиной пророка. А затем, улучив время, рассказал ему о мольбах и жалобных причитаниях злых духов". На что Расулу Акрам отвечал мне: "О Абу Дуджана, оставь тот талисман. Клянусь Всевышним, который признал меня своим пророком, если ты не оставишь тот талисман, то злым духам страдать и гореть в огне до самого Судного дня".

Догорают, дотлевают моя свеча. Небо ещё усыпано звёздами, но уже совсем скоро первые сполохи утренней зари высветят небеса и погонят ночную темень. Затянулось моё радение, затянулось. Размягчилась душа, оттаяла. Отошла, просветлела, как небо весеннее. Из далёкого кишшака внизу, словно эхо, доносится голос: муэдзин сзывает людей на утреннюю молитву. И я совершаю намаз, а потом из ниши в стене достаю книгу в фаянсовом переплете — молитвы пророка Мухаммада — и нараспев читаю:

Встань на молитву в тишине полночной —
твою молитву небеса услышат.

Встань до восхода солнца, прочитай
молитву сокровенную — услышат.

В ненастный день, под мерный шум дождя
прочти молитву, и тебя — услышат.

В степи открытой на молитву встань,
где ветерок волнуется, — услышат.

Встань на закате солнца на молитву
и будь уверен — небеса услышат.

Во дни невзгод всеобщих и печалей,
когда слепцы в неведении тонут,
читай молитвы — небеса услышат.

Один, в пустынном и безлюдном месте,
где красота, и тишина, и Бог,
прочти молитву с трепетом душевным
и будь уверен — небеса услышат.

В опасный миг, оставленный друзьями,
лицом к лицу перед своим врагом,
прочти молитву, сердцем укрепившись,
и будь уверен — небеса услышат.

Когда глаза полны дрожащих слёз,
когда душа трепещет перед Богом,
взволнованный, прочти молитву ты
и будь уверен — небеса услышат.

Каждая молитва, — говорила мне матушка, — должна исходить из сердца, и произносить её следует, глубоко веруя в то, что она будет услышана небесами. Но при этом надлежит быть осторожным в каждом своём пожелании и в словах, направленных против близких своих и детей, ибо молитвы эти могут быть случайно услышаны небесами в недобрый час и исполнены.

— Выходит, — спрашивал я недоумённо, — стоит мне пожелать смерти соседу нашему, хромому Редзуану, и он — умрёт?

— Может быть, и умрёт. Но если человек, о котором ты плохо думаешь, — безгрешен, Бог накажет тебя самого и проклятье вернётся обратно. Никогда не следует желать смерти ни другу своему, ни недругу. Только одному Аллаху и дано право наказывать или миловать своих подданных.

— А если я только подумаю? — не унимался я. — Тихо про себя подумаю — как же он услышит меня, Всевышний?

— Ты ещё и подумать-то не успеешь, а Он уже всё знает. От него ничего не укроешь. И его не обманешь. Вот я тебе притчу расскажу, послушай.

Шёл по пустыне добрый человек.

— Пешком? — перебиваю я маму. — А что же лошадь его?

— Пала его лошадь, — недовольная тем, что я перебил её, отвечает мне мама. — Ну так вот: изнемог, значит, истомился он от жары и жажды, а вокруг ни единого кустика, ни дерева, в жидкую тень которого можно было бы укрыться. И тогда совершил человек омовение.

— Песком? — опять перебиваю я маму.

— Ну да. Там, где нет воды, можно совершать омовение и песком. И повернулся он в сторону киблы и совершил молитву: "Боже всемилостивейший и милосердный, я — раб Твой, не дай мне погибнуть среди песков, пошли мне четвероноего, дабы я одолел пустыню, ибо сил у меня не осталось". И едва успел человек дочитать до конца молитву, как из-за бархана показался вооружённый всадник на кобыле, рядом с которой едва передвигался жеребёнок. Подскакал всадник к человеку, убедился в том, что тот совершенно беззащитен, выхватил саблю из ножен, стал махать над его головою, понуждая взвалить на спину жеребёнка.

— Зачем? — не вытерпел я.

— Чтобы животное не погибло. Не перебивай меня, слушай дальше. Взвалил человек жеребёнка себе на плечи, идёт, шатается из стороны в сторону, пот с него градом льётся, а всадник рядом на кобыле едет, угрожает ему всячески, как только тот останавливается. Совсем человеку плохо стало. Сил уже не осталось. И тогда обратился он во второй раз к Всевышнему с молитвой, полной горести и страдания: "Боже — Милостивый! — говорит он, едва переводя дыхание. — Я ведь просил послать четвероноего, на котором я мог бы преодолеть пустыню, а вместо этого Ты посылаешь мне нечто такое, что я вынужден сам нести на плечах. Боже, каким же образом высказать мне и как мне теперь

объяснить Тебе, что Ты ошибочно понял меня. А впрочем, кажется, всё правильно. Это сам я ошибся в молитве. И за это теперь наказан”.

— А что же дальше с ним стало? — стораю я от любопытства. — С этим человеком, который жеребёнка нёс на плечах. Что с ним потом стало?

— Не знаю, — спокойно отвечает мне матушка, как будто её вовсе и не интересует судьба этого несчастного.

— Он упал на песок, — даю я волю своей фантазии, — а всадник подскочил к нему и убил его.

— Может быть, и убил. А может, и смиловился над беднягой. Я лишь затем и рассказала тебе эту притчу, чтобы ты убедился, насколько надо быть осторожным в своих молитвах...

— Опять вы не спали ночью, — сокрушается моя служанка, входя ко мне утром в комнату. — Совсем вы себя не жалеете, всё пишете по ночам, покоя себе не даёте. Загоните своё сердце, да будет поздно.

И то правда, думаю я, спускаясь к реке. Давно уже сердце моё побаливает. Видно, затомилось от дум бесконечных, воспоминаний моих...

Затаив дыхание, вхожу я по пояс в холодную воду, окунаюсь в прозрачную стынть, задерживаю под водой дыхание, а потом выскакиваю на берег, чувствуя, как вода студёная пробрала до костей, даже в висках заломило.

Ложусь на плоский, уже успевший прогреться камень и — погружаюсь в дрему.

101.

Сиюминутна печаль. Как весеннее облако, проплыла, пролилась мимолётным дождём и разгладилась гладь небесная — ни боли, ни тяжести на душе. Только тянет её в глубину расширяющегося до бесконечности неба и ты словно проваливаешься в неё, растворяешься в синей дали, и даже чувство потерянности или жалости к себе самому не возникает при этом. Протяжная, появляется вдруг тоска, пропадает и снова находит. нагоняет обиды одну за другой. Полуистлевшие, полузабытые.

Снова вспомнилась мне Бану. Появилась перед глазами, улыбающаяся, как прежде, и опять в синеве растворилась, в обваливающейся глубине.

Час за часом и день за днём воздвигали мы оба строенье мыслей наших и наших чувств, но застала нас Смерть врасплох, и обрушилось наше строенье. Словно дерево, что подрубили, словно плотина, что прорвалась, — боль одолела меня, срубила, затопила и закрутила, в сердце самое мне ударила, разлилась наводнением по судьбе, не жалея ни прошлого, ни настоящего, существом моим завладев, помрачив на мгновенье рассудок, притупив, омертвив мои чувства и страданием отравив всё во мне до последней капли.

Но кончается воспоминанье. Утихает в душе ураган, сокрушив на пути своём всё, что способно противиться силе. И надломлена воля опять, и опять мои бедные мысли, одинокие и потерянные, в промозглой пустыне отчаяния, на самом краю бытия тихой дрожью исходят...

Опустошительная немота.

102.

Чрезмерная уверенность в своём величии и недостигаемости для людской толпы пробуждают в деспоте самую низкую из всех страстей: озлобленное желание перекроить на свой лад чужие добродетели, которые хоть как-то бросают тень на его поступки, на действия его и слова. Подозрительность и страх пускают свои ядовитые побеги, и вскоре правда становится ложью, вера оборачивается неверием, и сама земля начинает уходить из-под ног тирана. И всё, что вчера ещё казалось незыблемым, становится зыбким и ненадёжным, пока, наконец, страх не овладевает всем его существом, парализуя волю. И уже не успокаивает, не спасает дьявольское желание отомстить всему человеческому роду за его нескончаемое терпение. Всех их, правых и виноватых, принести в жертву своему страху, утопить его в людской крови, искать себе смерти и не находить её ни в земле, ни в воде, ни в огне, изрыгая презрение и ненависть ко всему живому...

103.

Властители лгут. Впрочем, как и все люди. Ни больше, ни меньше.

104. ЮРОДИВЫЙ

Покойный отец мой строго следил за тем, чтобы я не общался с детьми простолюдинов, и любое моё слушание по этому поводу вызывало в нём раздражение. Но никакие запреты не могли удержать меня от желания общаться с каландарами, бродячими дервишами или с сумасшедшим — дивоной по имени Парсана. Последний, едва увидев меня, приходил в чрезвычайное волнение и начинал прыгать вокруг меня, изображая бурную радость. Наряженный в полосатый халат грязно-жёлтого цвета, скроенный из новых и старых заплаток, зимою и летом он не снимал его, выделяясь даже в базарной пёстрой толпе и халатом своим, и, главное, необыкновенно высоким ростом. Люди не оставляли его своим участием. Болел он редко, но стоило Парсане почувствовать лёгкое недомогание и несколько дней остаться в своей небольшой худжре при мечети, как появлялось немалое число желающих навестить его. Существовало даже поверье, по которому попавшему в беду предписывалось сходить к Парсане, чтобы он, божий человек, отогнал или ослабил силу несчастья. Надо сказать, что во многих случаях это помогало, и тогда благодарные люди вновь приходили к нему, чтобы отблагодарить дивону. Удивительно было то, что он никогда не зарился на чужое добро, а из убогих, которые подносили ему, оставлял себе ровно столько, сколько было необходимо, чтобы скоротать день. Взрослые пугали детей своих карой божьей, когда тем не терпелось подразнить бедолагу.

Каждый раз, когда я приносил Парсане что-нибудь съедобное, он, широко улыбаясь, прятал это за пазуху, а потом показывал мне пустые руки — посмотри, нету. И столько было в его глазах детской наивности, что невольно и мне самому казалось, — действительно ничего нет и я ему ничего не давал.

Парсана недолюбливал нукеров, обычно сопровождавших меня по городу, и шутивно напускался на них с кулаками, если те пытались отогнать его от меня. В редких случаях, видимо, из жалости к Парсане, они как бы ненароком отставали от меня, позволяя тем самым мне

пообщаться с дивоной. И тогда радости его не было предела. Захлебываясь от радости и нетерпения успеть побольше рассказать мне, он обрушивал на меня обрывки фраз и отдельных слов, перескакивая с одного на другое, или жаловался на кого-то, кто в последнее время обижал его. А потом, затомившись от напора собственного словесного потока, неожиданно замолкал, выскакивал на середину улицы и, потешно размахивая длинными своими руками, разгонял глазающих на меня зевак.

Мои частые встречи с дивоной дошли до слуха отца, и он, ничего не сказав мне об этом, велел выпороть до полусмерти двух нукеров, обычно сопровождавших меня в моих прогулках по городу. В знак протеста я вообще отказался выходить за пределы дворца и готов был понести за это любое наказание, но отец, кажется, и внимания не обратил на это столь решительное проявление моего характера. Прошло некоторое время, обида во мне поутихла, и я готов был возобновить прогулки по городу, но тут увлечение книгами захлестнуло меня с головой. И потом, долгие годы, обрывочные воспоминания о "друге детства" моём, дивоне Парсанае, были одними из самых светлых.

Встреча с дивоной, о которой я хочу сейчас рассказать, произошла в те самые дни, когда одолевали меня тягостные сомнения по поводу моего навязчивого желания — оставить престол. В последнее время я вменил в обязанность приближённым к трону сановникам раз в неделю совершать вместе со мной конную прогулку по городу. Это вызвало глухой ропот среди последних, особенно тех, кто давно уже не садился на коня и отвык от верховой езды. Но главное было не в этом: после каждой поездки кому-либо из чиновников изрядно от меня доставалось. Я был неумолим. К тому же единственная цель этих прогулок — осмотр города — себя оправдывала: город стал чище. Чиновники, отвечающие за порядок и чистоту, вынуждены были работать в поте лица своего.

В тот воскресный день, во второй его половине, как всегда перед началом прогулки ко мне вошёл начальник охраны, но, видимо, задумавшись, я не сразу обратил на него внимание.

— Солнцеподобный, — обратился он ко мне, неуверенно откашливаясь, — не вели казнить за то, что размышления твои приходится прервать мне, — ждут сановники, чтоб совершить по городу прогулку... Уже готовы кони...

В тот день, ночью, мне приснился дивона Парсана, и ужасно захотелось его увидеть. Конные прогулки исключали возможность встречи с простолюдинами, так как нукеры, ехавшие далеко впереди, разгоняли толпу или заставляли падать ниц и лежать в таком положении до тех пор, пока не проезжала сиятельная кавалькада.

— Отведите коней обратно, — взглянул я на начальника охраны. — Я хочу пешком по улицам пройти.

— А вельможи?

— Пусть отдыхают.

— Но они боятся, — взмолился начальник охраны, — тебя оставить одного среди черни.

— Я властвую над этой самой чернью, — с усмешкою подумал я про себя, — и я же должен за себя бояться?! — Ну хорошо, — сказал я начальнику охраны, — двух стражников пришли мне.

Не прошло и пяти минут после ухода начальника охраны, как за дверью раздались негромкие голоса придворных и несколько человек вошли ко мне и склонились в глубоком поклоне.

— Нам передали... — неуверенно начал начальник полиции.

— Передали нам... — тоже запинаясь, повторил хранитель печати.

— Уж если мы прогневили тебя, — взмолился придворный поэт, — вели казнить. Зачем же отстранять нас от забот наших повседневных...

— Кто вам вменил в обязанность, — не выдержал я, — ходить за мною по пятам и дифирамбы мне петь за то, чего не совершил я?

— Так испокон веков заведено, — пролепетал начальник полиции.

— Ты — царь, а значит, божество для нас, — восторженно, как стихи, продекламировал придворный поэт.

Мне стало не по себе от этой неприкрытой и слащавой лести.

— Какую глупость вы несёте. Стража! — крикнул я, имея в виду тех двоих стражников, которые должны были сопровождать меня, но сановники по своей трусливой природе подумали о том, что я хочу наказать их, и тут же попадали ниц. Глядя на их беспомощные позы, я хотел было рассмеяться, но вовремя передумал: только сейчас мне не хватало наживать себе новых врагов. Я сам склонился перед ними, велел подняться им и в мягких выражениях объяснил, почему мне хочется пройти по городу одному. Я даже велел передать остальным сановникам, что я всеми ими доволен и благодарен за ревностную службу. Кстати, — добавил я уверенным тоном, — в ближайшее время многие из вас будут отмечены особыми царскими подарками.

Описать лица, на которых смертельный страх тут же сменился иным выражением, — я не могу. Это не поддаётся описанию.

Я шёл по улицам города, и удивлённые люди, едва завидев меня, падали ниц. Замешкавшихся стражники сбивали на землю. Женщины в паранджах испуганно прижимались к стенам дувалов.

Как странно, — размышлял я сам с собою, — раньше я и не замечал ни медников, ни мясников... все люди были на одно лицо.

— Эй, водонос, — обратился я к человеку, лежащему ниц, заметив у него за спиной кожаный бурдюк с водой, — не дашь ли мне напиться?

Водонос недоверчиво поднял голову от земли, но, встретившись со мной взглядом, снова испуганно уткнулся в пыль. Подбежал расторопный стражник и поднял водоноса за шиворот. Дрожащими руками тот достал пиалу и попытался налить мне воду, но пролил её.

— Я не могу налить, — плохо соображая, что говорит и делает, сказал водонос, — трясутся руки... Зачем моя вода понадобилась вдруг царю?

Стражники схватили водоноса, чтобы не болтал лишнего, но я остановил их:

— Пойдите! Дайте мне мешок. Я сам попробую напиться.

— А ты не бойся, — обратился я ласково к водоносу, отпивая несколько глотков ледяной родниковой воды. — Такой воды не пил я никогда. Спасибо, водонос.

Получив мешочек с золотыми, ошарашенный водонос хотел было что-то сказать, но, похоже, от волнения и неожиданности лишился дара речи. Так и стоял, ошалело потрясая руками и, словно рыба, выброшенная на берег, широко захватывая ртом воздух. Помрачневший стражник слегка двинул водоноса локтем, и тот не замедлил упасть передо мной на колени и в знак благодарности

молитвенно вскинул руки. Я пошёл дальше. И едва завернули мы в переулок, как под дувалом увидел я сумасшедшего Парсану. Я его сразу узнал. Всё в том же полосатом халате грязно-жёлтого цвета и такой же худой. Только постарел изрядно. На голове остроконечный чёрный треух и ключьями борода, поседевшая, редкая. Закрыв худыми ладонями лицо, он то ли плакал, то ли причитал. Мы подошли поближе. И тут, увидев меня, он неожиданно резко вскочил на ноги и закричал:

— Встань на колени, раб! Ну наконец-то ты вернулся ко мне по доброй воле. Я накажу тебя. Нет, передумал, женю тебя на дочери султана турецкого, или уж нет — мы женимся, но оба на дочери турецкого султана, чтоб вместе по очереди шекотать ей пятки.

Я расхохотался. Стражники нагнувшись на сумасшедшего и даже было схватили его за рукава халата, но я их остановил. Меня чрезвычайно заинтересовало то, о чём говорил сумасшедший.

— Потом тебя с царём я познакомлю, — отмахнувшись от стражников, продолжал Парсана, — он, говорят, такой же сумасшедший и умный, как и я... Ты что, не веришь? — недоумённо вскинул он на меня брови. — Пойдём, я отведу тебя в тот переулок, в тот самый, где вельможеские храмы. Ты убедишься сам, когда погонят меня из переулка — вслед услышишь, что я такой же, как и царь, дурак. Но ты не верь богатым, — вплотную придвинулся он ко мне и доверительно зашептал, — сумасшедший или дурак не может быть не умным. Ты думаешь, тебя я не узнал? Узнал, узнал... Но зря ты согласился учить их жить... Оставь их — пусть живут. Не переделай их, ведь там, — ткнул он указательным пальцем в небо, — виднее, что делать с паствой... Ты мне не сын, — вдруг отбежал он в сторону, — мошенник ты, мошенник. Ты думаешь, чтоб править государством, не надобно ума? Ты ошибаешься. Кнутом, мой царь, любви не завоеуешь, а без любви народной — разве царь ты? — Ты, как и я, юродивый — запомни... Вот только отыщу свою верёвку и вздерну на суку тебя, потом поджарю, как воробья, на медленном огне...

Полные тёмных намёков слова дивоны произвели на меня сильное впечатление. Я, неожиданно для себя, разволновался так, что, повернувшись, скорыми шагами пошёл обратно. Стражники едва за мной поспевали.

— Ну что же ты бежишь, — послышался вслед мне жалобный голос юродивого, — ведь я обещал женить тебя на дочери султана.

Метрах в двухстах впереди меня неожиданный смерч поднял и закрутил в небо столб уличной пыли. Жаркое его дыхание опалило лицо мне, и я непроизвольно прикрыл рукою глаза.

— Ты не прячь, — снова вслед закричал дивона, — не прячь лицо от ветра, ведь весенний ветер, он выдувает горечь из сердца человеческого. Слышишь?

Кажется, песчинка попала мне в глаз. Слезы выступили.

105.

Мир держится на одиночках. Только благодаря их личному самопожертвованию, их, для кого законы общества столь же непреложны и святы, как само существование жизни и смерти, — отходит всё дальше, отодвигается конец света. Для всех остальных законы существуют лишь для того, чтобы их уважать в той степени, в какой можно их обойти и не быть сильно наказанным.

Дать больше, чем это необходимо для послушного и незаметного

существования не каждому человеку под силу. И можно лишь сострадать тому, кто всё время даёт, не требуя ничего взамен. Но ещё большего сострадания достоин тот, кто берёт, притворившись дающим. Руки, которые гнутся к себе, забывают, как разгибаться.

106.

Слишком дорога цена духовной и моральной низости, которой приходится расплачиваться честолюбивому человеку за то, чтобы достичь высокого положения в обществе. Я заплатил сполна и потому знаю, о чём говорю. Чистые помыслы и мечты, кроме одной-единственной — прорваться наверх — всё приносится в жертву только лишь ради того, чтобы со временем ты превратился в бесстрастного и расчётливого монстра, способного употребить свои и чужие силы для достижения одной-единственной корыстной цели. И в этом безжалостном поединке с самим собой суждено победить тому, кто, не задумываясь, хладнокровно смог вытравить из себя всё лишнее, что препятствовало ему стать орудием собственной страсти. Всё доводится до совершенства — манеры, умение лгать, обливаться слезами, смеяться; перед собственной тенью, коль нужно.

107.

Для многих из тех, кто в годы моего властвования был рядом со мной, желание пробиться наверх становилось предметом смертельной страсти, и сама жизнь для них без этой, вечно обваливающейся и пугающей высоты, постепенно превращалась в унылый поединок с пустотой и усталостью, а всё, что не связывалось со славой властителя, вызывало тоску и отвращение. Они были рядом со мной, но они не хотели видеть моего разочарования властью. Даже то, чего добились они, приводило их ум в состояние наркотического опьянения: и чем больше было этой самой власти, тем безумнее становился её обладатель. Я властвовал. Но я пытался доказать, что видимость величия не выше меня самого.

108.

Сколько себя помню, единственное, что мне не запрещалось с детства — это чтение книг. Отец смотрел на моё увлечение с некоторым отстранённым пренебрежением и терпел только лишь потому, что мне в моём пристрастии к книгам благоволила матушка, с мнением которой отец считался. Ладно, говорил он матушке снисходительно, пусть читает пока, а там посмотрим. В будущем эта блажь ему ни к чему. Его учёности вполне хватит, чтобы править государством. Как говорят: "Будет пастух слишком умным — некому будет пасти скот". Но с годами увлечение моё переросло в страсть, и, чтобы лишний раз не попадаться отцу на глаза и не раздражать его, я приучил себя читать книги по ночам, можно сказать, войдя в тайный стовор с библиотекарем книгохранилища, который относился ко мне с благоговением и сам подбирал мне книги, чтобы не читал я без разбора. Только теперь я понимаю, какой опасности подвергал жизнь старого муллы Бинаи, да попадёт душа его в рай и да возрадуется. И даже став царём, не оставил я давней своей привычки. Иногда мне казалось, что именно по ночам и занимаюсь я истинно государственными делами, а то, что удавалось

мне сделать днём, представлялось мелочным и пустым. Но так только мне одному казалось, пока я до конца не осознал, что подводных течений в океане борьбы за власть гораздо больше, чем волн на поверхности. Управлять государством и быть в стороне от подводных батальи было просто невыносимо. Я убедился в этом буквально через несколько месяцев после своего восшествия на престол. И убедился, как я полагаю, совершенно случайно, против своей воли. Однажды ночью, утомившись долгим чтением, я подошёл к распахнутому окну и стал невольным свидетелем следующего разговора, происходившего неподалёку. Скрываясь за плотную штору, я подобрался поближе, сгорая от стыда за своё постыдное желание подслушать чужой разговор.

— Опять сидит, — узнал я сразу голос главного евнуха. — Всё ищет себе недостающий разум в старинных книгах... Обложился ими со всех сторон и сидит. Недоумок, одним словом.

— А ведь я не раз говорил отцу его покойному, — отозвался из темноты дребезжащий голос диванбеги, — чтобы он послушался меня, съёж всякую ересь книжную на кострах, как это и делали испокон веков во многих государствах. Ещё хорошо, что часть новых книг, закатанных им в Мешхеде, велел дорогою я уничтожить, а ему сообщил, что разбойники отобрали. Если бы ты видел, как он страдал. Хотел тут же снарядить новую экспедицию — насилу я его отговорил.

Кровь прилила у меня к вискам. Выскочить и схватить за горло гнусного этого человека! Но тут в разговор снова вступил евнух.

— Сильно изменился с тех пор, как стал править государством. Виданное ли дело? Над нами все послы уже смеются. Гарем весь распустил, а при себе оставил одну лишь худосочную Бану. И что он в ней нашёл? Не понимаю. А мне-то что делать? Я привык на женщин глядеть глазами евнуха...

— Без дела не останешься, не бойся, — понизил голос до шёпота диванбеги и добавил что-то ещё, чего я не расслышал.

— Следить за государем? — даже не удивился евнух и оглянулся в мою сторону. — Мы это можем. Привычку эту приобрёл я с детства. Зато теперь долгими ночами всё вслушиваюсь в темноту и обхожу гарем, хотя в нём пусто. И холодно... Я — та собака, которую прогнал хозяин...

— О чём ты там бормочешь? — не выдержал диванбеги.

— Осмелюсь доложить, — вспомнил о собеседнике евнух, — уже сановники открыто проявляют недовольство.

— Какое же?

— Вчера подслушал — двое говорили, я не узнал их в темноте ночной, — о том, что если царь и дальше будет скупиться на халаты и подарки из государственной казны, то скоро... Последних слов его я не расслышал, ветер...

— За то, что недослышал, — сквозь зубы прошипел диванбеги, — убавлю я тебе вознагражденье, ну а дальше, коль так же будешь слышать, перестану платить и вовсе, ведь пустой желудок, я слышал где-то, обостряет слух.

Евнух часто задышал и обиженно отвернулся. Его сгорбленный силуэт в темноте передвинулся поближе к стене.

— Не волнуйся! — подвинулся к нему диванбеги. — Пока полезен будешь — не оставлю и щедростью своей не обделю.

— Тебе бы быть царём! — вырвалось у евнуха.

— Да не кричи ты! — испуганно процедил диванбеги. — Иди, иди — ты славно поработал. Смотри не позабудь, составь мне список последних книг, прочитанных владыкой. — Он оглянулся по сторонам, а потом зашептал тревожно: — Есть подозрение — он читает на языке неверных. Ничего, пусть пока читает. Быть может, и прибавится ума, когда однажды потеряет царство, а заодно и голову... Я постараюсь, найду себе людей надёжных — и возьмёмся не медля, но и не спеша, за дело. Нельзя мне тратить время понапрасну. На, держи. — Послышалось звяканье золотых монет, и диванбеги тут же растворился в темноте, словно провалился сквозь землю.

Я вернулся к столу. Случайно подслушанный разговор произвёл на меня тягостное впечатление. Серьёзность намерений диванбеги надо было ещё проверить. И не мешало бы узнать, кто его готов поддержать. И надо самому теперь действовать, а не дожидаться, пока свершится заговор. Но с чего начать? Я ведь прежде никогда и не думал, что придётся участвовать в самых тёмных интригах двора. Отложив в сторону недочитанную книгу, я погрузился в раздумья. Мысли путались. В это время за спиною послышался лёгкий кашель, я повернулся и в полусумраке длинного прохода различил старческую фигуру диванбеги. Я испугался. Мгновенная мысль, что меня пришли арестовывать, заставила вздрогнуть. Но потом я увидел, что за спиною диванбеги никого нет, и успокоился. Мне показалось, что он что-то сказал.

— О чём ты сам с собою говоришь? — поднялся я ему навстречу, чувствуя, как предательски дрожит голос. — Или недуг неизлечимый гложет?

— Печалюсь о тебе я и хочу, — был усталый ответ диванбеги, — что перестал ты по ночам просиживать над горами почти истлевших книг и к важным государственным делам вернулся...

— А что это ты в последнее время так беспокоишься обо мне? — заметил я язвительно, вставая. — И ходишь по ночам... А ведь ты должен спать. Наверное, общаешься с друзьями, с которыми нельзя средь бела дня поговорить открыто?

При этих словах моих диванбеги побледнел и, как показалось мне, даже слегка отшатнулся. Во всяком случае он не ожидал столь прямого и каверзного вопроса.

— Я про книги, — замешкался он с ответом. — Что толку в них, в твоих старинных книгах?

— Что толку, говоришь? — усмехнулся я. — Ты рассуждаешь как ростовщик или купец. А что ты сам прочёл из книг, в которых о государстве пишется?

Диванбеги подавленно молчал, всё ещё не оправившись от первого моего удара. Видя его состояние, я взглядом указал ему на скамью, и он тяжело опустился на неё и вздохнул. Я великодушно отвернулся в сторону, чтобы дать возможность ему передохнуть, и заговорил о другом.

— Мне представляется, дела идут неважно, если под делами ты разумеешь благосостояние чиновников моих... Царская казна изрядно оскудела, не скрываю, но ведь на то есть веские причины: был год тяжёлым — мор, неурожай. И без того мы обобрали бедных подданных моих...

— Вот-вот, ты их жалеешь, — взбодрился наконец диванбег, — а царь — покойный — жалости не знал, и весь налог взимали мы с народа, лишь о казне заботясь.

— Похвально, что печёшься обо мне, заслуг твоих веков я не забуду, — заметил я иронично, чувствуя, что ещё не время переходить в атаку.

— Не о заслугах говорю, мой царь, — придал голосу скорбные нотки старик. — Меня ещё отец твой возвеличил. Мир праху — был в подлунном этом мире царём великим он...

Диванбег прикрыл ладонью глаза, и на какое-то мгновение мне даже показалось, что он и всерьёз озабочен делами государства, но дальнейшие его слова убедили меня в обратном.

— Тебя он мне доверил, — продолжал диванбег, уставившись в одну точку. — Озабочен я тем, что ты забросил совсем охоту.

— Я никогда не увлекался ею.

— На кладбище стал похож дворец твой, где говорят лишь шёпотом живые.

— Так вот к чему ты клонишь, — изготовился я отразить нападение.

— Без увёрток, так сразу, откровенно и сказал бы, ведь я тебе лишь одному прощаю жёлчь твою и дерзость.

Видимо, диванбег почувствовал в моих последних словах плохо скрытую угрозу, ибо он тут же повалился мне в ноги, и мне стоило труда поднять его и усадить обратно. Но он снова вскочил и низко передо мной склонился.

— Я только раб, могу и на колени перед тобою пасть: казни иль милуй.

Я отошёл в сторону, чтобы не дать жалости взять надо мною верх.

— Пока не отвлекался я охотой, смог прочитать немало. И узнал...

— Как надо лучше править государством? — оправился от недавнего унижения диванбег.

— Узнал, узнал, — постарался я попасть ему в тон. — Кстати, это место давно уже стало непригодным под библиотеку. Немало книг от сырости попортилось. Не возражаешь, если мы построим библиотеку наверху?

Диванбег промолчал.

— С большим трудом читать мне удаётся. Я советую одну из этих книг прочесть со мною.

— Я в старых книгах ничего не смыслю, — насутился диванбег. — В них правды нет земной, я в том уверен, а сказкам я не верю.

— Кровь и слёзы на этих самых книгах, — вырвалось у меня от отчаянья. — Мой отец довёл людей до нищеты.

— И что ты предлагаешь? — выпрямился диванбег.

— Нам надо вместе искупать вину... Народ не заслужил такого униженья...

— Наивно это всё звучит. И несколько высокопарно.

— В одной великой книге прочитал: существовал обычай в старину — являлся властелин на покаянье перед народом, чтобы каждый мог судиться с ним открыто... И решил я поговорить с народом.

— Ты — с народом? — отпрянул от меня диванбег. — Быть может, я ослышался? Ты хочешь, чтобы тебя открыто обвинил ничтожный водонос или гончар во всех земных и неземных грехах?

— Ты не оглох, — как-то сразу успокоился я. Даже уверенности в моём голосе прибавилось. — Ты правильно всё понял.

— И для чего же это тебе нужно? — придвинулся ко мне диванбеги.
— Хочу узнать все слабости царей, — отвечал я всё так же уверенно, — и ближе познакомиться с народом.

— Стыдись, ведь прах отца!..

— Я слушаю и повинуюсь! — начал я скоморошничать.

— Не издевайся так мелко над властителями мира. Одно упоминание имён меня бросает в трепет... Понимаю, ты хочешь приравнять себя к великим, но чтением книг ты вечность не приблизишь, а только время постраратишь зря.

Разговор наш изрядно затянулся, и надо было его заканчивать. К тому же я ещё более утвердился в мысли, что если всерьёз не припугнуть старика, он, пожалуй, и вправду может стать зачинщиком заговора. Хотя навряд ли. Слишком он трусоват для этого.

— Всё! Хватит! — стал я складывать на столе книги. — Оставь меня в покое. Хотя вернись, хочу тебе сказать...

— Устал ты, царь, — снисходительно заметил диванбеги, — ты переутомился. Но это поправимо — отдохнёшь недели две в горах или в степи, развеешься, о книгах позабудешь и обретёшь покой.

— Да, да, конечно, нам ещё не время, — пошёл я у него на поводу, — гордиться тем, что сделано... И стыдно перед народом выходить, тем более когда вокруг тебя желающих поцарствовать немало... Могут не понять — кто царь на самом деле... Это так? — резко приблизился я к диванбеги.

— Да, да, нет-нет, — побледнел и залепетал что-то несурзное диванбеги, а я тем временем продолжал своим саркастическим тоном, не давая ему опомниться:

— Ведь стоит отлучиться на неделю — и не заметишь после, как остался уже без трона. — Расхохотался я: — Так бывало уже не раз в истории. Особенно когда ночами ходят и шепчутся сановники о чём-то...

— Ни с кем я не шептался, — заговорил скороговоркой диванбеги, — это тебе наговорили на меня.

— Не говорил, так может быть, придётся, — продолжал я ёрничать. — Одно лишь плохо — надо всем платить. А вот платить не хочется. Не так ли? — Схватил я старика за плечи и, медленно цедя слова, ледяным голосом добавил: — Я знаю обо всём, что в государстве происходит. Кто с кем встречается и говорит о чём. И сколько платит... Ты понял? Я сам оставляю царство, но ещё на этот шаг я не могу решиться. А пока — я ни тебе и никому другому плести вокруг интриги не советую...

Я отпустил старика, и он, онемевший, отшатнулся от меня и обвалился, упал на скамью, и, кажется, не слишком ловко, ибо она с грохотом персвернулась под ним и одним концом даже задела меня. Но я уже не обратил на это внимания и быстрыми шагами направился к выходу.

109.

Надо быть наделённым особым талантом, чтобы уметь подражать нравам своих богов, и обладать утончённым нюхом, чтобы улавливать перемены в их настроениях. Для овладевшего искусством приспособленчества только тогда и светит солнце, когда помыкают им, как

ослом, вынуждают быть попугавом и разрешают доставлять удовольствие, гримасничая подобно обезьяне.

Ещё ни один властитель не мог похвалиться своими победами над лестью, ибо и не было ни одного вождя, чьё обострённое тщеславие не трепетало бы при первом же столкновении с нею. Не смеющая притязать на особые привилегии или даже на самое скромное почтительное обхождение, она похожа на песок, медленно подтачивающий бархан. Почтительное отталкивание её и оказывается молчаливым согласием на сосуществование с нею.

Находясь у власти, я так и не смог справиться, а может быть и не хотел, с бесконечным количеством личин, которыми обладает лесть. Можно было только удивляться изощрённости и изобретательности льстецов, которые, ведая о моём неприятии лести, шли на такие немыслимые уловки, что порою только по прошествии длительного времени до меня наконец доходил смысл вроде бы случайно оброненных слов. Иные из них были столь изысканны и столь ловко обрамлены, что и сегодня, чего уж греха таить, продолжают тешить моё самолюбие.

110.

Иногда единственное моё поражение приносило народу гораздо больше облегчения, чем мои многочисленные победы, тяжесть которых всё равно несли на себе массы. Вознесённый на высоту власти, уже одним своим положением я был отгорожен от подданных надёжной бронёй, позволявшей мне безнаказанно лгать там, где человека, не облечённого властью, непременно уличили бы во лжи.

111. ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ В АД

Советы. Наблюдения. Наставления

Если, вступая во власть, не распрощались вы с человечеством, — ворота её навсегда останутся для вас закрытыми.

Прежде, чем вознамеритесь взойти на вершину, хотя бы мысленно попытайтесь измерить глубину пропасти, в которую придётся падать.

Изучайте людей: действительность не может быть иной, чем выражение лиц обывателей.

Чем больше людей стремится к власти, тем быстрее она обесценивается.

Невозможно достичь политических целей, не применяя коварства и хитрости, но стоит вам только прибегнуть к ним, как тут же начинают деформироваться и извращаться ваши первоначальные благородные побуждения, которым сочувствовали массы.

Если люди из вас начали сотворять себе идола, значит, у них уже ничего не осталось для веры и поклонения.

Чем выше ростом кажутся при власти, тем ниже становятся без неё.

Там, где властители не могут устроить жизнь — они устраивают праздники.

Властвовать — значит обладать особой формой близорукости и глухоты, не позволяющей слышать и видеть то, что не ласкает слух и может быть неприятным для глаз.

Если говорят от имени народа, значит, ему не верят.

Тот, кто служит политике — не служит себе, а тот, кто служит себе — не служит людям.

Властителя, о котором не сплетничают — забывают. Но правитель, за которым волочится слишком грязный шлейф сплетен, становится посмешищем для толпы.

У бездарных вождей и толпа бездарная.

Ненавидьте от имени масс, признавайтесь в любви — от себя.

Если вы с упорством фанатика, с каждым днём всё больше ограничивая свою свободу, загоняете себя в железные рамки тирании, чтобы в конце концов превратиться в её фальшивую куклу, и если при этом вы научились производить непрерывное и подавляющее, почти гипнотизирующее впечатление на толпу и своими действиями в каждую следующую минуту готовы оправдывать её неприхотливые ожидания, — можно не беспокоиться, — памятник деспотизму вы уже воздвигли.

Для того, чтобы быть тираном, не обязательно всё время демонстрировать силу, можно иногда и расслабиться: для себя это будет развлечением и отдыхом, смутьяны придут в замешательство и натворят глупостей, а толпа будет в восторге. Поводы же для воздвижения виселиц найдутся всегда и даже с избытком. Для себя это будет возвращением в своё естество, смутьяны придут в замешательство и опять натворят глупостей, а толпа, не подозревая, что её опять надувают, тоже будет довольна. Что ни говори, а способов удержат власть у тирана гораздо больше, чем у того, кто правит по справедливости.

Недолг век власти, которая не умеет быть слабой.

Как ни парадоксально, но мне, человеку, познавшему до тонкости все хитросплетения борьбы за власть, всё чаще представляется: честных способов покорения пирамиды гораздо больше, чем тех, что неизменно помечаются особой дьявольской метой. Но каждый, рвущийся к власти, использует только те приёмы, которых ожидает от своих недругов. Слишком вождьленна и узка ступень, чтобы на ней удержаться, выставя перед собой своё благородство, подобно щиту, и слишком много желающих коварством, хитростью или силой овладеть желанною высотой.

Бойтесь не тех, кто служит престолу, а тех, кто ему прислуживает. Властитель — это его окружение.

Самая непродолжительная борьба властителей с самими собой — это борьба со своей скромностью. Во многих случаях хрупкие бастионы её падают в первый же день вступления во власть. И это единственное поражение, которое не огорчает побеждённых.

Нет человека, хотя бы раз не пережившего минутного позора, и нет ни одного совестливого властителя, не переживающего позор каждый день.

Все вожди со временем становятся теми, кого они из себя строили.

По спинам тех, кто уже в пирамиде власти, можно подняться лишь на вулкан, с которого редко кому удаётся сойти, не свернув себе шею.

Не бойтесь показаться смешными. Безрассудные поступки, иногда совершаемые властителями, это единственное, что делает их похожими на простых смертных и без чего власть была бы совершенно мертва.

И последнее: властвовать — значит неизменно впадать в отчаяние, ибо в политике есть то, что ускользает быстрее времени.

112. ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА

Два года тому назад, когда дни власти и могущества покойного отца моего по воле Всевышнего стали заметно подходить к своему завершению и молния руководства предвечного потускнела и перестала со всей яркостью освещать путь монарха, тогда, подгоняемый одним-единственным желанием, столь поглощающим и великим, что даруется оно не каждому, решил государь отправиться в достоctимую и святую Мекку, — да возвеличит Аллах её славу! — Ибо это похвальный удел тех, кто уверовал в Бога. Но на то и воля Аллаха, который даёт царство, кому захочет, а потом, когда пожелает, удержав руки его от свершения мирских дел, переселяет в другую обитель, которую он заслужил.

Событие божественного предопределения случилось с отцом моим, когда могущественный караван возвращался из Мекки обратно. Порождённое превратностью судьбы, несчастное обстоятельство острым жалом своим коснулось существа той чистой жемчужины, как сказал бы придворный поэт. На одной из последних стоянок государь был укушен змеёю и принял страдание болезни. И сколько ни старались врачи, сколько ни убеждали местные знахари, что совсем не смертелен укус, никто не упомянул случая, чтоб от него умирали, — августейший слабел от часа к часу. Проведя восемь дней в постели в беспомощном и горячечном состоянии, он вручил успокоенную душу свою Всевышнему. Власть, согласно его завещанию, которое он успел оставить, неожиданно перешла ко мне, хотя в последнее время он всё больше склонялся к тому, чтоб назначить на трон сиятельный брата моего двоюродного, эмира Абу Лахаба, как более зрелого по уму и возрасту, рассудительного и способного к делам. Но неожиданно для всех за месяц до смерти отца ветер рока холодный вырвал, с корнем вырвал плодородное дерево, едва ещё набравшее цвет, бросил в пламя болезни неведомой, которое в день или два сожгло его, испепелило.

Судьба облачила меня в халат владыки, и сам того не желая, я оказался на троне. Ни у кого из ближайшего окружения в час последний отца моего, когда завещание писалось, не хватило духа и смелости спросить, почему и зачем привлекать к управлению государством человека, божьей милостью обделённого желанием властвовать. Ведь все знали о страстном и странном увлечении наследника книгами,

редкими фолиантами, которые привозились из дальних стран, покупались по библиотекам. Я был столь далёк от искусства войны, что, бывало, отец приходил в ярость, глядя на то, как владею я саблей или сижу на коне. Бесчисленные упражнения только пагубно отражались на здоровье, которое расшатывалось по мере того, как против воли и насильно пытались его укрепить.

Может быть, обдумывая завещание, надеялся отец мой на то, что спокойствие, царившее во всех городах и селениях государства, даст мне время войти во вкус и освоить дела правления. Но не прошло и полгода, как смутяны окрестных селений стали расшатывать устои страны, совершать грабежи ночные и сокрушать камнями несчастий хрупкое стекло чести моих многочисленных подданных. Был бы жив мой отец, он навёл бы мгновенно порядок. Я ведь помню, к двору привели полсотни бунтовщиков, связанных за руки и шеи. Государь разбирался недолго: последовал быстрый указ, по которому тут же, на месте, главарям перерезали горло, словно баранам жертвенным, часть виновных подняли на минарет и сбросили их оттуда, а тех, кто остался, — повесили.

Нет ничего странного в том, что большинство злодеев перестало теперь раскаиваться в совершённых грехах и ступило на путь неповиновения, видя и зная, как раз за разом я отменяю подготовленные моей канцелярией указы о жестоком наказании бунтовщиков. Так продолжаться не могло. Даже там, где по всей видимости могло бы обойтись без пролития крови, видно, по старой привычке, усердливые исполнители выжигали огнём и мечом, подавляли малейшие очаги смуты, уже и не спрашивая высочайшего указания. Я всё это видел и страдал более других. Дольше оставаться у власти было уже опасно для государства, сохранить которое не представлялось возможным без насилия и тирании. И я принял решение: по доброй воле своей отречься, наконец, от престола. Причина должна была быть столь серьёзной и веской, чтобы царское окружение согласилось с ней беспрекословно и просьбе моей уступило. В то же время не мог я сказать полновесной и истинной правды тем, кто жизнь посвятил этой власти, сохранению её, упрочению, кто не знал ничего другого, кроме той, иссушающей страсти, порождаемой адским желанием хотя бы на шаг приблизиться к цели своей заветной и если уж и не заняты божественный сей престол, то хотя бы ближе других быть к нему постоянно. Для меня же для одного сумрачный, затхлый свет, свет моей библиотеки, расположенной низко в подвале, был теплее и ярче света дворца, освещённого и днём и ночью. Воистину, я жил в государстве, где правду можно было услышать только из уст безумца.

Конечно, сановники давно уже были готовы к моему решению, но все усиленно делали вид, что ничего не знают. В разговорах со своим ближайшим окружением я косвенно касался этой болезненной для меня темы и недвусмысленно давал понять, чтобы исключить всевозможные кривотолки, что последнее слово в окончательном решении останется за мной. Всех даже устраивал мой выбор — эмир Мир-Мухаммад Лутфулла, мой дядя по материнской линии, который, не откажись я от престола по доброй воле, в ближайшее время пошёл бы на меня войной. Мои тайные лазутчики, верные слуги ещё моего отца, доносили мне о скрытых приготовлениях к войне, активно

ведущихся в крепости Замбулак, где в последние годы и жил безвыездно эмир Лутфулла. Надо было опередить его. И мне это удалось. Однажды утром я спешно велел созвать высочайшее собрание, и когда члены дивана собрались, я рассказал им сон, увиденный мной ночью.

— Вот уже которую ночь, — начал я грустным голосом, — один и тот же сон меня беспокоит.

Я замолчал, оглядываясь по сторонам, не находя на привычном месте придворного астролога. Он оказался совсем рядом и, встретясь со мной глазами, низко поклонился мне.

— Повторяющиеся сны, — задумчиво проговорил астролог, — имеют судьбоносный характер, мой падишах.

— Так вот, уже которую ночь, — повторил я, будто и не слышал многозначительной реплики своего астролога, — один и тот же сон меня беспокоит. И снится мне: будто я вовсе не царь, а человек самого низкого происхождения и весною в бескрайней степи, одинокий, землю пашу на буйволах. Они надрываются, бедные, тянут плуг по влажной ещё земле, а я не даю им покоя, прокладываю между за межой, из последних сил напрягаюсь, помогаю животным. И вдруг останавливаюсь. Вдыхаю запах земли, опираюсь на плуг и слушаю тишину. Под самым небом, где-то в невидимой выси жаворонок заливается. И я поворачиваю голову, вглядываюсь в синеву и не могу разглядеть певуна. И вот теперь мне никак не решить то, о чём вчера ещё не думал...

— Очень чистый, возвышенный сон, — начал было астролог, но запнулся, видимо, вспомнив о своей должности. — Клянусь небом, украшенным созвездиями Зодиака, уже которую ночь, затаив дыхание, наблюдаю за восходом вашей звезды и потом со всей тщательностью измеряю час её появления и воссияния на небе и к выводу прихожу: день ото дня всё ярче она возгорается, светит на небосклоне, так что соседние звёзды, как мелкий песок рассыпаясь, меркнут в сравнении с вашей божественной звездой.

— Великий государь, — вставил слово своё главный казначей государства, — я не усматриваю тут причин для вашего беспокойства. Не пугайте нас...

— А по-моему, — робко подал голос начальник ночной стражи, — сон действительно необычайный. И он только подтверждает скромность и чистоту помыслов светоча нашего государства. Только избранным и могут сняться подобные сны.

Соловей словесного цветника, придворный поэт мулла аль-Муштари тут же выступил вперёд и продекламировал вдохновенно:

Вся скромность мира от стыда поблѣкнет,
коли проявит скромность государь.

— В твою августейшую эпоху, — начал льстиво диванбеги, — нет больше помыслов у злодеев о возможности совершения разбоя и грабёжей, возмущения спрятались столь глубоко, что их можно увидеть только в кокетливых подмигиваниях заморских красавиц, которых привозят купцы. Благодарение Аллаху, мир царит во всём государстве...

Диванбеги ещё продолжал говорить. Но я уже его не слышал. Из уважения к его возрасту и былым заслугам я не стал его перебивать, но

то, что он говорил, было совершенной неправдой. Даже я знал: дороги стали опасными для караванов, и купцы, терпя убытки, стали их обходить стороной. В ближайших урочищах орудовали шайки разбойников.

— Что же тогда говорить об эпохе правления моего отца? — вставил я, кажется, совершенно не к месту и усмехнулся, не договорив.

— Вы украшены познанием разных наук, — в подбострастном поклоне склонился хранитель печати, — и блеск властвования отражается на вашем благословенном челе.

Следует горечь за всякою сладостью,
близко соседствуют роза и шип, —

начал было придворный поэт, но его тут же перебили.

— В твоём сне нет ничего необычного, — попробовал вернуть высокое собрание к теме разговора высокоблагородный ходжа, шейх Ариф-и, — человек во сне принимает любые образы.

— Это всё правильно, — повернулся я к шейху, — но еще вчера вечером я не задумывался об этом, хотя сон повторялся уж несколько раз. Сегодня утром меня вдруг пронзила мысль: если царь огромного государства во сне может быть пахарем обыкновенным, то почему же этому пахарю не увидеть себя царём. Разумеется, ночью, во сне. Я не могу найти себе места с утра. И не могу решить: то ли я государь, которому снится, что он пахарь, то ли пахарь, которому снится, что он — государь. Кто может ответить на этот вопрос?

Наступило неловкое молчание. Такого поворота событий никто не ожидал. Напряжение сковало высокопоставленных лиц государства. А я вдруг улыбнулся, сравнив себя с сумасшедшим нашего города, который своими нелепыми вопросами частенько ставил людей в тупик. Grimаса улыбки застыла на нескольких лицах. Встретившись со мной взглядом, люди отводили глаза, словно сознавались в неведомых мне грехах. Может быть, каждый из них вспомнил о сумасшедшем, невольно сравнил меня с ним, да тут же прогнал эту мысль. Мне надо было развеять коварные эти сомнения, и я обратился к ним с речью, попытавшись вложить в неё всё своё разумение о собственном и об их состоянии.

— Я избрал эту корону не по собственному желанию, — сказал я проникновенно и поднялся с трона, — и вы это знаете. И вопреки желаниям отца моего я собирался посвятить свою жизнь изучению наук. И это вы тоже знаете. Так вот, в одной умной книге я прочитал недавно: "Люди следуют вере своих государей, народы в жизни следуют за своими царями. И если поводыя времени попадут в руки справедливого монарха, то все обратятся к правосудию добродетели. Если же наоборот, то и народ склонится ко лжи и будет ходить во всяческих неправдах". Я не могу обратиться пока людей в свою веру, веру познания. Видно, время ещё не пришло. Но ведь оно придёт обязательно, это время. Когда перестанут смеяться над человеком учёным. Хотя бы во имя одной справедливости. Или во имя добра. Ведь об этом именно сказано и в хадисе пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: "Если государь справедлив, то он является участником великого добра, которое происходит от его подданных, а если — тиран, то является

соучастником всякой мерзости, которую творят его подданные". Но только лишь обладая знанием или уважая его, можно быть справедливым. Мудрецы говорят, что царю нужно иметь три свойства, которых лично мне недостаёт пока: первое — нравственное величие, которым исправляются нравы подданных; второе — правильность суждений, ибо она способствует совершенству природы и умножению опыта; и третье — силу перенесения невзгод и несчастий, так как вследствие этого получается справедливый образ действий и сила стойкости. Многим из этих требований отвечал мой отец, у которого к тому же было великое расположение к управлению государством. Поистине, неисчерпаемы божественные милости, которых и я, ваш покорный слуга, надеюсь со временем удостоиться из сокровищницы благодеяний Господа. Я готов служить вам верой и правдой, но как невозможно из ножики саранчи, отнятой у слабого муравья, приготовить богатый стол, достойный самого Соломона, так невозможно и управлять государством, отвлекаясь попутно на решение других вопросов. До тех пор, пока я не отвечу на единственный тот вопрос, который возник у меня после увиденного сна, я не могу подобающим образом управлять государством.

Я заметил, что разумные и милостивые слова мои растрогали всех присутствующих в собрании эмиров и духовенства, потому что никогда ещё прежде не доводилось им слышать подобного рода речей: все разом пали ниц и открыли уста свои для похвал падишаху и, вытянув руки молитвенно, хвалу вознесли Аллаху. И я повторил движение, и руки воздел к лицу. И затем попросил их подняться. И они поднялись. И во многих глазах я увидел сочувственное изумление, а в некоторых прочёл едва уловимое злорадство по поводу совершавшегося у них на глазах такого сумасшествия.

— Мы, рабы, выслушали всем сердцем, — прижал холёные руки к груди своей диванбеги, — продевши в уши кольца покорности своему падишаху, слова твои необыкновенные, и заявляем: мы всемерно готовы служить тебе и надеемся, что на долгие, долгие годы в дни величия государства ты будешь сиять на престоле и никому не позволишь отнять его у тебя.

Слушал я диванбеги и никак не мог понять, где он искренен, а где притворяется. Он тем временем продолжал:

— Подобного тебе государя, так заботящегося о своих рабах, Всевышний даровал нам, и мы готовы сложить за тебя свои головы.

При этих словах присутствующие вновь воздели молитвенно руки и хвалу вознесли Аллаху. Придворный поэт и тут не преминул вставить свои стихи:

Хвала Аллаху! Лучший в мире зодчий,
ты справедливости фундамент заложил...

— Но если тебе всё же вздумается настаивать на своём, — стал медленно подбирать слова диванбеги, — при том, что повергнешь нас в горе, можешь уверовать в нас: как отцу твоему и тебе, мы будем сложить тому, кого назовёшь ты достойным...

Так я добился желаемого.
Сон? А снился ли он мне?

113.

Всё время, пока я находился у власти, воображение моё постоянно металось между страхом и подозрительностью, между сомнением, самоуверенностью и самообманом. Всё остальное укладывалось в рамки неудовлетворённого тщеславия и раскалённого честолюбия. Ничто не приносило мне так много неприятностей, как страх и подозрительность, самоуверенность, сомнение и самообман, но и ничто, кроме них, не приносило так много тайного удовлетворения. Не случайно, наверно, любимым занятием моих приближённых было выявление и подсчитывание моих потенциальных врагов. Многие из вельмож повсеместно имели своих агентов и получали ни с чем не сравнимое наслаждение, если им первыми удавалось предупредить меня об опасности.

114.

Разных я видел людей. Слово бабочки-однодневки, вознесённые к свету случайно, они ловко вживались в роль и малейшую лесть в свой адрес принимали как должное, уже и не пытаясь вспомнить о своей незначительности и о том, что именно лесть помогла им вскарабкаться на вершину. Поэтому даже случайный ветер сдувал их вновь в темноту, и это падение воспринималось ими как крушение всех надежд.

115.

Чем выше взбирается человек по лестнице вверх, ведущей в ад, тем больше удобных ему зеркал подставляют свои гладкие заискивающие личики. Всё, как в природе: мелкая живность умеет пользоваться снисходительным покровительством гигантов.

116.

Очень часто ловил я себя на мысли, что невозможно держать сомнение своё в узде, пока находится оно в поле восторженно-приторного внимания окружающих тебя людей. Именно благодаря потоке их лести и происходит медленное перерождение наших добродетелей. Весёлость и приветливость, отравленные самопиением, становятся привычной маской, за которой исподволь накапливается раздражение; склонность и умение вырываться за пределы своих возможностей, твёрдость и даже решимость оборачиваются вдруг вялостью, скованностью и страхом, выливаясь в конце концов в навязчивое упрямство; вып니다ют, тускнеют и улетучиваются неуловимые, неожиданные наши мысли, пока полная апатия не овладевает нами. Так мы перестаём мыслить. Так начинается старение и умирание наших добродетелей. Но ещё долго их далёкий и призрачный отсвет временами озаряет наши, обезображенные привычными масками, лица, и наша ворчливая привязанность к ним только подчёркивает быдую от них зависимость. И, наконец, наступает время, когда о наших добродетелях никто, кроме нас самих, уже и вспомнить не может.

117.

Мысль о возможной потере власти делает сильных мира сего подозрительными и слабыми; глухими к вопросам, которые их не касаются; слепыми к делам, совершённым не под их руководством, и,

наконец, узкое пламя раздражения охватывает пожаром всё, чего касаются глаза и что невозможно уже удержать даже в железных руках тирании, и тогда в человеческом облики среди них появляются дьяволы, готовые вести их в преисподнюю.

118. ИСЧЕЗНУВШИЙ ТРОН

Ранней весной я объявил придворным о своём твёрдом намерении оставить престол, но со дня на день откладывал окончательное решение. Это было не так просто. Надо было определить дальнейшую свою судьбу. Я раздваивался между желанием навсегда покинуть столицу и поселиться в безлюдном укромном месте и намерением остаться в городе и полностью посвятить себя книгам, тем более, что вопрос о строительстве новой библиотеки всё ещё всерьёз и не поднимался. С другой стороны, оставаясь здесь, я подвергал свою жизнь опасности. Об этом я как-то сразу и не подумал. Оставалось решить проблему с книгами. Забрать их, конечно, мне не позволят.

Проходили за днями дни, двор жил в томительном ожидании, а меня словно сковало оцепенение — я поднимался к себе в покои, сидел взаперти и велел никому не пускать к себе. Короткие весенние дни внезапно неожиданно налетали на город, обливали его свежестью со всех сторон и так же неожиданно исчезали, еще более усиливая мою нерешительность. Эта свежесть и чистота будто выворачивали меня наружу, лишая сна и обрушивая всё новые и новые воспоминания о моей Бану. Нервы мои были расшатаны. Надо было ставить точку. Толчком послужило событие, участниками которого стали мои придворные. И хотя мне до сих пор стыдно за свою вспышку гнева и раздражения, которые я на них обрушил, именно оно, это последнее событие, и стало решающим для определения дня моего отречения.

Однажды, после проливного дождя, мне вдруг захотелось вырваться за город, в цветущую степь — Бану любила простор, — буйные запахи которой под напором северных ветров витали и над городскими улицами. Я попросил двух преданных мне стражников сопровождать меня, и они, истомившиеся от безделья, вмиг бросились снаряжать коней. Проходя мимо дворцового зала, я услышал громкий и оживлённый разговор нескольких моих сановников и остановился. Снова, как и в первый раз, мне стало стыдно за подслушивание чужого разговора, но я уже не мог сдвинуться с места: говорили обо мне.

— Хвала Аллаху! — Это был голос диванбеги. — Царь наш передумал идти на покаяние к народу. Блажь на него находит временами.

— Но эта блажь мне стоила седин, — вставил тут же хранитель печати.

— Поверите, последнюю неделю я спал часа по два, а может меньше, — узнал я голос придворного поэта.

— Совсем на книгах помешался, — опять начал выводить хранитель печати, — а жизнь, она не по-книжному идёт. И это покаяние только смуту в народе может вызвать, ведь узнают, конечно, люди всё о нас... Не стыдно мне признаться — боюсь казнённым быть и умереть на плахе.

Некоторое время все трое молчали, словно взвешивая тяжесть своих судеб на весах истории.

— И я глядел опасности в лицо, — возвысил голос придворный поэт,

— и был не раз на волосок от смерти, но смерти не страшился, а теперь я не хочу, чтобы палач казнил меня за то, что двадцать с лишним лет служил царям я верою и правдой. И главное, я обратил внимание, он морщится, когда я посвящаю стихи на каждый вдох его и выдох. Подумать только, я не сплю ночами, чтоб угодить ему — придумываю строки, а он и слышать не желает их.

— Мне тоже не спалось, — задрожал голос диванбеги, — болело сердце. Томился я предчувствием ужасным позорной смерти, а когда под утро вздремнул я ненадолго, мне приснилось, что государь отправил нас работать среди черни...

— О, ужас! — было восклицание.

— Водоносом, я пребывал обыкновенным водоносом, — продолжал диванбеги, — и воду я таскал, и падал с ног, и обливался потом, и задыхался от жары, а вы сидели оба в ряду гончарном — или, кажется, в кузнечном?..

— Но я не поменяюсь с кузнецом высоким положением, — возмутился хранитель печати. — Уж лучше тогда мне умереть, чем жить среди нищих.

И столько было презрения к своему народу в словах этих отъявленных мошенников, за десятки лет награбивших себе несметные состояния, что я не выдержал, вошёл, ворвался в дворцовый зал:

— А было бы полезно вам пожить среди людей простых, чтобы потом не называть народ презренной чернью!

Чиновники оторопели от неожиданности и попадали ниц. Кровь прилила к лицу диванбеги, и я даже испугался за него и велел им подняться. Они стали оправдываться и униженно просить прощения за свои непочтительные речи. Но я уже их не слышал.

— Чернью народ вы называете, а сами, как черви, извиваетесь, чтоб выжать побольше из этой черни... Устал я с вами говорить. Готовы меня безумцем объявить. Давно мне следовало вас казнить за это, за ваши злые языки, за жадность к добыче лёгкой. Всё плетёте сети. Вы без интриг и дня не проживёте. Что же, продолжайте, шушукайтесь, но чтобы я не слышал, а иначе от вашего богатства, награбленного при моём отце, я ничего вам не оставлю... Людям, до ниточки раздам всё бедным людям... Что же вы молчите?

От напряжения у меня самого помутилось в глазах, и я отвернулся от них, чтобы не выдать своей слабости, и, прислонясь к резной колонне, перевел дыхание.

— Солнцеподобный! — услышал я за спиной голос придворного поэта. — О тебе печёмся, чтоб ты блистал на небе бытия и ослеплял врагов своих...

— Довольно! — снова вскипела я, поворачиваясь лицом к сановникам. — Я слышал слов возвышенных немало о том, как я велик... А я — ничтожен!

— Мы посоветались, — изменился в лице придворный поэт...

— И пошептались, — заметил я язвительно.

— Не гневайся на нас, — склонил голову диванбеги, — мы зла в душе не держим...

— Прочь с глаз моих сейчас, — в гневе закричал я на них, готовый наброситься, но удержал себя.

Словно этой минуты и поджидала накопившаяся усталость бессонных

ночей, — мне вдруг захотелось сесть, или лучше упасть на ковёр под ногами, расслабиться, раствориться в своей усталости и пустоте, лежать и уже ничего не слышать. Я медленно повернулся, чтобы выйти, но поймал себя на мысли, что за всё время жаркого этого разговора я не увидел государева трона.

— Где мой трон?! — Я резко оглянулся, но его не было на привычном месте.

— Ты, кажется, и сам сказал, что к трону ты больше не приблизишься, — был дрожащий голос диванбеги. — Я приказал убрать его на время...

Он сказал правду, но именно она, эта правда, и пронзила меня до самого сердца. Здесь я был никому не нужен. Со мной уже не считались.

— Пусть внесут трон, — распорядился я.

Прошло несколько томительных минут, в течение которых я не видел стражников, вносящих и устанавливающих трон, и не слышал ничьих голосов. Когда я повернулся — он был уже установлен, а сановники стояли рядом, почтительно сложив на груди руки. Я велел оставить меня одного. Поднялся на трон. Рассмеялся. И сошёл с него. Уже навсегда.



Графика
Анатолия УТЕГАНОВА

Эмили Дикинсон

Эмили Дикинсон (1830—1886) стала классиком американской поэзии в середине нашего века. Из более чем 1700 стихотворений лишь восемь были напечатаны при её жизни. Эмили родилась и умерла в городке Амхерст штата Массачусетс. В юности она пережила какую-то трагедию, видимо, несчастную любовь. Поэзия стала её жизнью, заменив семью и детей. Родные знали, что она сочиняет стихи, и всё же были поражены, найдя после её смерти в ящике бюро аккуратно переплетённые тетрадки со стихами.

Хотя Эмили Дикинсон не покидала своего городка, мысль её путешествовала повсюду. Необычайный для современников стиль отличается часто искажённым синтаксисом, обилием тире и заглавных букв. Её ирония, парадоксы, вопросы понятны нам на пороге 21 века.

* * *

Так застенчива — взглядо боится!
 Так прелестна — таится и ждёт,
 В колких ветках скрывая смущенье —
 Кто же её найдёт!

Так неподвижна — пока не пройду я!
 Так безоружна — когда обернусь!
 Если сорвать её, вспыхнет, ужалит —
 Но аромат сильней, чем укус.

Та, для кого изменила я Роше,
 Лес предала грабежу.
 А если спросят: "Кто же она", —
 Никому не скажу.

* * *

Не видела причала я,
 У моря не была,
 Но знаю, как вереск цветёт,
 Как пенится волна.

Не говорила с богом я
 На небесах и всё ж —
 Так ясно представляю их,
 Как будто есть чертёж.

* * *

На шею бы ей — жемчуга,
Но я — негодный ловец.
Корону — высокому лбу,
Но гребня пригодного нет.
Душе бы — тоскующей — дом,
Но я — простой воробей.
Леплю гнездо на года
Из перьев и стеблей.

* * *

На прошлое гляди без зло —
Оно щадило нас.
Как плавно тонет солнца диск
В наш предзакатный час.

* * *

Надежда есть пернатый вид,
Что в душах гнёзда вьёт,
Не замолкая ни на миг,
без слов она поёт —

Тем слаще, чем сильнее ветер,
Какой же нужен гром —
Заставить птаху замолчать,
Ту, что дарит теплом?

На севере, на юге ли —
Везде она слышна...
Но крохи не взяла с меня
И в трудный час она.

* * *

Мёртвый грунт — вот мой надел.
Я разбила сад.
На безжизненной скале
Вызрел виноград.

Даже камень зацветёт
В страждущей руке.
Под Ливийским солнцем кедр
Прорастёт в песке.

Марк Стрэнд

Марк Стрэнд (1934) — известный американский поэт, переводчик, лауреат многих литературных премий.

ПЛАТЬЕ

Ляг на светлом холме,
с рукой луны на щеке,
плоть твоя в глубине белых складок платья,
и не услышишь ты пылко крота,
удлиняющего свою тьму,
или сову, устраивающую всю ночь,
которая есть её мудрость, или стих,
наполняющий подушку твою синими перьями.
Но если сбросишь ты платье, войдёшь в тень,
тебя найдёт крот, и сова, и стих,
и владёшь ты в иную тьму, которую будешь ты
делать и переделывать, пока не станет та совершенной.

1970

УТРО

Я носил её с собой каждый день: в то утро я взял
лодку дяди из бухты с бурой водой
и направился к острову Мошер.
Волны бились об остов,
и полый скрип весла об уключину
поднимался в лесах чёрных сосен, покрытых мхом.
Я двигался, как тёмная звезда, плывущая над затопленной
иной половиной мира, пока, побуждаемый чем-то далёким,
не глянул через планшир и не увидел под поверхностью
светлую комнату, освещённую могилу, не увидел впервые
единственное свободное место, данное нам, когда мы
одни.

1980

Перевод с английского
Сергея ХРЕНОВА

Вячеслав Аносов

АВГУСТ.
СУББОТА.
ВОСЕМНАДЦАТОГО

рассказ

Аносова читать трудно. Можно сказать, это моральный подвиг — прочитать Аносова. Тем не менее перед нами серьёзный художник — то есть всерьёз столкнувшийся с проблемой жизни языка. Жизни в языке. Или, если угодно, с драмой языка как способа жизни (в том уже чудо, что кто-то сейчас ощущает эту драму, если не трагедию). И, конечно, не просто языка, а именно художественного. Как жизни.

К.Е.

У человека умер отец. Через 34 часа его засыпали глиной. Потревоженной земли осталось примерно столько, сколько вытеснил гроб. Из неё два небритых могильщика сотворили нечто возвышенное. Они не спешили. Быть прилежным смысл имело. Первый — был словно бубен лыс, лишь за красными на просвет ушами прилипла к круглому черепу мыльная пена седины, второй — до самого крестца разнагишён и мускулист, чрезмерно худ и молод. Казалось, работа их давно завершена, и посетителям осталось лишь досмотреть древнейший танец похоронщиков. Первому очень мешает спелёнутый в ткань удивительно грязной рубахи тугой и могучий живот, второму — неприличная подвижность необычайно протяжённого позвоночника над короткими, словно ещё не выросшими из детства, ногами.

Серьёзные люди, ожидая возможности обложить их изделие венками, давно уж могли бы заметить, что выразительная медлительность первого и поразительная суетливость второго не только дополняют друг друга, но и — как по количеству затрачиваемой энергии, так и по результатам труда — равны и ничтожны, и что истинный

смысл их движений по кругу следует находить вне сферы практических интересов. Но, кажется, никого не интересует ни истинный смысл, ни его чисто внешнее выражение.

Навощённые цветы поражают невероятностью форм и размеров и расцветкой, способной зародить сомнение в психической уравновешенности мастериц. Живых цветов тоже немало, но пахнет только землёй. Уютной чистотой тех глубин, где никогда не бывает ни слишком сухо, ни сыро. Ни слишком жарко, ни холодно.

— Там всё не слишком?

— Да.

Температура окружающей среды чуть ниже температуры гниения человеческого тела, но о покойниках в день их перерождения в "ничто" не принято говорить словами, способными вызвать чувство безгласности.

— Даже если гниёт всего лишь оболочка?

— Не важно. Никто не знает, что оболочка чему.

Должно блюсти в чистоте и это, и то, и другое, и даже собственные воспоминания. И главное, не замечать, что когда-то единый и неделимый, полноценный когда-то образ раздвоился. Не замечать того, что его разносит всё далее так далеко, что взглядом одним уже не уловишь. К примеру, плоть мёртвых губ и то, что движение этой плоти в себе содрожало. Хотя бы улыбку.

— Не замечать для чего?

— Не знаю. Но внешне это несложно.

Щетина ещё жива, пока, но всего лишь ущербной жизнью всякой прочей растительности. И в крохотных клетках тонкопалых кистей, застывших горкой оплывшего воска на вздувшемся животе, всё ещё что-то происходит, но не для живых. Чёрная пуговица вышедшего из моды пиджака более жизни полна. Блестит и бессмертна.

— А душа?

В ясном после ночного накрапывания небе ни облачка. Тяжёлая синева, в которой истосковавшемуся взгляду не на что опереться. *И всё же, если душа, то помнит ли она, что её хозяин, или слуга, ну, в общем, "тот" — ещё не делимый, — был, к примеру, к цветам равнодушен, а к лицемерию — нет? Или это не важно? А если "не важно" — кому? Его плоти? Душе? Или нам? Или теперь — это "не важно" в квадрате?!*

Несгибаемый и вечный ветеран в кителе, скроенном явно по количеству медалей, придерживает за предплечье осиротевшего мужчину. Внешний вид сироты, не здесь, а где-нибудь в городе, непременно напомнил бы о пагубных пристрастиях уже не молодого прожигателя жизни.

"Даже не верится", — повторяют за спиной поочередно два голоса, женский и мужской, почти равные промежутки времени. Паузы, кажется им, наполнены постижением тайн, обретением смыслов и веры, но верится только лишь женскому голосу. Он ярче окрашен несомненным изумлением. В мужском же раздражает сомнение даже в своём праве сомневаться.

В приближение обрядового танца ещё не закралась та степень осмысленности, по которой всегда и очень несложно угадать приближение развязки. Лопатой здесь "шлёп-шлёп" в который раз, там кетменём "тук-тук", "тук-тук", "тук-тук". Они не избыли в себе пока состояния

творческого безумия. Взаимная учтивость зрителей и актёров через самопожертвование и почти любовь, с их стороны экстаз был несомненным, ступаясь, уже достигала критической массы. Над жёлто-оранжевой глиной серый ствол кривого азлантуса утомлённо, явно желая быть на пальму похожим и потому переигрывая в каждом ленивом изгибе кокетиливо изогнутого листа, не мог не напомнить карикатуру на остров, необитаемый. Пальму с горкой песка в центре необозримых океанов, двух неверных стихий — воды и неба, — чистейших и безучастных, словно бумажные листы.

— Даже не верится!

Удобно ли в такую минуту оглянуться? *Источник оценить!*

Очаровательна! И очарована возможностью лукавить в преддверии мрака и пустоты. Разве посмеют "мрак и пустота" не испугать невольные шалости человеческих проявлений? *А уж то, что даже не "мрак" и не "пустота"...* Одна лишь наивность воистину прекрасна! Его душа, если она ещё здесь, вместо женоподобного азлантуса предпочла бы одинокую сосну или кедр. *Да, приукрашенный инеем кедр на каком-нибудь гордом утёсе*, если она ещё сохранила способность впечатляться и сожалеть. Но, по оценкам живых, вероятно и это местечко доступно не всем и не мало стоит. Здесь даже уютно, и подъезд. Совсем недалеко, но и не слишком близко. В густой тени, где остались всего лишь водители автобусов. Их ритуал, вероятно, — как бы отсутствовать. *Мимикрировать под деталь своего автомобиля.*

Концовка у танца так проста и естественна, словно напряжение пружин, встроенных в движущиеся фигуры, стало постепенно ослабевать. Аплодисменты шумом похожи на ливень, на ветер в листве, на шорох купюр, на шипение яичницы, на еле слышные взрывы пузырьков шампанского. На рыбу, когда она в масло бочком...

Сын покойного похож на профессионального картёжника, измотанного бесконечной игрой. Обессиленного настолько, что ему уже всё равно, в выигрыше он или вконец проигрался. Его бледная рука лежит на плече законной супруги, полубогретья, полуподдержки лица. *Замечает ли он, что им движет желание всего лишь равновесие сохранить?* Не замечает.

Его жена удерживает за плечи вертлявого сына. Очевидно, любопытному мальчику поддержка необходима хотя бы для того, чтоб от неподобающих случаю телодвижений уберечь. *Все остальные обнялись по принципу художественной выразительности.*

В этой группе "скульптурной", в череде взаимосвязей и зависимостей, в хитросплетённой цепи, сковавшей в единое перед лицом невосполнимой утраты всех, кто в группе с другими людьми, возмущает, пугает, обесмысливает любое достойное проявление скорби, отсутствие всего лишь звена — существа тонконового и глазастого, с золотистыми волосиками на лапках и буйной гривой на голове, смешливой глупышки, девчонки, крохотной женщины четырнадцати лет, боли сердец самых близких и дальних...

— Вероятно, и тех?

— Да, и тех, притаённых двоих. В пиджаках. Красивых, как у официантов.

За спинами всех, за оградами и крестами они делают вид, что чужого горя не бывает. Что очень важно запомнить все фамилии и имена

неживых и им не известных. Но с какой досадой они бросают недокуренные сигареты! *В каком томлении почёсывают прыщи!*

Так провести!.. В такой день!.. И сразу так многих!.. И всё для того, чтоб бедою своей поделиться.

— *Новой игрой в сироту, она ведь ещё ребёнок.*

Приключением, хотя и не опасным, но прикольным. Кайфовым случаем действительно живому — такому, как она и её чушка, — казаться ещё более живым. — *И так мудра.* — С каким-нибудь случайным хулиганом. Торговцем из "комка". Полупопутчиком — порядочным и добрым "бизнесменом". Бог знает, с кем. Но непременно с другом. Сильным. Нежным. Который мог бы нравиться немного, хотя бы пару дней. — *Что делать, если не надеяться, что проявление горя, якобы терзающего её, пока её мама в слезах, покажется её другу неподдаемым?*

— *А она действительно плачет?*

— Да.

Удерживает за узенькие плечи беспокойного сына своего и плачет о долго болевшем и всё же ушедшем отце своего нелюбимого мужа. Или о дочери. О том, что всё не так, и все мы — я, она, стоящая напротив, — все одинаково несчастны и грешны. И все попытки наши быть полуще пока лишь усугубляли нашу вину и уязвимость.

Чёрная косынка из той же ткани, что и траурные ленты, сбилась и чернильно-голубые локоны её причёски, высокие искусно подпрыгивающие скулы, распахнутые (чтобы тушь не потекла) усталые, красиво обведённые чёрным глаза и красные, как у ребёнка, припухшие губы напоминают букет когда-то любимых цветов. *Всё ещё свежих.* Возможно, от слёз, возможно, лишь издали, возможно, сквозь зыбкую дымку многолетних воспоминаний, но свежих более любого шого лица, любого иного предмета и пространства, утомлённого назойливым теплом предосеннего полудня.

Да. На редкость чистый, тёплый осенний свет. Природа трепетно способствует. *Неужели только тому, чтобы вовремя выкопать картошку или кого-то похоронить?* Под дождём эти двое не посмели бы так долго изгаливаться. Тем более, в виде таком. Почему не придумают для таких земледельцев какую-нибудь не оскорбляющую взгляда униформу? — *Под цвет земли.* — Редкие завитки волос над тощим слесом крестцового жира вспомнятся многим едокам обрядовой лапши. *Ему, единственно голому в весьма прилично одетом окружении, приходит ли в голову, что и сам он похож на до половины оципанного бройлерного цыплёнка?* Камуфляжная форма оберсгала б и нас от мысли о жертвоприношении. Станным кажется, и даже преступным, его законное право угодить одному мертвецу и перейти к следующему.

— *Можно ли рассматривать содеянное им как акт гуманности, не забывая, что через час он будет делать всё точно так же перед другими людьми и для другого?* — И одни лишь деньги определяют степень его пристрастия. Вечно скорбящий в вечной угодливости. — Не потому ли он полагает, что право имеет требовать большую плату, чем обыкновенный землекоп? — *Не потому ли напивается чаще?* Услуги интимного порядка должны бы производиться роботами. — *Но, разумеется, кроме тех случаев, когда производитель подобных услуг находит в их производстве собственное удовлетворение, цель и смысл собственной жизни.* — Когда

он более естествен в проявлении своего предназначения, нежели некий случайный пользователь. — *Или лишь теми, чей интеллект запрограммирован строго на оказание подобных услуг.*

По тому, как двое этих, *с лопатой и кетменём*, какими-то странными толчками отошли чуть в сторону и красиво опёрлись на инструменты, — *а тот, что лишь в штанах, даже слишком изгибчиво,* — и замерли, почти одновременно, можно предположить, что пружины их раскрутились окончательно. Остался лишь свет в глазах. И пока разноцветные щиты из цветов с развевающимися чёрно-золотыми лентами, окружая, смыкаясь, касаясь друг друга, приближаются к могиле, голопузый так преданно смотрит и такими доверчивыми глазами, лаская, вбирает в себя каменный профиль кривоносого напарника... — *Так лишь верные жёны в день долгожданной зарплаты смотрят на трезвых мужей.* — Господи, что же с нами будет?... — *Вероятно, сжигать на кострах вслед за усопшим, ну, хотя бы самых неверных, не было бы преступлением перед моралью.* — Но только лишь после того, как речи произнесут!

— *Да, совсем позабыл, ещё и речи!..*

Отошавший ветеран переступает ногами, подносит ко рту сухой, как сушёный урюк, но ещё зловонный кулак и зычно прочищает голосовые связки. *Все — тоже мнутя слегка. Даже водители автобусов повернули лица.* — И женщина отпустила, наконец, мальчишку. *Но, кажется, лишь для того, чтоб он начал с разминки ног, "по-ветерански", и почёсывания головы.* Кажется, ветер пробежал от креста к кресту, от звезды к звезде, сквозь решётки оград по засохшим головам чертополоха. *И взметнулись ленты, перепутались, и опали, каждая как ей удобно.* И непонятно стало, чья от родных и близких, чья — от знакомых. И тогда, самая доброхотливая из соседок по подъезду выделилась из толпы, подошла к венкам, в скорби и достоинстве, и поправила их, каждую ленту на место своё — куда спешить? — *золотыми буквами к свету.* Оглядела, нагнулась, поправила что-то ещё и всё так же, достойно скорбя, вернулась на прежнее место.

— Разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения правду Твою? — бормотали её сухие, *словно от ветра растрескавшиеся в кровь,* губы.

Из слов его, по-армейски строгих и недвусмысленных, стало ясно: тому, кто в земле — доброму, честному, *самому сильному духом и самому скромному человеку,* — последний "год-полтора" ветеран приходится *вернейшим и самым отзывчивым другом.*

— Так. Ну, кто ещё хочет сказать? — закончил и внимательно оглядел всех. *Желающих оказалось много.* Из запоздалых признаний сначала неспешно, *но чем дальше, тем всё смелее,* выростала уверенность в том, что все самые лучшие качества, присущие человеческому роду, *закопаны скопом именно в этой могиле.* И когда показалось — своё отношение к ушедшему не высказал только раскрасневшийся от волнения внук, *его мама снова заплакала.* Вероятно, её проняло всеобщее почитание настолько, что он не сумела не вспомнить те страшные и странные случаи, когда она, *с её-то здравым смыслом,* даже желала приближения этого неотвратимого дня, *словно дня обновления, дня рождения чего-то необычайно нового в себе, полноценного и живого,* красивого, *как и она в те годы, когда никто не посмел бы засомневаться в её духовных и прочих достоинствах.* И даже ещё вчера продолжало казаться и вериться, и

даже утром, но не сбылось. Слишком поздно. Не сбылось, как всегда не сбывалось. Как всегда не сбывалось, пока она с ними жила.

В своей комнатке, более похожей на захламлённый старыми вещами, вечно не прибранный чемодан, спал он в железной кровати у самой стены, протяжённой с востока на запад, и видел, проснувшись, лишь небо. Синий прямоугольник, поделённый вдоль чёрной полосой ровно посередине, не светлел незаметно. Он и слышать бы мог, даже сегоднешним утром, слишком робкие, словно ещё не поверившие в удачу проснуться, слыша первые окликающие друг друга голоса птиц.

— Какое горе! Какое горе! — сказала очаровательная.

Иногда он видел облака. Перламутрово-розовые, словно внутренность раковины перловницы, они проступали из влажной густой синевы рассветного неба. Наполнялись торжественным светом встающего за головой солнца, но дальше что?

— Какая ручка бросала?! — вдруг вспомнила мама о сыне, недавно, как все, державшего землю в руках. — Какая? Вот эта?

"Сонмы микробов!" Вероятно, малиновый, крохотный платочек вряд ли их все ототрёт. Но разве такая забота, собенный поклон, суета и даже испуг не доказательны этому папе, и всем, в её праве теперь, как и впрёд, оставаться при собственном мнении, даже о том, что сегодня случилось, и поступить как всегда.

И чем светлее становился проём окна, чем скорей согревалось небо и блёкло, тем острее старик ощущал в себе боль, всё ещё позволявшую терзаться досадой на бессмысленную жестокость очередного испытания. — Или "на жестокую бессмысленность"? — Нет. Лучше "на бессмысленную жестокость".

И все вздохнули свободнее. Кто-то тоже нагнулся штанину обтрясти, кто-то поправил ремень. Кто-то ещё раз с изнанки на златописное лицо чёрную ленту перевернул. Остатки быстро подсыхающей земли истоптаны в пыль у свежей могилы. А рядом, в помятой траве, у корней, застряли ещё не просохшие, раздавленные и не раздавленные комочки. И где-то, совсем уж вблизи, тонко муха звенит в паутине. И столько следов...

Он ещё бы мог вспомнить, что как только солнце взойдёт, распустятся цветы, самые странные из всех, что ему доводилось видеть, и названия которых он так и не узнал, а возможно, когда-то и знал, но забыл, и уже вспоминать не хотел, да и смысла не видел. Голубые. На палочках зелёных. Без листьев совсем. Будто галые. Одни лепестки. Но такие голубые! И пока воздух не прогреется по-настоящему, их так много... Но потом — исчезают все. Да. Исчезают.

Ветеран склонился над гранитной плитой, то ли туфли почистить, то ли денежку достать из носка, а синеокий над ним нависает, словно черёмухи куст. Рукоять лопаты упёрлась в подмышку, словно серебряной костыль. И лицо довольное и кроткое, как у младенца, предвкушающего материнскую грудь. Очаровательная вспотела, и на жёлтой кофте у подмышек слишком резко обозначились охристо-сизые круги. Шафран и мускус. Газельи глаза.

— Она так страдала, — говорит она, шевеля смешливой ямочкой в центре молочно-розовой щеки, и пухленькими пальчиками во влажные у корней волосы томно так погружается. И, поглаживая едва заметно взопревший в сырости и неге, согретый солнышком затылочный бугор, продолжает ласково и строго: — И потом, этот муж её... Тушунасанми? — крепкозадому мужчине.

Мужчина в позе следователя. Руки в замке за спиной, ноги носками врозь на ширине плеч, правое ухо во мху приклонено к правому плечу, — задумчивым взглядом васильковых глаз отыскивает невидимые для дилетантов всевозможные зацепки на чёрных по случаю колготках, в местах, где лиловая, слишком короткая, да, не по случаю, юбка предоставляла возможности их отыскать. Сумочка тоже блестящая, но не чёрная. Да, на плече. Ирыжкая почти. Зато чуть позднее, когда придёт время надеть бежевые сапожки... *Всё у неё впереди.*

Красивым жестом, *всё дальше в сторону и назад, так, что много черносверкающих струй уже отструилось меж пальцами, медленно удаляющимися от затылка, и осыпалось, поочерёдно, всером, за спину, одна за одной...* Но и осталось много! *Да, очень много осталось.* И рука замерла.

— Вы, вероятно, догадаетесь?! Что я имею...

Ну, ещё бы. *Он — и не догадался бы!* Просто не верится, *чтобы вдруг он — и не смог догадаться!*

— ...в виду.

И тут, *естественно, вдруг*, когда все уже были уверены в том, что вот и ещё с одним делом покончено *раз и навсегда*, этот, ну, как его? *Муж её.* Он подходит к куче цветов, *бумажных, пластмассовых и обыкновенных*, становится на колени и говорит "прости".

— Прости нас, — говорит, и многим кажется, "это непорядочно каяться от имени всех". Все ещё не успели почувствовать себя провинившимися, *но дослушать тем более интересно.*

— Прости, — говорит. — Скоро и мы за тобой.

Да-а-а. Это мысль. Эта мысль уже давно не давала ему покоя. Пять лет назад *его мать умерла восемнадцатого в полдень*, он впервые сказал себе "скоро и я", и с тех пор слишком часто эти слова ему вспоминались. Отец его тоже, *и очень давно*, думал о смерти теми же словами, но говорить об этом *два мужа* всё как-то не решались, *как о любви.*

Не мужское это дело говорить о себе всё такое *и прочее*, если могут подумать "ему просто жалко себя". *Не мужское это дело давать повод себя пожалеть не слабую полу.*

— Вот, умру... — *Но и я умру.*

— Вот, живу кое-как... — *Но и я не живу как хотел бы.*

Но более всего их пугало наткнуться ненароком, *а ещё хуже — намеренно подтолкнуть* к притворному состраданию, *что в отношениях со слабым полом не пугало и казалось естественным.* И потому, когда отец иногда заставал на кухне своего родного и ненаглядного, *одиноко подыдающего щи или смывающего чаем похмельный синдром, совсем одного, защищённого* менее девы перезрелой, *отец терялся и всё никак не мог вспомнить*, о чём это важном таком он так долго и нежно хотел говорить с этой ланью. *Неужели о смерти?! И уходил.* Или грубо, *словно что-то вдруг вспомнив*, или кашу свою предлагал, *или денег на обед.* "Нет. Спасибо".

Заканчивалось тем, что отец в своей комнате, *сын — на автобусной остановке*, убеждали себя быть ещё мужественнее впредь. *Настоящие*, в идеале, *разве стали бы говорить об очевидном?* Завтра конец одному, *послезавтра — другому.* Это лишь женщинам глупым доступно щебетать, словно птицам, *заговаривая собственную смерть.*

Пока отец болел, его жизнь представлялась сыну чуть более, чуть

менее удачной копией прочих жизней, или даже своей, и отличной лишь конкретной принадлежностью какому-то конкретному лицу, забываемому легко, как лица на эскалаторе. А скромные несовпадения, незначительные подробности проживания жизни общей, жизни вообще, чуть более или чуть менее известной и, по большому счёту, не приемлемой, казались скучными до тошноты, как скучна может быть только глупость в стремлении жизни обмануть, наделяя её хоть каким-нибудь смыслом. Или себя обмануть, придавая участию в общем потоке какую-то личную цель.

Но разве мужчине лет сорока, не калеке, и даже способному правиться, не казалось, что думать такое, имея в наличии одних только клеток протаяжённости в целый океан, даже немного обидно? Обидным казалось несоответствие существования собственного, разумейся, включая и существование отца, с переизбытком времени, отпущенного собственно на жизнь. Это должно быть похоже на ощущение малости своей, когда приходится надевать на себя, или на один из собственных членов, что-либо остающееся недостижимым, что-либо доставшееся явно не по размеру. Это всегда возмущает, а потом озадачивает. Его же, после смерти отца, сначала озадачил, а теперь, вероятно, возмутил — неуютный остаток размером в двадцать три года, разделяющий даты их рождения — бетонный тоннель, освещённый двадцатью тремя лампочками. Но этот тоннель, эта перед всеми щель размером в двадцать три вспышки для него, разве не самое реальное из всего, что ему осталось? Разве не манит заполнить собой, уже не спеша, понемногу, наощупь, со знанием дела, пространство всё более, по мере обживания, как бы своё. Разве не так обживались всё новые ёмкости, полости, лона природы? Он и начнёт его обживать, обжившись сначала в колёнопреклонении. Вот и обжился. Красиво встаёт потихоньку. Явно с треснувшим сердцем. Ему бы сознание потерять. Но отныне он не нуждается ни в чём сочувствии. И всё же похож на отца. Но отец поднимался иначе.

Его отец поднимался после того, как у сына звонил будильник. В половине седьмого у сына звонил будильник, старик вздрагивал и, всё более волнуясь, ждал его остановки. Если будильник останавливался сам, он тяжело поднимался, поправлял кальсоны и неспешно, стараясь не шоркать тапочками, подходил к спальне сына. И если дверь была не заперта, осторожно входил. И уже там, у них, в их так сказать "цитадели", он принимался, приглядывался, трогал корявыми пальцами штанишки внука на стуле, или колготки, прилипающие к ногтям, или нежную, не знаю, как что, дорогую, пожалуй, белоснежную, особенно в сумраке, осенью или зимой, и небрежно брошенную на детский столик сорочку сына. Заглядывал в лица, вздыхал осторожно, старался не кашлянуть. Рассматривал, силясь надолго запомнить, непривычный вид из окна или красавицу внучку, и лишь через время, когда, наконец, успокаивался, когда убеждался, что всё в этой спальне не так, не его, вернее, он сам в ней чужой и уже ничего не исправил, он выходил осторожно, закрывал за собой дверь и громко стучался.

Иногда дверь была заперта, и тогда он стучал в неё, пока не подадут голос, и, оскорблённый, возвращался к себе. Но чаще всего будильник останавливала сноха, и ему ничего не оставалось кроме как к стене отвернуться, зажмуриться, уговорить себя не слышать ничего и никогда, ни под каким предлогом, в чужую спальню не заходить. Вероятно,

однажды он пойман был за позорным проступком полутора-полуизраиелца? Возможно. Но ещё вероятнее то, что ему просто хотелось не быть в суматошное время каждодневных сборов и разборок, когда о его существовании, казалось, никто не подозревал. Даже когда говорилось о нём...

— Ну, пусть он хлопочет! Всем ветеранам дают, а мы что? хуже прочих? — Он лежал, подложив под лысый затылок сцепленные пальцы рук, и смотрел, как небо за окном всё более раскалялось.

И лишь позднее, когда шаги на лестницах стихали и всякий кубический сантиметр пустоты наполнялся их отсутствием, и если боль позволяла ему, он поднимался. Медленно, в три этапа с передышками, и ничего не поправлял.

Поднимался, осматривал место, где спал, представлял себя спящим. Видел зелёный свет, слабющий к двери, на обоях и потолке, и свет голубой, полосой сверкающий на подоконнике. Старый веник в глубокой тени, обрывки газет, хлебные крошки на тумбочке, половик под ногами, целлофановый пакет. Видел лицо своё в зеркале шкафа, треснувшем яено от злости, во время последнего переезда, и ещё полнее понимал, что один.

— Будет тебе телефон, — говорил. — Балаболка. Ага, дожидайся! — говорил и слушал голос свой. — Алё, алё. С кобелями... "Всем ветеранам".

Сын отходит от могилы ещё более побледневшим и измученным. Теперь он действительно очень похож на отца. И никаких попыток привести себя в порядок.

— Не говори ерунды! — сказал он однажды, уже перед сном, обозлённой до истерики супруге. — Нужна ты ему — тебя резать! Просто, быть может, в нём что-то осталось... — И долгий стон, сладчайший зевок — благой предвестник долгожданного покоя, — от партизанства, от плена... Давай лучше спать.

— Ха-ха! — смеялась она. Не владея собой, она почему-то смеялась. — Нашу жизнь под откос...

Однажды она сидела на коленях, как сидят на коленях во всякой подвыпившей компании, а кто-то, как во всякой компании, стоял перед ней на коленях и целовал её руки, и признавался в любви, и она так смеялась! Так заразительно смеялась, что всем стало страшно немного, а ведь ничего смешного не было, и её никто не щекотал. Однажды, месяца через четыре, на собственной свадьбе, танцуя с одним из гостей, тогда ещё в моде был клёш "от каблука до носочка", она тоже смеялась. Естественно. Все думали о счастье, доставшемся по праву самой красивой и умненькой. И теперь, комкая малиновый платочек у искривлённого рта, видя и словно не видя подбредającego к ней супруга, она готова была рассмеяться. Готова была хотать до икоты, до боли, до судороги челюстей. И все непременно сочли б её смех всего лишь следствием истрёпанности нервов. И тут он ударил её. Ударил?! — Ударил.

Быть может, не стоит? Ну почему же? Потому как из ряда вон. И потом, это так на него не похоже. Да. Не похоже. Но короткий жест руки его, это резкое, словно взрыв в себя, движение её лица... Куда от этого деться? Его заметили и остальные. И успели пометить, приказать, зарубили в памяти своей не замечать пока, потому как из ряда. Хотя бы на время. Хотя бы до часа того, когда наедине... И уже

ничего не исправишь. Бедное, бедное, бедное странно и страшно постаревшее лицо! Разве момент не настал отыскать ей в толпе, наконец-то, взгляд сочувствия, взгляд сострадания? Но не замечает. Не ищет. Склонилась над одуванчиковой головкой сына, то ли выщипывает что-то, то ли от ветра желает уберечь, и улыбается, вероятно. Что может быть проще, привычной, притворной улыбки ребёнку?

"Ты не верь глазам своим, мой хороший, но запомни. И когда самые недогадливые сообразят, что представление закончилось, мы пойдём следом. Да, мы следом пойдём, мой родной, но когда их тупые затылки, сутулые спины, согбенные плечи зашатаются в пародонтозном вальсе на кривой, как усмешка судьбы, межмогильной тропе, ты смотри хорошо, мой любимый. Это дяди и тети. Смотри и никогда не забывай".

Толпа, кольцом окружающая холмик цветов, распалась у тропы, пропуская самых нетерпеливых. "Фото? Нет и нет. Спасибо-пожалуйста. Тем более цветное", и стала цепью. И побрела по кругу мимо могилы. Так петля с чудом развязавшимся узлом протекает, поглаживая, по вздувшимся жилам помилованной выи. Так с гусениц сходит танк. Или бинт на зажившей ране, обвивая, сползает под собственным весом, обнажая рубец. Так чёрная лента, когда не закреплена, с оборотом последним покидает остановившуюся катушку.

Последний, самый последний взгляд. Как в междугородном автобусе. Даже не верится! Если спираль ДНК развернуть и сцепить с остальными, ими б вселенную всю обернуть... И в какой-то норе... Бездна в крохотной дырке. Впрочем, и это нормально. Просто не верится. И под домашним халатом парадная кофта школьницы, пропахшая куриным бульоном и чесноком, много реальнее юной груди Ситатары, сверкающей бронзой ли? потом? в квартире соседнего дома, на заднем сиденьи авто, или у ящиков с импортным шоколадом в каком-нибудь чуланчике коммерческого магазина. Но общеизвестно — реальнее то, что более впечатляет. И верится чаще лишь в то, во что очень поверить хотим или боимся поверить.

Тогда и он пусть уедет. Так надо? Необходимо. И очень глупо винить себя за необходимость его отсутствия. Он отсутствует в тысячах мест одновременно и никто не винит себя по этому поводу. Он мог бы лечь в больницу или влюбиться. Начать новую жизнь или почувствовать себя плохо — так естественно после пережитого. А покончить с собой?! Тет-а-тет? Без посторонней помощи? Никто не поверит. Невозможно покончить с собой без посторонней..., то есть, если никто не поверит. Не поймёт. Если подумаю вслед: а, это тот, кого просто совесть заела.

Тогда пусть уедет. И не просто, а куда-нибудь в даль. В Москву, например. И в больницу. На поезде, снаружи и внутри и особенно запахом похожий на бездомного, на беспаспортного в бегах, которому всё безразлично, куда и зачем, только б ездить. Похожий на отца своего после победы над Фашистской Германией. Ему не покажется, что он едет слишком долго? В Казахстане ему покажется, что мимо юрты с верблюдами его провозят в третий раз, а мимо старухи копчёной с носками и змееголовым существом, кажется, в питгий. Да и солнце будет садиться точно в то место, откуда недавно вставало. И покажется даже, что города такого, "Москва", давно уж нет. А билеты продают лишь для того, чтоб вводить в заблуждение общественность. Останется кому-

то потом лишь крушение сделать и от имени всех обречённых дать телеграммы "не ждите".

Да, ему времени хватит проститься со всеми и всех простить, и влюбиться, естественно. Ещё безумнее, чем в детстве, но не в вагоне, надеюсь? В полуспящую медсестру, которую терпят за классность. Пока ещё терпят. А почему бы и нет? Но её выбросят из-за того, что застанут случайно... Разумеется, с ним! Почему бы и нет?! В синих, как зимние ночи, хрустящих больничных простынях. Их будет много, сложенных в крохотной комнатке, словно в киоске — газет; на жёсткой кушетке, на гладком стеклянном столе, на старых заезженных стульях. И будут глаза в темноте — два жидких кристалла. Между седьмым и девятым этажами. Словно не в городе даже, и не на небе, но и не на земле. Где-то вне времени, будто в горячем бреду, он, почти обречённый, то ли к жизни рискнёт пробиваться, то ли где-то у самого дна смертельного жала искать. Чтоб скорее в клочки... Но им будет неплохо. Пока не застанут позорно, как растлевающих друг друга малюток. Он даже попытается прощения просить. Но ему слишком скоро напишут в выписке, что диагноз не подтвердился. А ей ничего не напишут. Даже ничего не объяснят. В клинике много мужчин, но и много молодых женщин. "Ну и что же с того, что колола лучше других?" — скажут коллеги коллегам. — "Слишком слаба оказалась для работы с такими больными, — скажут. — Впрочем, и возраст". И подумают тихо, каждый сам про себя: "Да, время идёт. Что же делать?" И скоро забудут. Только он не посмеет забыть. Он даже посмеет понять, что прежде его не любили. Даже захочет узнать её адрес домашний. И даже рискнёт отыскать, когда выпишут. Даже найдёт, пусть, и что? Что там будет?

Пить будут водку, естественно. Царскую. Ноль целых семь десятых литра. Заедать какими-то заплесневелыми грибочками, но хлеба не будет. Будут губы и слёзы. Кислосолёные слёзы и приперчённые губы. Скользкие, липкие, вкусные, словно грибы. Неотступные, нежные, пьяные, то кругами, то поперёк, то вдоль, до изнурения, по бескрайностям тела, уверовавшего в мужественность свою, наконец-то, и непогрешимость. Отражённого в безднах доверия и любви. В которых он утонет, пока не обнаружит вдруг и третью, над переносицей, плывущую яко облак. Следящую за каждой его мыслью. За тем, что мыслью может стать лишь завтра. И будут пальчики — ловкие и голенькие танцовщицы! Трепетные присосочки, в заповедных местах отыскавшие, словно рыбки корм, чужой голод звериный и свою безумную готовность претерпевать боль. Пусть и ему будет хорошо. Пусть. И ей.

Её тоже давно не любили. Лет, может, шесть или девять. По первому признанию, когда останется грамм 360, вроде бы шесть. А позднее, когда ничего не останется, вроде бы девять. Но это не важно. Шесть или девять — они так похожи. Особенно в горизонтальном положении. Зато он познал, что излишества — это не то, когда приходится пересиливать сонливость. Ещё будут клятвы. Пусть будут. Страшные, пылкие обязательства ничего не обещать друг другу. Никогда и ни в чём, даже в малости самой не быть друг другу обязанными, и никогда, ни на одну минуту из дней или лет, что им обделённо остались, ни взгляда, ни жеста, ни поцелуя, ни малости самой — не забывать. Он даже забудет о том, что билета обратного всё ещё нет, но захочет

сделать что-нибудь очень хорошее на память. И они уйдут куда-то, к какой-то соседке, и снова вернуться. И будет она смеяться, и что-то надевать на себя, и целовать ему руки. А он что-то снимает, целовать и громко смеяться. Им станет хорошо. И ещё будет сало, четыре банана и шоколад. И какая-то рыба в овальной, жестяной, уютной и очень красивой ёмкости. С очень острыми краями, потому как чуть позже, когда он захочет погладить её по щеке, почувствует резкую боль подушечкой среднего пальца, но скоро забудет об этом. И хлеба не будет опять. Зато будет водка, дешёвая, правда, но две по 500, и всё те же грибочки. Она убедит его в том, что от хлеба полнеют. И расскажет ещё, что её, иногда, со спины, ещё путают эти, которые липнут ко всем, с молодыми дурёхами, "вот как с работы идёшь, на углу, рядом с, как его? этой, ну в общем, соседней общагой". Такие нахалы! Ему тоже захочется вдруг рассказать, как и его жена никогда от хлеба не полнеет, но он не посмеет испортить такую чудесную ночь. Или посмеет? Он уже много посмел. Так отец его иногда ел тушёнку. Да, отец позволял себе иногда её есть, но лишь когда стоял перед выбором жизни из смерти. К тому же их первая ночь не закончится полным согласием. И она ещё будет так рада тому, что диагноз не подтвердился. И он будет рад. Хотя, как медик, она не сможет не признать, что ошибки неизбежны. Он будет рад всё равно. И отрежет ей кусочек сала, тоненький, пока она будет строить глазки, стараясь водку не расплескать, и на нём будет кровь. Немного совсем. Розовое пятнышко на лоснящемся срезе в полупрозрачной тени. Он даже почти не заметит. Серьёзно? Вернее, заметит, конечно, но будет уверен, что чист. Вернее, не то чтобы чист, но после всего... и ведь кровью когда-то братались. Ему покажется даже, что это вовсе не кровь, а что-то вроде причастия, таинства, испытания на верность. И потом, он всегда верил почему-то в возможность истинных чувств. Тех, что сильнее всякого страха. И если б он знал, что она способна решиться... Он даже подумает: "Сделай, прошу тебя, сделай!", но она не делает этого. Закусит бананом. Потому что заметит? Не знаю пока.

И вообще ничего не знаю. Все разбрелись куда-то. Странно, что все разбрелись. Похоронили — свободны. Кто-то уехал на легковых, кто-то место занял своё — в просиженных креслах автобусов. А те, двос, пожалуй, сообразили и уехали в место другое чего-то другого искать на подаренном далёким дядей БМВ. Грустно всё это. И её нет с ребёнком. Двое других успели внедриться, кому-то по пояс, кому-то чуть ниже, в другую могилу и стали чужими. Даже друг другу. И глина слетает с лопат, словно злые плевки. Одна лишь конечная цель или преступная страсть могла бы объединить их. И тогда, если никто не остановит, они весь город вкопают сюда. И успокоят. А он стоит и курит. Ждёт жену и ничего не подозревает. Совершенно спокойный. Один. Пока все остальные, "ах, вернисаж, вернисаж", считают по буквке фамилии прототипов, смотрят и эдак, и так, а сюжет один. Да, но бить по лицу!.. И при всех!. Никто не имеет права. И всячески тритировать всевозможно проявляемую необходимость осуществиться! И изменять. Хотя бы себе. Но беременность — дело случая. Не так ли? Впрочем, как и измена. Как и супружество. Особенно в тех случаях, когда возможность осуществления необходимо просто подавлять. Иногда поступая жестоко. Но в день такой! И ЕЁ?! Тем более принародно. Неизбежно протянутся цепочки

всевозможных догадок в то прошлое, что должно принадлежать только ей, или мне. *Гаденькие догадки!* Нанизывание двусмысленностей на паутину предположений. И лишь для того, чтоб возможность иметь достойно достать из кармана крохотную шпательку, засиженный лоботрясами конспект, призывая его или её, трудно предусмотреть результат подсознательных предпочтений, быть палачом, или жертвой. *Но все так и учатся жить.* Разве возможно иначе? *Да, невозможно.* А в глубокой тени, за ширмой ослепительного света, два молчаливых, как сфинксы, и круглоголовых водителя из "чёрного тюльпана" доедают неспешно *предельно вызревший арбуз.* Красная мякоть в тени, и в руках их похожа на свежую печенку. И руки до локтей обнажены. Пятна рубах, тускло-жёлтое и сиренево-голубое, в полумраке и рядом, словно зыбкий аккорд вечерних света и тени. *Приглушённый и долгий.* Лица почти не заметны, но в ослеплённых глазах чёрные огромные зрачки блестят, словно арбузные косточки. *Пройдись, посмотри поближе. Что в них? Кажется, лишь эти двое ещё способны заниматься нормальным делом.* И муравьи. Какие они огромные здесь!!! *Нет. Здесь они всею лишь кажутся большими.* От того, что бегают быстрее. *Что поделаешь? Много работы.* Надо признаться, все мы должны бы благодарить за возможность ещё один день не добывать не создавая. Хотя муравьи здесь более работоспособны. *Вот и выведенные корки у ног сверкают на солнце, словно обломки амфоры прекрасной или хрустального дворца.* Да и арбузные косточки в лаковом соке арбузам, нежно прильнув к высохшим комочкам глины, уже вспоминают, где корешок у них будет, и откуда протянется тело их будущей жизни. И под прессом земли, ещё такие живые, крохотные овальные или палочковидные тельца митохондрий теряют память и смыслы, дичают в избытке свободы, стекаются в клейкую массу, в постчеловеческий бульон. В подкормку для жизней более организованных.

Прогуляйся, успокойся. Асфальт — это всё же удобно. И аллея уютно, как у Матисса, наклонно, зазывно огибает тысячи крестов и звёзд, и пяти-, и шестиконечных. И полумесяцев. *Да?! Там за оградой. А как же?! Это удачно придумано, не возвращаясь и нигде не сворачивая, через время приблизиться к тем, от кого уходить ещё рано.* Но уже по-иному, достойно, под Альбиони в душе, всем всё простившей и новой. *Так и пройдишь. Может случиться, что ты её встретишь.* Разве здесь не для этого всё? *Где-нибудь за кустами.* В самой глубокой тени... *Ждёт, вероятно.* Вдали от завистливых глаз. *А не встретишь, ещё увидишь в автобусе.* Или за общим столом. *Он не посмеет прогнать в такой день и такого старого друга.* Или посмеет? *Или уехать?* Пройдишь и подумай. *Или вспомни, как ел его отец.* Вспомни отца его, это должно успокоить.

Да, ел он неприсотливо. Впрочем, как и жил. Когда все уходили, он вынимал из общего холодильника свою кастрюльку с кашей и ставил на общую плиту. *На огонёк самый маленький, чтобы не подгорало.* И шёл умываться. *Или не уходил, а терпеливо помешивал.* Но если случалось так, что каша не подгорала, то он всё равно её ел всё так же старательно и безучастно, как и не подгоревшую. Куда важнее было доесть её, и побыстрее, потому как сидеть ему было больно, а подолгу переносить отвержение к еде — слишком мучительно. Хорошо очищенное дно отражало меру участия духа в борьбе с телесными недугами.

Во время встречи, что сказать ей? За кустиками. И как? Я так рад тебя видеть, но мне надоело всё это? Вот уже тысячу лет я не могу без тебя. Да. Мы не мочь научились.

Хорошо и вовремя очищенное дно обещало улучшение здоровья и, соответственно, внутрисемейного положения. Он тоже где-то читал, что за жизнь, достойную человека, необходимо бороться. И потому так много времени и душевных сил уходило на определение порции, в данный момент достаточной. И уже положив на тарелку дрожащей рукой горку липкой овсянки, он всё ещё сомневался и взвешивал, отбавлял пару ложек, добавлял полторы, или ещё половину, и снова откладывал в кастрюльку сколько-нибудь.

Просто скажу, что прощаю. Спросит: "За что?" Лучше спросить: "Как живёшь?" Что захочет ответить, ответит. А позднее что будет, то будет.

И старику, если назначенное для себя как норма, как непреломное условие, доест не удавалось, он духом не падал. Оставлял еду на столе и доедал уже не подогревая. Мухи его не смущали. Он был убеждён, что бороться против заразы возможно, но лишь приучая организм к микробам, а не наоборот. Он ненавидел мухлишь за то, что они полюбили садиться ему на лысину.

Или скажу, чтоб простила. Что ж, разумеется, простит. Прощать — это так благородно. Или проститься? Но, собственно, "нас не звали". А почему же ночами, когда одинок, она ждёт, и так нестерпимо, что невозможно уснуть? Успокойся. Учись у старика. Это всего лишь нервы.

Он лежал, дожидаясь присутствия духа, вспоминал всё, что было, скажем, вчера, или позавчера, смотрел на календарь отрывной и старался припомнить число, или день недели, или какое-то запомнившееся событие, которое как-то могло бы подсказать или дату сегодняшнего дня, или хотя бы тому дню, или той ночи, когда он листок отрывал, хоть как-то определиться в приемлемом отдалении.

Прощаться и прощать всегда уместно, но прежде надо высказать сочувствие по поводу кончины. Если получится встретить. Что ж, надо внимательнее смотреть по сторонам. И ещё по поводу... Нет! Я не заметил удара! Плата за неприязнь к тем, кого должно любить, оберегать и холить, хотя бы формально.

А считал ли старик себя виноватым?! Или он?! Или я?! А она? Но теперь его нет. Муж уедет. Возможно, уедет. И она, наконец-то, поймёт. Не напрасны ли жертвы такие...

А недавно лежал, вспоминал... И далёкое прошлое казалось реальнее нынешней несвободы. Плен, война, лагеря — были всё-таки лучшим отрезком его многотягостной жизни. А позднее, пока ещё молод был...

— Эх, жизнь-жизнь! — отгоняя муху.

Остановливал перед собой затёкшую руку, напрягал непослушные, отслаивающиеся от костей сухожилия. Как и всем низкорослым, ему слишком часто казались незаурядными собственная сила и выносливость. Вздыхал сокрушённо... "Неужели всё?!" Он не боялся смерти. Он к ней привык. Давно, ещё в сорок первом. И теперь обвыкался в ней, как в новой камере, или когда-то в окопе дрессировал, как дрессируют протез. Изучал, как изучают боль неузнанного зуба. Одного он не мог понять: если там, куда все уходят, нет ничего, то зачем ему знать о том? Или быть там? и какой в этом смысл и значение? А если всё-таки есть,

как когда-то мать говорила, *то почему умирать, разлагаться, превращаться в ничто необходимо так долго и больно?* "Странно всё это, — думает он. — Как в окружении". Трёт ладонью лицо, *морщится*, снова зевает. "Этот всё тоже орал. Конопатый, "укрыться в лесу-укрыться в лесу", а прибегаем... Мать моя родная! Сколько ж их там, битого люда, лежат, и сидят, и висят — всем по заслугам. И всё больше свои. Один на одном, один на одном. И муха, дрянь, аж стонет. А в речушке от нашего брата и воды не увидеть. Страшное дело..."

Через время он уже ничего не думает, и не говорит. Смотрит сквозь пыльное стекло в расплавленное небо и видит, будто в кино: рваные внутренности, грибочки у пня, *приклад винтовочный*, сапог в почерневшей крови с *налившимися семенами каких-то простеньких трав*, остывшую гильзу. Тёплый вечер и солнце в прогорклom, сладковонном дыму. Спокойное небо. Лишь машина где-то шумит надрывно, *пылит через поле*, и с каждой минутой всё ближе. "Господи, Господи! Есть ли Ты? нету ли? Некогда и лба перекрестить".

После смерти, *как бы ни жил человек*, всегда остаётся что-нибудь. *Хотя бы неиспользованные лекарства*. Таких загадочных пузырьков штук *пятнадцать* осталось и после старика. *На некоторых было написано "мазь"*, а лежали мебельные гвоздики или кнопки. В других плескалась какая-то жидкость, *цветом похожая на мочу*, но с запахом *яичного шампуня*. Все выбросили сразу же, *вслед за покойником*. Но кое-что осталось. В тумбочке и теперь ещё лежат несколько тетрадных листов. *На одном из них написано детской рукой: "Домашняя работа. Ножик и щило это инструменты. Ковшник и кувшин это посуда. Ежи и ужи эта животные"*.

В последний раз мы встретились ночью. *Да не волнуйся ты так!* Вечером, прошлой зимой. Но было темно. Слева стена, *напротив какой-то кустарник вечнозелёный*. Под ногами слякоть и снег, и *превращённые в кашу листья платана*. Жёлтый, крадущийся свет из окна её над головой.

— Что же делать?! Что же нам делать?! — вечный вопрос, на который давно уже никто не ждёт ответа. *Можно договориться о новой встрече*, а через время созвониться и перенести её на следующую пятницу. *Или на следующий месяц*, или на следующий год. *"Я не могу без тебя"*.

— Я не могу без тебя, но он стал ужасно ревнивым.

— Да. Но и я не могу...

— Но что же нам делать?

— В среду, шестнадцатого, у магазина "Меха"?

— Только не в этот притон!

— Но что же нам делать?

Если этот лист перевернуть, то прочитаем, *хотя и с трудом*, ещё более беспомощные каракули. "Вроде ещё и не жил, а уже ничего не осталось. И куда моя жизнь подевалась. Жизнь всю прожил. Ничего не нашёл. Только сердце об жизнь надорвалось".

И чуть ниже. "Дорогая уважаемая женщина! Прочитал ваше объявление. Большое спасибо. Я участник войны. Пенсионер..."

И чуть ниже, под горизонтальной, *похожей на электрокардиограмму линией*: "А когда я был ещё ребёнком был я глухим и к советам глух и играл я на травке с телёнком потому что я был пастух. А когда война началась меня взяли фашиста бить только скоро я к немцу попался но об этом чего говорить. А когда я из плена вернулся..."

И ещё чуть ниже: "Живу я нормальной жизнью. Двое сыновей. Один уехал в Саратовскую область, а другой ничего. Здесь. Вот взяли к себе. Вот и хочу познакомиться с порядочной женщиной как вы писали в газету. С молодой душой и жилплощадью но вы знаете сами. Я жилплощадью особо не интересуюсь. Главное человек. Он бывает с сердцем и без сердца. С хитростью ещё. А бывает и хитрости нету и сердца нету. Бывает и не обидит и приласится даже когда а сердца нету. Но это я так. Не про вас. Я вас не знаю. Вот и думаю отправить или как. Очень хочется".

— Ну, не надо. Не здесь. Просто скажи, что ты меня хочешь. Ведь хочешь? Ну, не надо, как он! Ну, прошу! Ну не будь таким грубым!

Могилы, могилы, могилы! Успокойся. Что тебе мешает уйти? Ведь ты её видел. *Постарела.* И возможно, автобусы уехали уже. *Нет, пришлось бы дорогу отступать.* Значит, скоро уедут. *Имена, имена, имена.*

— Я не знаю, что будет. Слишком часто хочу умереть. Так нельзя, я знаю, но уже ничего не боюсь. Один сотрудник где-то читал, что после смерти всех ждёт тоннель, по которому приближается какое-то свечение. Очень яркое, но всем нравится на него смотреть. Ты веришь? Он даже звал меня в церковь. Не ревнуешь? Иногда хочу. Ну, подожди... Он ещё говорил, самоубийство — грех самый тяжкий. Странно, правда? Терпи и надейся. А я так устала. Я боюсь кого-нибудь убить. Нет, не тебя, но больше так не делай. Мне всегда хорошо, только ты никогда не будь на него похожим. Ладно? Не обижайся.

Градусник с рассеянной по всей стеклянной трубке блестящей ртутью. Футляр от очков, в котором на огрызок карандаша намотаны белые нитки. Целая горсть разнокалиберных пуговиц, *на все случаи жизни.* На клочке туалетной бумаги всё тем же корявым почерком: "Август субота Вениамин Серг. ветер. 4 рубля". *Если развернуть другую бумажку,* старый газетный лоскут, *то обнаружится спичка.* Обыкновенная спичка с ещё целёхонькой тёмно-коричневой головкой, *ещё способной гореть.* А на бумаге наотмашь: "Авг. суб. 18". *А в шкафу, за бутылками из-под кефира лежит огарок розовой свечи.* И бинт в ещё не разорванной упаковке. *И кусочек свинца.* И присохшая к фанере косточка винограда.

Иногда, пока все спали, *или когда никого, кроме стариков, в квартире не было,* приходила Она. Пока дети были дома, *или если у соседей играла музыка,* она не приходила. Или стоило лишь кому-то по лестнице подняться, её присутствие отступало, дробилось и блёкло в ненужных подробностях дня, *а к нему приходило не поддающееся сомнению ощущение одиночества.* То, что она приходила по собственной воле, было очевидно. Во-первых, она и тогда приходила, когда он забывал о ней, *и не звал,* а иногда, *даже ещё не проснувшись,* он уже знал — она здесь. Сидит в темноте, *в самом углу, в кресле своём на колёсах, знакомом для рук его всяким прикосновением.* Особенно там, где растрескался никель и острые грани его, *нежно царапая ладонь,* переходят в скользящий изгиб к резиновым, *прилипающим к центрам ладоней набалдашникам.* Или когда в клеёнчатую обивку высокой спинки больно упираются суставы указательных пальцев. Или когда седые локоны со словно усохшей с годами *и совсем опростолоосившейся, словно младенческой, головы* шекотно касаются напряжённого в усилии бугорка слабых мышц под увядшей кожей, *между пальцами, большим и указательным.* Сидит и молчит. И только лишь складки шторы слегка шевелятся за её

спиной, или это так кажется, если долго смотреть, что зашевелились.

И будет Она молчать ровно столько, сколько он будет смотреть на неё, *вспоминать или думать о ней*, и бесконечное совместное молчание их скоро заполнит комнату, *всякие, самые крохотные пустоты*, уплотнится, нависнет тяжёлым шатром над его утонувшей в подушке маской какого-то странного и робкого укора, *беспомощного и более обиженного, чем лицо ребёнка*, готового заплакать, — небритой и сморщенной и оттого ещё более непереносимой.

А во-вторых, когда он звал её, когда становилось слишком скучно оставаться одному, она не приходила. А то, что после того, как уйдёт, в том углу, где она недавно сидела, оставалась старинная машинка швейная, её! с набросанными сверху грязными брюками, рубахами и залатанными свитерами, его не смущало. "Да, — думал он, — теперь, конечно, машинка. А прежде была Она". Бывало и так, что он и не знал, где. *Вернее, знал, что в комнате её нет, и всё же чувствовал — здесь!* За плечом, над головой, справа и слева, в каждом вдохе и выдохе Она существует и слушает, *только ответить не может*. И тогда он говорил с ней. *Лежал на кровати, положив под лысый затылок вспотевшую ладонь, и говорил:*

— Видишь, живу. Вот как оно получилось. Лежу и живу. А что делать? У тебя и самой-то даже видимость свою проявить сил не осталось. Что делать?

У поворота, в тени, на скамье голубой, под высокими гладкоствольными тополями *наш недавно сомневающийся в смерти голубоглазый сосед — по ритуалу. Просто не верится*. Белозуб, крепкозуб и при всём при том такая очаровательная улыбка. *Очаровательная, вероятно, тоже рядом. Где ты, рядом?! А вот и она*. Как я прежде не догадал, какой он для неё подарок? Даже слегка смущена, *но явно не тем, что с мужчиной*. Обыкновенное смущение ещё не вполне познакомились. *Узнать — не узнать?* Мы и сами в волнении лёгком по тому же естественному поводу. *Но если ещё и она где-то рядом, то не узнать невозможно*. К тому же и поздно. Встаёт со скамьи, энергично подходит *походкой вожатой со стажем*, протягивает руку.

— Я Дия.

— Очень приятно. — Очень приятное имя. Хитрющие, словно в прицел оптический присматривающиеся глаза. *То правым, то левым*.

— Мы с Олегом Наташу здесь ждём... Её уже ищут? — *При улыбке уголки накрашенного рта и глаз приподнимаются почти одновременно*. Удивительно пластичное лицо. *Единовременно — доверчивость и превосходство*.

— Она у могилы свекрови. — *Да неужели?* Неужто понадеялась опередить? *Или быть первой теперь тоже не важно?*

— Это налево. Туда. Извините. Всего метров двадцать. — Взгляд такой одобрительный.

— Она, вероятно, ждёт вас. И все мы, в общем-то, тоже.

Олег, прикуривая, смотрит на часы. *"Что за дела?!" Такое ну просто никак не входило в его планы!* Разумеется, чей-то строгий командир. *Ну, и что нам с того? Всё равно ведь свершилось!* Метров двадцать всего, а теперь половина второго. Мы же с ней были когда-то, четыре года назад, возле этой могилы. Неужели не вспомню. Она давно уже здесь, а теперь и он почти рядом. Соседи. *В фарфоровом круге, помню, смутный овал*

головы. Лицо как лицо. *Боюсь, что уже не узнаю.* Плохо помню и то, что мы делали здесь с её нелюбимой снохой. *Вероятно, она убирала могилу.* Я, возможно, сидел и поминал. *А почему бы и нет?* А потом, обнявшись, мы поминали вдвоём и вспоминали друг друга. И иногда целовались. *Да. Мы так молоды были, что нам некуда было спешить.* И так хорошо нам казалось, что всё хорошо у нас будет. *И грустно немного.* Словно она наша мать. *Я даже воду носил.* А старик уже и тогда был "злодеем". Комичная "мрачная личность". В полдень он спал и потел. *Так потеют в самый последний раз голые куры рядом с горячей духовкой, только что вынутые из холодильника.* Так потеет влюблённая старость, беспокойная даже в самом глубоком сне. Уже и тогда у него перезрело несколько странных вопросов. *Как это ей удалось отыскать его? первый из них, если он переехал? Адрес-то новый, и сам он то вспомнит когда, а когда и забудет.* Может, у первого сына была, где-то там, под Саратовом? Или здесь, у новых хозяев, в их бывшей квартире, узнала про размен? Только как ей узнать, после жизни одной? бессловесной? И всё же нашла. *И молчит.* А как добралась? Непонятно. На четвёртый этаж, как сквозняк, но и тогда почему на коляске?

Он так рьяно пытался дознаться или догадаться самому, но скоро понял — она никогда ничего ему не скажет, естественно, пока он не умрёт. Иногда она приходила во сне и вроде бы даже чего-то говорила. Даже не то чтобы говорила голосом, но по глазам, вроде, было бы можно угадать какие-то слова, но проснувшись, он забывал их, естественно. *Как-то проснулся, и вспомнился сон, словно идёт он с работы,* "и вдруг ласточка села на плечо. Хорошая такая ласточка, и вдруг села. И не удивительно, что ласточка села, а как-то странно. И сидит вот здесь, на плече. Тёплая. И лёгкая такая. И коготочки у ней. И вдруг, порх — и нет её. И всё равно — хорошо вроде стало, что хоть посидела. Словно родная. А я на работу иду. Что ж это за ласточка такая, думаю. А она снова — порх у лица. И опять на плече, И подумалось мне, так это же моя ласточка! Да! И снова — так хорошо мне от ласточки этой. Стою и плачу. Да. Стою и плачу".

Он проводит словно чужой, занемевшей от сна ладонью по лицу. Головою трясёт.

— Может, к смерти?

"Милый, мой милый, мой милый, пойми, я устала. Прости. Но я не могу. Ты мне веришь? Да, я совсем не в себе. И разумеется, не благоразумна. И виновата во всём. А тебя никто не винит. Да, я всегда виновата. Только о Светке не надо. Только моя это дочь! *Только не надо о нём.* Господи, Господи, Господи, как я устала. Ну, замолчи! Я прошу тебя хоть на минуту замолчать". Когда ж это было?

И вот, её нет. *А так отлично вышел на могилу.* В круге знакомом еле приметная голова. *Её легко узнать даже после того, как часть лица отбили выстрелом из рогатки.* А вот снохи её нет. *Опоздал? Поспешил?* Сам чего-то не понял? *или кем-то введён в заблуждение?* А ещё посылая расхрабрился кого-то в больницу, в Москву, *недоделок!* Но она не могла обмануть. *Слишком долго ждала?* Не поверила в то, что ишу я? *Или сын помешал?* С детства пила кровь порода. *С самого раннего, в самый красивый момент "мама-аа" и "пи-пи"!* Нервничать только не стоит. Можно присесть, отдохнуть. *Всё на ногах целый день.* Нету в них правды. Разумеется, только в ногах. Ей, разумеется, верю. Да,

сомневался, но кто честнее со мной говорил? Никто. *Ничего, всё поправимо. Всего тридцать пять. Успокойся. Возьми себя в руки. День ещё впереди. И такой!* Старый друг. *Может, хотя бы записку... Беленькую, крохотную. Как обещание на следующий раз. Её можно будет так долго разворачивать. Ведь я не могу без тебя!*

Успокойся. Листья желтеют. Небо спокойно. Тихо. В общем-то, здесь хорошо. *Птицы щебечут.* Женщина где-то сказала...

— Тоже мне, едут, бояре. Лень пешочком пройтись.

— Раньше руками носили, — вторит вторая. — Вот довели до ворот, на телегах, а дальше руками. Батюшка наш, Михаил, в те годы... — Но дальше не слышно. *Видно сквозь жёлтые листья — проехал автобус зелёный.* Чей-то "москвич". *И ещё легковая одна. И ещё. И снова автобус.*

— Господи, как навоняли. Прости мя, Боже.

Вечер будет хорошим. *Да.* Там, где, возможно, сидела она на скамье голубой вместе с Наташей, над тополями рыхлые длинные пряди полупрозрачных облаков. Ниже шиповника куст, словно забрызганный кровью. Ниже кресты и надгробья. *Под ногами бежит муравей.*

На мраморных плитах, если очень взглядеться, забыть обо всём и о всех, можно увидеть много слайдов цветных, сделанных кем-то ещё до начала жизни. *Это много позднее стала планета Землёй.* В заливе с прозрачной водой не всплеснёт ни бутылка, ни рыбка. На жёлтом песке, уходящем в глубокое дно, ни ракушки, ни птицы, ни змея, ни собачьих следов, ни колышка для закидушки. И на ближайшем камне даже нет стрекозы. На беслесных холмах ни травинки. *Ни строенья какого нигде, ни столба.* Нет даже заброшенной, какой-нибудь древней могилы. *Ни тропинок нигде, ни дорог.* Слайды выцвели, правда, но это вполне объяснимо. *Или техника в те времена была не такой, как сейчас, или плёнка за столько-то лет потеряла свою цветостойкость. Но ведь кто-то снимал?* Так, возможно, художник кино подбирает пейзаж для будущего фильма. *А раз фильм уже начат, его нельзя не доиграть до конца.* Что бы ни случилось.

Всё хорошо. Отдохни. Семь минут третьего. *Можешь не торопиться. Мож бы и доиграть. Верни из Москвы человека. Он не плохой. Он медсестру не ударит.* Даже когда она принесёт ему деньги, сotenка к сотенке, в обрыз, на дешёвый билет. И он уйдёт на вокзал. *А она на другую работу.* Ляжет на лавку свою, у потолка, вдоль прохода, и закроет глаза. И качнутся вагоны. *И понесут его мерно, ногами вперёд, мимо зданий, платформ, деревень.* Мимо дач, оголённых берёз, мимо в окна машущих елей. *Вспомнится вдруг...*

— Что ты мне предлагаешь?

А она:

— Ты когда-нибудь сам, ну хотя бы разок, ну хотя б что-нибудь мне предложить расхрабришься?

И тогда он:

— А что я могу?! Ну, что я могу?! Ну, давай мы его удавим! Нашей подушкой! Ноги-то сможешь держать?!

— Замолчи! Как посмел ты?! — и разрыдалась. И так плакала долго. Плачет. Трясётся. Целует. — Милый, прости меня, дуру! Милый, прости... — как в беду.

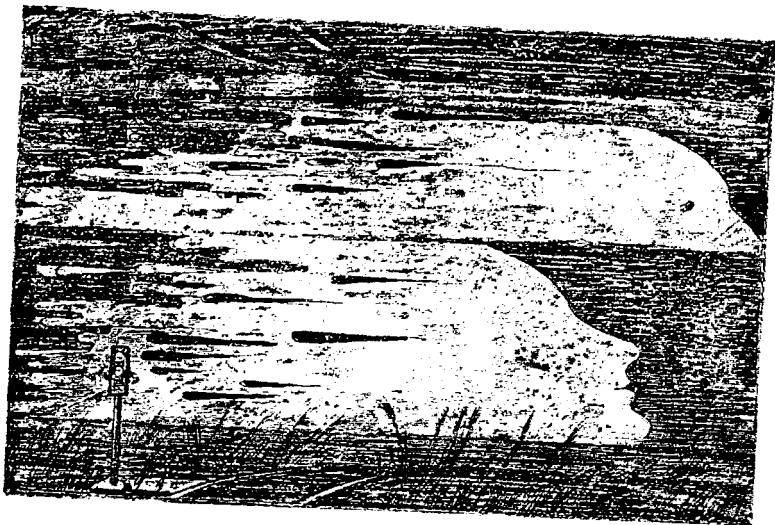
"Нет, — думает он улыбаясь, — всё нормально. Хотя и Алёна, как мёд. Прелесть какая! А как была влюблена. А губы! а ноги!!!"

Ещё перед Волгой пойдёт такой обильный снегопад, что он познакомится с молодой попутчицей. *И они будут чай пить.* Она угостит его домашним пирогом с грибами. И тогда он станет рассказывать ей про Алёну Волкову, *а она кормит грудью своего толстощёкого сына.* По признаниям его ей покажется, *"этой счастливой Алёнке лет, может быть, 25, 26"*. Он засмеётся, довольный, *и согласится.* А потом, когда сын уснёт, они подойдут к окну *и будут вдыхать снежинки.* И она расскажет о школе, в которой училась, о доме, о муже, о его родителях. *И всё-то будет у неё лучше, чем у всех.* Но он не посмеет не пожелать ещё больших удач, особенно в личной жизни. Он никогда не скупился на советы, *а после Алёнки тяжело ему не думать о себе как о любовнике-профессионале.* Потом они лягут, *но не смогут уснуть, почему-то.* Ему хорошо будет видно её с верхней полки. *Её и ребёнка.* Сынок будет чмокать губами и ловить её палец во сне, *а она дотрагиваться до его щёчек и беззвучно смеяться.* А он улыбаться будет, глядя на них. *То ей улыбаться, то мыслям своим, пока не устанет.* А когда надоест, он спустится тихо, уже не улыбаясь, *возьмёт её за руку и уведёт в тамбур.* Утром он поможет ей вынести чемоданы. Снег будет скрипеть, а чемоданы наткаться на встречающих, *но холода он не почувствует,* а после бессонной ночи ощутит почему-то себя необыкновенно выносливым и сильным.

— Вот видишь? — скажет она. — Всё вышло так, как я говорила. — И он восхитится жемчужной чистотой её молодого голоса и потреплет за подбородок.

— Ничего, — скажет он. — Возможно, ещё подойдёт.

Ей захочется вдруг, чтобы он проводил её до автобусной остановки, и он подумает только, что надо б немного одеться потеплей *и запомнить обратную дорогу к поезду.* Она будет так благодарна, *что поцелует при всех.* А он обнимет её, *вместе с ребёнком,* и тоже станет целовать. И те, на остановке, кто прежде думал о них, *как об отце и дочери,* сразу поймут, что ошиблись. *А потом он опоздает на поезд и никогда не вернётся к жене, к своим детям, к могилам.* Нет, вернётся. И даже не опоздает. И вообще, после этой поездки всё, и надолго, почти навсегда, будет у него хорошо. *Что ж, могло быть и лучше. Только, кажется, дождь собирается. Листья зашелестели, небо нахмурилось.* И позднее уже над городом сверкала молния. *Но дождя не было.* Его не будет почти до ноября.



Гравюра
Александра ЖМАЙЛО.

БАЛЛАДА О СТЕПИ

Понижается небо, и гор оползают края.
 Трудно жить с наклонённою выей, с согбенной спиною...
 К небесам, до которых нельзя дотянуться,
 направился я.
 Поднялась и пошла степь Байсунская следом за мною...

Не решаясь меня оголтелым пространствам отдать,
 Не сдавая ветрам с их превышенной скоростью шалой,
 Побежала за мной, спотыкаясь опять и опять
 О железнодорожные шпалы.

Я в вагон затянул её, высунувшись из окна,
 Стал за глупость её укорять, за позор перед миром.
 И на верхнюю полку залезла и стихла она
 Безбилетным, бесправным, безропотным пассажиром.

Я по скверам, по улицам долго бродил городским,
 Неразлучницу-степь я за пазуху прятал получше,
 Чтоб колёсам машин и ногам равнодушным людским
 Не досталась она, точно жертва вседневной толкучки.

Я нигде не задерживался, безудержно я кочевал.
 Тех пристанищ случайных тепло помнит сердце и тело.
 И под взглядом хозяина, у которого я ночевал,
 Степь робела и слдва сказать мне не смела.

Подоспела любовь, мою грудь обожгла как свинцом.
 Слов безжалостных суть сквозь обиду впервой понимая,
 К жухлым стеблям и травом увядшим приникнув лицом,
 Я ночами рыдал, безответную степь обнимая.

Зеленея по вёснам, шафраном горя в октябрях,
 А зимой заливаясь молочною тишиною
 И заботясь, как мать, о моих желторотых стихах,
 Степь была мне надёжной подругой и верной женою.

Что наделали годы? Я вырос, как критик сказал.
(Есть какая-то хитрость, когда не найти виноватых...)
И уже мне неловко, что со степью себя я связал,
И в просторной квартире уже рядом с ней тесновато.

Я её убеждаю: — В Байсун возвращаться пора!
Не к лицу городскому порядку твой вид одичалый.
Поезжай! Там дожди благодатны, раздолжны ветра,
Там раскинешься ты среди гор, как бывало.

Ей читать наставленья прискучило мне,
И я стал заливать про красоты и про ароматы...
Для того уезжаю в Байсун я опять по весне,
Чтоб вернуть ему степь воровато.

Но она замечает, что я норовлю улизнуть...
Не сдаваясь ветрам с их превышенной скоростью шалой,
Задохнуться рискуя, за мною бросается в путь,
На бегу спотыкаясь о железнодорожные шпалы.

В дом прокравшись, дыхание я затаил.
На английский замок, как на Бога, надеюсь теперь я!
Степь стоит за порогом. Я чуть её не придавил.
Безнадёжные вздохи я слышу под самую дверью.

На работу, как все, я иду поутру.
Почему моё сердце болит? Что его истерзало?
Как собака бездомная, скорбно дрожит на ветру
Степь, слоняясь по площади возле вокзала...

* * *

Здесь друг за другом шпионят давно.
Здесь доброта в долговечной опале.
Домом усталости править дано,
Души живые руинами стали.
Сжавшая губы в суровую нить
И с леденящею сталью во взгляде,
Знает, кого ей судить и винить,
Ненависть — этого дома исчадьё.
Срок для удара оно сторожит,
Лишь темноте свои тайны доверя.
Нож занесённый в руке не дрожит...

Вдруг кто-то входит в балконные двери,
Рвёт рукоятку ножа, торопясь,

Чтобы возмездье приостановилось,
Шепчет невнятно, слезами давясь:
— Ненависть, к дому яви свою милость!

— Голос твой, кажется, мне незнаком...
Кто ты? Сей дом обречён по заслугам:
Здесь препираются пол с потолком,
Стены без устали травят друг друга...

Ненависть так говорит неспроста,
Но, как в гипнозе и очарованье,
Дом отверзает немые уста:
— Ты ли вернулась, любовь, из изгнания?..

Ненависть так и застыла молчком.
Стены полам уже не прекословят.
Тихо выходит любовь на балкон...
Ждёт... Но никто её не остановит.

Перевод с узбекского
Марины КУДИМОВОЙ

СЕДЬМОЕ НЕБО

К пространствам чистым и немым,
где обитают только птицы,
не мы причастны, и не мы
чертили там свои границы.

Орлов небесные дворцы —
над остальными небесами.
Не оскверняют их скворцы
полуземными голосами.

Не попадёт на их порог
сороки вёрткой небылица
и тугогрудой голубицы
жильём пропахшее перо.

Там мир иной. И с давних пор
в его религии холодной
нечистоплотный птичий двор
бытует в роли преисподней.

* * *

В почтовом ящике от долгого молчания
завёлся паучок.
Не трогаю: примета.
Тобой надписанный конверт
один нарушит паутину.

* * *

Видишь:
давно рассвело.
Пластинка,
неуверенно круглая,
крутится молча...

* * *

Давно успели окна и деревья
забыть о ветре прошлогоднем.
Но вывеску,
лежащую на крыше,
ещё читают облака...

* * *

Дремлет кошка
на пятнистом от света асфальте.
Заведённая птица
не умолкает в листве.
Когда этот день
станет невыносимо странным,
рассмеюсь —
и всё изумлённо исчезнет.

* * *

Долго ещё
стою на перроне
с далёким от твоей
улыбки
отражением на губах...



Ахмад Арифханов

ЗАПИСИ
МЕЖДУ
МОЛИТВАМИ

А.Арифханов прожил 26 лет (1966—1992). Но это была длинная жизнь, если мерить не материальными мерками. Учился в Москве в элитном учебном заведении Министерства обороны, учился превосходно, но отказался заканчивать его — дослуживал рядовым в армии. Курсантские фотографии говорят: военная форма не вяжется с его обликом, хотя он высок, строен, силен, красив. И форма сидит ладно, но чужда его лицу, особенно взгляду.

Осознанно пришёл к исламу: в короткий срок выучил арабский язык, переводил для себя изречения Корана. В вопросе, быть ли ему священником или просветителем, избрал первое. Почитал родителей и своё имя, данное ему в честь древнего и знаменитого сородича — Ахмада Яссави. Писал стихи, прозу, начал религиозный трактат. Его записные книжки разных лет заполнены трудночитаемым почерком: мысли, наблюдения, заметки, художественные наброски — на нескольких европейских языках. Слова его подлинны, чисты — и те, которые он произнёс, и те, которые не успел. Думаю, он оправдал своё имя.*

Публикуем фрагменты его русских записей, расшифрованных Д.Г.Ризаевой, матерью поэта и философа.

К.Е.

— Сегодня не хочется писать, но больше нечего делать.

— Когда не используешь больше половины того, что знаешь, — становится непонятно — зачем ты узнал это...

* См.: Ахмад. Стихи ("ЗВ" № 6, 1991); Ахмад Арифханов. Рассказы ("ЗВ" №№ 9, 1993; 1, 1995)

- Муэдзин не слышал, как зазвонил будильник.
- Люди везде одинаковые. Если есть Бог, то люди побаиваются Его. Вне мечети люди ничего не боятся.
- Трудно с тем, у кого нет ничего святого. Даже в мечети попадают такие люди. Они становятся такими постепенно.
- В мечети никто не смотрит на небо. Они, опустив головы, спешат в зал для молитвы.
- Прежде, чем выбирать дверь, выбирай соседа. Прежде, чем выбирать путь, выбирай попутчика.
- Беды человека от языка.
- Надежда только на Аллаха. Надежда увеличивается в размерах, а потом снова становится в срез волоса. Надежда никогда не становится меньше среза волоса.
- На что надеются люди, молясь в мечети? На что надеются люди, ходящие за воротами? У всех есть надежда. Аллах вселяет надежды разные, как элементы химической таблицы.
- Есть люди как камни, есть люди как воздух, есть люди как мешок с песком. В мешке с песком трудно отыскать душу.
- Если нет Аллаха, то есть Иблис. Если нет ангелов, то есть черти. Черти и демоны боятся ангелов, но если их очень много, они не боятся даже Самого Бога.
- Можно верить в истинность книг, не читая их. Можно славить Бога, не видя Его. Можно верить в ангелов, не зная, какие они. Пророки приходят сами. Каждый человек — наследник Бога. Мы умрём и снова воскреснем.
- Человеческая жизнь, по-моему, это вечное совершенство. Совершенство до момента, когда кончится срок этому миру. Мы умрём и, дай Бог, перейдём в более приемлемое состояние. Некоторые же деградируют.
- Некоторые люди рождаются на земле такими, что им приходится всю жизнь сожалеть о своём появлении на свет.
- Существует Истина. Не просто как расплывчатое философское понятие. Не надо перечислять имена великих людей, свидетельствовавших об этом. Достаточно нескольких курсов точных наук, чтобы людям стало ясно существование не зависимых от нас, неизменных, вседвижущих законов, от которых пульсирует, благодаря которым протекает этот или иной процесс. Эти законы не зависят от нас, но мы зависим от этих законов.

— Если говорить самые правильные и светлые слова, но не верить в них, то эти слова ничего не стоят.

— Тюрьмы, армия, церковь, сумасшедшие дома, больницы — вот основные рассадники писателей.

— Религия означает связь с Богом. Любая деятельность является деятельностью, связывающей нас с Богом. Но лишь деятельность, совершаемая в согласии с Богом, есть религия.

— Мысли — способность мозга (данная свыше) планировать, решать стоящие задачи, делать выводы, в общем, совершать действия и строить композиции на уровне неосозанного. Духовное, высшее свойство материального... Построение абстрактных моделей.

— Интеллект — наработанная, развитая упражнениями и постоянными тренировками мыслительная функция человека. Интеллект можно приобретать. У каждого человека интеллект развивается до определённого уровня.

— Но развитый интеллект без чувств, без способности к творчеству, что также дано от Бога, приносит мало пользы человеку.

— Интеллект, не способный к творчеству, теряется, если человек занят тяжёлым физическим трудом.

— Страдающая душа, обладающая высоким интеллектом, способная к творчеству, только выигрывает, если человек на некоторое время сменит умственную деятельность на физическую. Хотя, такая замена может быть чревата потерей творческого дарования в зависимости от степени его развития. Огромную роль здесь играет отношение к Богу. По-моему, вера способна защитить творческую способность человека от... внешних трудностей.

— Наиболее мощное средство для развития интеллекта — математика.

— Если человек, обладающий высоким уровнем интеллекта, имеет к этому ещё и богатое воображение, то он способен к творческому труду.

— Чтобы жить, нужно работать, — наиболее продуктивно у человека работает мозг (не у всех) — чтобы жить, надо думать — чтобы думать, надо развивать мышление, т.е. чтобы думать, нужно думать.

— Душа — камень преткновения в споре о Боге. Душа играет не за атеистов, не в их пользу.

— Разве может быть в жизни что-нибудь прекрасней детства?

— Люди говорят: у меня нет времени. Ответ: времени нет ни у кого, время находится вне нас, его только надо найти где-то.

— Лучше иногда ошибаться, желая принести пользу, чем никогда не ошибаться, не принося пользы.

— Пора уходить, когда теряешь самую большую ставку, всякую надежду на возможный успех, твёрдость духа и любовь к игре.

— Жаждающие утолят жажду, ищущие обретут...

Нужно верить в себя, потому что верить в себя необходимо. Чтобы стать счастливым, нужно немного — нужно иметь Бога и верить в себя. Если совесть спокойна, то Бог уже есть, а если Бог обрётён, то остаётся только поверить, что этот Бог твой, и становиться счастливым. Другого пути к счастью для себя не вижу.

Боюсь, что и для других не существует другого пути к счастью. А уверенность может прийти только через дело, которое делаешь. Если ты делаешь дело и уверен в себе, то вряд ли нужно ещё что-нибудь для счастья. Удовлетворение от делаемого дела, закалка здоровья, закалка духа — дают уверенность в себе. А всё это вместе должно принести успех — в виде платы за работу и увлечение. Что есть счастье, если не это?

— (Ещё раз.) Чтобы стать счастливым, нужно немного — иметь Бога и верить в себя.

Если совесть чиста, то Бог уже есть, а если Бог обрётён, то остаётся только поверить, что этот Бог — твой.

— Наверное, нищему человеку нужен стимул, чтобы жить. Мне тоже нужен стимул, но мне нужен огромный стимул, мне нужно то, что побуждало бы меня жить так, как я хочу. Мне нужна опасность.

— Есть люди, которые живут своими мыслями и чужими чувствами, и те, что живут своими чувствами и чужими мыслями. Версия: талантливые люди живут своими мыслями и чужими чувствами. Толстой плохо относился к тем, что живут своими чувствами и чужими мыслями.

— Чтобы стать счастливым, человеку нужно побороть в себе страх и неуверенность.

— Нет такого человека, который не имеет права на счастье.

— Жизнь — интересная штука! У неё одно начало и один конец, а в середине можно делать что хочешь.

— Страдание и одновременно развитие интеллекта приводит к Богу.

— Физическая работа подавляет работу мозга, частично, однако, приносит удовлетворение.

— Мало быть добрым, надо ещё уметь распознать зло и стараться не подпасть под его влияние.

— Никогда не надо отчаиваться. Только в работе можно найти удовлетворение. Только в любимом труде. Не надо ничего сваливать на других и на условия, в которых живёшь. Надо работать как следует. Жажущие утолят жажду, ищущие обретут...

— Талант людей выявляется только в борьбе за выживание, чем острее борьба, тем быстрее выявляется талант. В этой же борьбе человек, обнаруживший в себе талант, оценивает его.

— Для того, чтобы сделать совершенной своё творчество, необходимо активное включение мозга. Вывод: талантливые люди ищут такие условия, где мозг будет работать на максимуме. А так как мозг — орган выживания, то они ищут также условия в зависимости от силы таланта, где мозг приложит максимум способности, чтобы выжить, а следовательно, будет работать на максимуме — гении сами создают условия для конфликта, неосознанно стремятся к положению изгоев.

— Совесть — духовное существо, наделённое чистыми, непорочными качествами, вживлённое в сердце и в мозг и способное воздействовать на материальную плоть того человека, в котором обитает.

— Сильный человек, живущий в противоречии с требованиями этого духовного существа, может усугубить эти противоречия, подвергаясь воздействию и власти желаний материальной плоти.

— Сильный, если живёт против совести, замечает, что убивает себя и деформирует, т.к. он сильный.

— Однако можно усыплять и обманывать это духовное существо — совесть. Это зависит от силы присутствия этого духовного существа.

— Полковники не бегают, т.к. в мирное время это вызывает смех, а в военное — колику.

— Что значит: зло победит добро?

Побеждает — это как: убивает или кладёт на лопатки?

Зло побеждает, говорите вы, а исключается ли такая возможность, что побеждённое добро будет намного счастливей несчастного зла?

Я не считаю, что зло побеждает. Я знаю, что добро никогда не проигрывает. Доброта сильнее.

— Если очень сильно захотеть, то можно осуществить всё, что захотел, и добиться всего, всего.

Каждый человек для чего-нибудь рождается.

— Армия.

Единственная радость в жизни у людей, которых здесь много, — это лишний кусок мяса на ужин или на завтрак, который они ждут от хлебoreза. Если дать им побольше масла, можно стать королём части (нехорошим).

— Солдаты обижаются. Реакция интересная:

Если нет масла, то общий настрой, настрой всех солдат, недружелюбный, даже вражеский.

Если есть масло, то лезть. Откровенная лезть. Неприятно.

— В небе летает ворона. Я стряхиваю снег с сапог.

— Неужели это так и есть. Неужели меня больше научат, если я сам не буду учиться...

...голова моя хоть работает здесь...

— Искусство быть и не причинять вреда. Нет, не Христом, а просто — не причинять вреда и, может, стараться приносить пользу.

— Доброта, милосердие открыли мне глаза, как бы заложили фундамент сознания. А родилось это от страдания.

— Разве можно найти такое сообщество людей, где каждый человек мог жить в соответствии со своими желаниями?

— Грёзы странного человека...

— Если чего-то очень хочется, то мощная, незыблемая стена мешает этому; это хорошо, пусть стена мешает как можно дольше, и не надо убегать от этой стены, ибо родится страдание, а страдающий найдёт *сознательный* путь преодоления этой стены.

— Вот такие дела... Люди совсем молодые, но уже потеряли искренность!..

— Если спор не касается тебя лично, то спорить можно, ибо в таком споре может родиться истина. А может и не родиться.

— Природа — порождение неведомого нам. Мы — часть порождённого. Человеколюбие, идею добра выработало человечество, и направлены эти идеи на жизнь. Благодаря этому продолжается жизнь на земле. Это неведомое дало человеку разум, с помощью которого человек думал, как ему сохранить жизнь... Только идеи доброты, милосердия и человеколюбия являются тем, из-за чего не исчезает жизнь. Так родилось совершенство — Христос.

— Доброта должна быть в вашем сердце, жить с нею легче душе.

— Самое ценное — это не способности и не одарённость того или иного человека, настоящего человека нельзя ценить за его способности, его надо ценить за человечность.

— Быть просто честным, добрым и порядочным человеком всю жизнь совсем не просто. Этому надо долго и много учиться.

— Чтобы читать пояснения к Корану на арабском языке, сначала нужно прочитать уйму книг. На это уйдёт 5-6 лет. Сегодня на арабском я читаю сказки и маленькие рассказы...

— Человеческий ум не в силах понять до конца существо Бога.

— Аллах — это непознаваемая тайна, истина, похожая на неприступную гору, вершина которой уходит далеко в космос. Тайна для простых и сложных людей.

— Тот, чьё сердце не стремится ни к наукам, ни к битвам, ни к женщинам, напрасно родился на свет.

— Чьё сердце не трогают ни прекрасные изречения, ни пение, ни игры... тот аскет или скотина.

— Что нужно делать завтра, делай сегодня, что нужно делать после полудня, делай до полудня. Смерть не разбирает, что сделано, что не сделано.

— Украшение человека — мудрость, украшение мудрости — спокойствие, украшение спокойствия — ответы, украшение ответов — лёгкость.

— Чего не вообразит поэт?

— Чего не сожрёт ворона?

— Чего не наговорит пьяница?

— Чего не сделает женщина?

— Не бойся невозможного, никому ещё дважды не отрубали головы и трижды — руки.

— При попадании человека в новую для него обстановку, новую среду с её новыми правилами и обществом, перед человеком стоит угроза изменения, деградации его личности. Для того, чтобы не деградировать как личность, нужно стараться делать что-то, что не обязывает делать данная среда. А чтобы в новой среде уважали, надо стараться делать так (желательно по-своему), чтобы не терялось уважение к себе. Если, находясь в новой среде, человек не теряет уважения к себе, значит, в этой среде его скоро начнут уважать.

- При разговоре с человеком стараться быть искренним
 - не спорить
 - улыбаться
 - быть хорошим слушателем
 - не перебивать
 - давать выговориться
 - напряжённые ситуации переносить не взрываясь
 - быть смелым, быть сильным
 - быть спокойным
 - не давить на собеседника
 - давать собеседнику возможность спасти своё лицо
 - не позволять себе обвинять в речи собеседника
 - не считать собеседника менее развитым, чем сам; люди очень обижаются, если видят, что собеседник задрал слишком нос свой
 - не давать приказания, а просить в виде вопроса

— Склонность к мышлению

- жизнь
- интуиция
- чувства
- разум
- нравственность
- доброта
- религия
- совесть
- душа
- сердце
- нервы
- молчание
- спор
- несправедливость
- нервные срывы
- психические срывы

— Выживание

- поэзия
- проза
- литература
- родной язык
- родная земля
- родной дом
- родители
- отношения с родителями
- любовь
- склонность к мышлению
- развитие склонности к мышлению
- создание условий для мышления
- взаимоотношения между людьми
- счастье

— Убеждая, говорить человеку три раза то, на что он мог бы ответить: Да, Да, Да.

— Наверное, закономерно, что жизнь несправедлива к нам, ко мне и ко всем моим друзьям, моим поэтам.

— Когда проезжали по дороге мимо совхозов и колхозов, не видел счастливых лиц.

— Можно спасти того, кого ещё можно спасти. Мир не спасти.

— Мир очень сложен и вместе с тем прост. Человеку много раз приходится удивляться его сложности и простоте...

— Если чувства владеют разумом, то человек под властью сатаны. Но лишь те, чей разум овладел чувствами и стоит выше них, управляет ими, могут достичь истины. Этот путь лежит через покорение чувств, через веру...

В коллаже использован
рисунок Зои ГАН



Графика
Вячеслава УСЕИНОВА

Дмитрий Григорьев

* * *

И были страшные морозы,
даже пар прятался
в подземном переходе к метро,
так, что не было видно ни встречного,
ни сзади идущего.

А мне показывали Ходасевича
в "Огоньке":

" — Оттепель, посмотри, оттепель", —
говорили, — "То-то будет теперы!"

И я смотрел,
надвинув шапку на голову,
замотав шарфом лицо,
на дымный городской пейзаж...

...Дым особенно заметен
в такие холода.

* * *

Вот и холмы появились,
так что не за горами...
жаль, что тропинки вьются
из ущелья в ущелье,
и ни одной на вершину...

Ты писал мне о перевалах,
где лежит чистый снег,
а в ущелье быстро темнеет,
словно уходишь под землю,
кажется трещиной небо,
и теряют смысл тропинки.

* * *

Я смотрю на солдатские сапоги:
свиная кожа — кирза блестит,
отражая электрический свет,
и комья глины кажутся слепыми животными,
случайно заползшими на полированную

поверхность.

— Бедные... — сентиментальность
свойственна солдатам,
в его вещмешке письма
и коробочка гуталина:
в мирное время солдат
должен быть опрятен —
пилотка на два пальца...
гимнастёрка аккуратно — под ремень,
сапоги должны быть начищены
и отполированы так,
чтобы в них отражался весь мир,
с его деревьями, животными и людьми:
каждый сапог — словно кривое зеркало
в комнате смеха...

Но не смешно.

* * *

Во тьме ты светишься...
Ночные мотыльки
стучатся в твою кожу,
на крыльях каждого —
мои глаза...

А я перебираю буквы,
похожие на яблочные зёрна,
и слова не могу сказать...

Дмитрий Чернышёв

* * *

От Графского четвёртый дом.
— Нет, пятый.
Окно.
Зоны одиночества и светящееся акварельное небо.

Перечисление, по необходимости, не полно:
нет — тебя.

* * *

Не

утешай себя и не верь,
что даже в Венеции кончается лето.

Лето — вечно!

...лучше пройди через площадь Святого Марка
с закрытыми глазами, —
коснись собора.

SUN-SET STRIP

Не гляди на небо —
это стыдно:

Эос —

девочка-шизофреничка
развесила свои лохмотья на флюгерах
и ходит
голая!

* * *

Я — ослепну
и пальцами, шрифтом Брайля
буду читать Евангелие.

Я —

могу без тебя.

* * *

...Уильям Оккам
со своею бритвой.

— Спасибо.

Можешь не напоминать,
я и так понимаю:
любовь —
излишняя реальность.

* * *

Ты поверила солнцу,
поскольку есть небо
и знаешь,
что окна лоснятся без света
Ты теряешь следы,
по которым проходишь
В повторении улиц есть чудо привычки
Ты пытаешься встретить своё отраженье,
понимая,
 что нет на то оснований —
город снова предаст,
он иначе не может
 признаваться в любви,
как запутав в кварталах,
 позабыв по кофейням,
 растеряв по квартирам

Так меняется время и шорохи листьев
Так становится больно
Так режутся крылья

* * *

Помню день тот,
когда подступило утро
белым пламенем тёплого снега к губам.
Я его распознал будто лестницу,
только ступени —
гулкий шаг облаками по небу
в молчанье...
Помню день тот,
когда подступило утро...

* * *

В гулкой осени
время умолкло
от разрыва секунды —
я на кухне повесил часы...

* * *

Такое небо я ещё не видел...
...такое небо — странное, густое,
где сквозь туман идёт осодок красный
завязанного солнца в чёрный узел
ночных дворов с измятыми домами
и перестрелкой желтоглазых окон...

ПЕСНЬ ЧАЙКИ ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН

Ты ищешь оправдания словам
которыми пресытиться не можешь
поскольку не умеешь сомневаться
в предназначеньи голоса
 молчать
и задержавшись взглядом на картине
в переплетеньи красок узнаёшь
знакомую мелодию из Баха
как дерево увиденное снизу
Так медленно накатывает время
желанием отсрочить суетливость
сползает светотенью по проёмам
открытых как глаза циклопов окон
в которых отражаешься незрячим

Под утро дождь
 и тишина под солнцем

* * *

город лестниц
разбитое чудо окна
Ты идёшь по периметру Бога
по праву
 идущего сквозь запястье
Бог есть скорбь о любви
остановка вне дома
 без вздоха
снег у солнца
 причина сомнений

Еле слышен мотив под зубами
та-ра-ри
 та-ра-ри
 та-ра-ра

* * *

*Тогда ли совершалось колдовство
Д. Бурого*

Юдоль автобуса и сумерки трамвая,
Тоска метро, роскошество такси
И города безумная кривая
Огромной музыкой над временем висит.

Мы к вечеру находим путь в привычке
К смешенью улиц в поисках тепла
И походя берём себе в обычай
Непостоянство птичьего крыла

...всё суета — опять с Екклезиастом
Играю в бисер, собирая красный,
Последний цвет дневного торжества,

И словно чем-то нужным озабочен,
Смотрю в окно на совершенье ночи,
Стремящейся войти в свои права...

Шамшад Абдуллаев

НАТЮРМОРТ

рассказ

Он бормотал в пустоту, словно беседовал с воздухом несколько секунд. Крупная пчела жужжала над шкафной дверью, то есть нельзя подняться с постели, пока не прикончишь её, — поэтому он лежал, пытка, или попасть в тюрьму, думал он, приговорённый к расстрелу, и тебя ведут по коридору во внутренний двор — слышал, обычно это поручают женщине, из снайпера в затылок. Тюремный врач щупает, наверно, твоё тело, как фетиш, не пригодный уже для восхищения и волшбы в руке археолога. Свесы соседних крыш и гранатовый куст под майским небом в кухонном окне. Он медленно поднял голову с подушки, и пух проплыл мимо стекла, как маленький цеппелин в тяжком и млечном воздухе поздней весны. Сад цвёл изнутри. Первый вестник, как водится, появился внезапно — сосед по кличке "живодёр" стоял на веранде в жаркий полдень, худой, небритый, чахоточный мираж, окутанный солнечной охрой, и глаза его бегали, прячась за ширмой лица, — у вашего дяди, сказал он, что-то с ногами — так всего лишь просят подаяние, но за его спиной двое пыльных мужчин тащили пятидесятилетнего юношу, почти прильнув к его подмышкам, по кровельной тени, как большую куклу, одетую в красную миланскую рубашку, чистый шёлк, и в салатово-серые джинсы в дудочку из вельвета, и трижды его колени ударились о кирпичный порог, как если б он припал в этом пижонском виде к престолу Божьему. Внизу, в ста шагах от мужчин, алели сарай, конюшня и фермерский дом, прямые и замкнутые, прописанные чётко и врозь невидимой кистью, как три чашки, сдвинутые в сторону после долгого завтрака: свет. Было так ярко, что ты заметил, как по тетиве валявшегося под скамьёй детского лука ползёт муравей, и каждый ощутил — произошло то, что не произошло, и не осталось места для

того, что есть. Твой дядя. В двадцать пять лет на снимке он был похож на Джимми Пейджа, но сейчас на балконном ковре его лицо выделялось меж чёрных волос, как отполированная кость во тьме. Его жена вышла за дверь, бездетная в полуденных лучах, спиной ко всем: женская поза, одна и та же со времён Канишки. В глубине далёкого воздуха коричневый голубь сел на цементную гробницу среди стрелчатых трав. Прямо на ступеньках, под вами, куры клевали кукурузные зёрна. Что-то упущено, что не меняется, всё. Ты стёр пальцами пыль с настенного зеркала, в котором отражалось окно, распахнутое в общий двор и на улицу, где крашенный велосипед проехал мимо приставных лестниц. Когда-то, в начале семидесятых, он приносил новые записи, и запах лент омывал комнатную полумглу, безумие, Free, Wishbone Ash, Hendrix, тем временем снаружи доски и дорога благоухали солнцем, блюдушим до мохаллинского кладбища весь окрестный ринг. Бывали гости. Твой друг, боксёр, с которым он играл в большой теннис у подошвы горы, и на каменных прожилках бледной массой бились их силуэты — светлее, темнее, светлее, темнее, и ты спокоен. Под вечер он бросал ракетку и покидал песочное поле, пока ты маячил позади, укороченная фигура удаляющегося кумира в психоделической майке, пастиш над ромбовидной глядю речных волн возле горных глыб, оранжевых и скуластых в сумеречном безлюдье, или, допустим, они втроем слонялись по базарной площади и разглядывали девушек за торговыми рядами, бухарских евреек под солнцем, которые плавно брели к себе, в квартал, отдающий дымом и тысячелетием. Жена склонилась над ним, пусть, паралич. Ему снились книги, каких не было на свете, парафинные страницы, и лёгкая тошнота росла в его горле, но тут он просыпался, будто незнакомая женщина сидела в изножье длинной кровати, засмотревшись на заснеженный морской берег за окном, и протирала голые плечи кремом в зимнее утро. Потом постучался живодеёр, оставил на кухне персики и лепёшки. В пустоте вспыхнула вдруг ледяная свежесть. Он открыл глаза, как бы взывая к миметической мишуре в зеркале, и ничего не даровано годами, кроме вечной домашней симметрии, заключённой в овал супружеского трюмо, думает больной с усилием, которого хватит, чтоб оторвать вспухающий взгляд с одной оконной створки, и не достаточно, чтобы перевести его затем на другую в кабинете, в гостиной, в прихожей, где он кочевал на руках племянника и его друга. Он читал до полудня что-нибудь или чаще листал синий альбом "Неополь", чей гляцевый покров пускал ободом по комнате медитеренианский блеск, прыгающий с изголовья рикошетом на дверной штырь, на истёршийся сундук, на безрогую вешалку с пепельным пиджаком и замшевым платьем, и книжная бумага покоилась перед ним тише, чем сонная жара, когда мухи карабкаются по линолеуму сигарного цвета в прокопчённой столовой. Ему уже пятьдесят два. Минувшим летом он ещё лазил на чёрный холм, затравивший и скользкий, и чуть впереди шёл боксёр (или ты) по сельскому мостику в форме похоронных носилок. Телеграфный провод пищал, как дискант пожилого скопца, а вчера в окне лежал пьяный, только что извлечённый из арыка, весь мокрый, вставай, не спи, аванти, вставай, он простёрся там, запрокинув голову, точно его волокни за грязную слипшуюся бороду по канаве, по тротуару, где, казалось, этот помойный лунатик развёл руками и застыл. Огненная роза вдето в

зелёное горлышко узкой вазы в твоей библиотеке на письменном столе. В окне сменяются кадры, сезонные сцены: мальчик, бегущий, кричит, и простенок всасывает его хрипотцу в глинобитную губку; вялый смерч воровато скользит сквозь пнистый и засохший сад к уличным воротам; кишлачный приют за хмурым стеклом теряется тёмной ладью во мраке. Лай собак, фальцет и скрип редких радиопьес. Капли пота сливаются в межбровье в тусклую щепоть. Кто-то присягает. Девушка держит китайскую чашу с водой в двери. Вот как, думает он, заря, моя сиделка, — он лежит ногами на восток, и невозможно другое. Сон, едо, страх перед чужими лицами, сонм встречных домов и прохожих-однодневок, застёгнутых и блёклых. После чая он цепенеет, мумифицированный здесь, на дне тихой спальни, чистотой белья, отрешённый и смуглый. Все равны в грехе и в спасении, мудрость Твоя. Загорелая шея вдавлена в подушку, в белизну чехла под пламенем одинокой розы. Ему жалко, что его понесут на окраину и зароят в мазарской степи. Лучше, представляет он, сжечь его и развезть в кипящем ветре летних каникул (безобидный прах вздымается на пять метров над землёй, рассеянный в старом районе, в обшарпанных частях южного города, вокруг иссохших рёбер нищих построек). Он имитирует вдоль кровати пальцами, указательным и средним, путника, мужчину зрелых лет, направляющегося к озеру, в парк, а вместо лебедей просто желание их видеть, или пытается уснуть в течение дня, целый вечер, и эта попытка становится содержанием его сна. Под лиловым торшером смачно и строго щелкают мятниковые часы. Монстр местной акустики, сказал он, я пас. Жестяное ведро наполняется водой из крана, долго, под жёсткой стеной. Ты читал ему, по его просьбе, проповеди Экхарта, письма одного туринского писателя, покончившего с собой, пьесы иранского режиссёра, пехлевийца, живущего в Мюнхене, статьи джаидов, но в окне завелись новые облака, словно трупы в белых коконах, сегодняшним утром, и он лежал такой неподвижный, впервые чудовищно чужой для неподвижности, волосатый божок, терпеливый идол, пластилиновый патриарх, которого можно разрезать пополам солнечной нитью, прожигающей ровно и без шипения простынь. Шалфейный цвет падал на его непокрытую голову, на почерневшую от зноя кружевную поросль во дворе меж сухопарых стволов. Он чувствовал, что стремительно худеет, уходит под одеяло, под кость, заранее оплаканный и вмурованный в кожистую фигурку, сам себе готовый саван, но спальня сопела (потому что гардино и зонтичный лоскут на оконном козырьке туршали, пока дул ветерок с двух сторон, из комнаты и с улицы), когда ты видел сны, спящий в спальне, медленные анашистские образы, и столько свободного времени, что вряд ли что-нибудь осуществится. Только в ночной пустыни, в окне, урчал соседский автомобиль, включённые фары, среди побелённых известью фруктовых деревьев, и впотьмах в шлаковом тупике сплелись терновые всходы. Беги отсюда, сказал он, в поисках красоты, куда-нибудь, к другому ландшафту, к другим лицам — люди спорят о деньгах, бьют детей, садятся в машины, пекутся о семье, кивают знакомым, но твоё добро — даже не руины рухнувшей жизни, а дымок после неё, сказал он, робкий и нервный, вот сейчас, хотя через год напишешь, "теперь уже мёртвый", вот сейчас на гофрированной подушке, лёгкий и тёмный, как собственная тень, которую, кажется, соскребли с его пят, и она испарилась в нём или в первом попавшемся

куске воздуха, что поближе, и кривая лепнина наружных стен, подобранная под цвет морских волн, косилась на фермерский хребет напротив. Это солнце, финиш, сказал он, — зреющее лето (как много самоубийств в июле) въедается в его веки, в скулу, в щетину, в предплечье, в соски, в нательную рубашку, и он гасит старые счета и долги таким способом, спокойствием, культовый зверь между кухней и кабинетом, элегантный выкидыш в домотканном тряпье. Можешь чухнуть на север, сказал он, словно там не умирают. Как здесь. Классическая пыль, живая, до икр, пейзаж, пугающий и плотный, — квартал упирается в пробковый мост, за которым стелется рыжая степь; гул, бродяжничество, собака без ушей, отрезанных, спит на заплёванной земле. Ты повернул его лицом вверх, вещи, но живоде́р (в следующем окне) вынул из ведра, наполненного водой, рыбу — золотящаяся поодаль чешуя коверзной чёткостью резала диагональ между вами и широкой пылью — и кинул её в пруд, а в десяти метрах, далёкий от рук, стоял дом, упакованный в его глазные орбиты средь бела дня. Ты, ты, ты; больной дышал быстро, точно весь воздух причитался ему. Затем он говорил, говорил, не человек, а пространство для голоса, как если б он обещал это в прошлой жизни, где ему был пожалован целый год неподвижности в залитой солнцем комнате под надзором двух юношей и нелюбимой женщины. Не думал, что умру на твоих руках, когда ты прыгал на моих руках, сказал он, — белая римская вилла, выжженные прутья, мой друг в юности, такой подлинный (каждому судьба посылает одного сверстника, который тихой речью открывает ему новый мир), — это мне снится, это держит меня в любом месте в любое время, и ты подпираешь ему голову, свисающую с кровати, спозаранок, его рвёт, — но вскоре он попросит положить его на спину, смуглый и кроткий, святой перед нумидийским солдатом, сумевший нажить покой и множество морщин. Боксёр прошёл к двери через спальню, спрямляя правой ступнёй вздувшийся край ковра, и в саду кто-то бил в бубен. Блики и тени близких людей. Камни ведут к загородной бесконечности, к блестящему полю на фоне неба, забытые наглухо, — ты напряжён и пуст, когда бодрствуешь, как монголоидный служка, в его измятом изножье. Розоватый отблеск в речной воде за мёртвой заправочной станцией, за бетонной кладкой в основании холмов, и сотни воспоминаний бушуют во мне, думает он. Так и было, поведать обо всём, кому, вянущая роза на письменном столе полыхнула шесть-семь раз перед наступающей ночью. Его губы сжаты, слиплись в один шершавый росчерк (остаётся, в общем, вдыхать воздух не ртом, а всей внешностью, или потоком чувств, или чревовещанием) — я только хочу послушать "Роллингов", говорит он, взамен отходной молитвы (хорошо?). Ты не выдержал и спросил, почему вы стараетесь выглядеть хуже, — о, начинается, сказал он, где ты это вычитал. Дневной свет. Голоса в отдалении, шорох, лесник ступает по снегу в альпийской деревне, и ты забылся, угадывая кожей, что оно и теперь бесформенно, время. В одеяле ты нащупал подкову, мушиный луч напрягся на чёрно-синем покрывале, оберег, бумажные знаки наклеены вдоль металлической дуги для лошадиных копыт. Их не отогнать, мякинный жар и пот. Он повалился на пол, под кровать, и стал в отчаянии хлопать с размаху ладонью по доскам в затухающий день. Только что зарезанный петух бился о барьер в затхлом сарае. В последний раз. Боксёр несётся назад, вы повернули его навзничь, и теперь намного выше зыбились над

ним тонкие полосы трёх тлеющих окон. Этот край, говорит он, который я должен стерпеть особенно в жёлтых сумерках, настолько нежный, что тянешься к лезвию, — странно, там чирикали воробьи, здесь повторялась в одинаковом ритме мужская истерика, наливаясь и растекаясь по углам всех пяти бессонных комнат в одноэтажном доме: сейчас он даже не зритель — куча постельного белья вокруг поздно подоспевшего сердцебиения против дверных колонн, двух давящих ему в плечи жилистых тел и женщины, заслоняющей в страхе обеими руками лицо на заднем плане, прямолинейной в отвесном освещении ламп. Что за грохот, спросил он. Мотоцикл, сказал ты, мопед, и роза уронила тут же лепесток на письменный стол, на газету, на интервью с Клептоном, *Portrait of the artist as a working man*, 78 год, ноябрь. Так, по сути, сказал он, я любил не людей, но их манеру жить. Новая роза *растускает* слишком быстро — летр, пока он отражался в настенном зеркале, меньше собственного фото в девичьем медальоне, собственного инициала, собственного эмбриона, которого надо было выскоблить из материнского чрева, сказал он, — дверь и даль. Он лежал, будто на свете не осталось другого места, где бы он лежал, чтобы тем самым сторожить больного, созданного по образу его и подобию, — думаешь, всё, мир кончился, выдохся, они перестанут плодиться, однако ничто не меняется, и рядом стоит оно, мягкое и безличное, наострив уши: стены, ковёр, окна, двое молодых мужчин и жена, расплывчатые на сей раз в июньском флёре. Спустя год, внезапно, получаешь письмо от старого друга: я в ресторане (Брюссель) ем цыплёнка в пивном соусе, а за высокими окнами рыжеволосая девушка играет на лютные старинную музыку, сидя на ветру, — тоскую по дому, честно, вижу пыльные дороги и дымчатые пустыри, где сутулая шайка блатных в наколках норвила угостить нас анашой. Между тем бездетная женщина застряла в двери, не смея шагнуть в спальню, — сухой на ярком солнце дух, наделённый по ошибке плотью, которую нельзя ласкать, и светящаяся "зебра", змеясь, *переплывала с её нагого локтя на шифоньер* и туалетный столик. Помнишь? Кайф длится девять минут после письма, и вновь без слов он борется с махровой бессловесностью в прохладной комнате под ночником в затёнённом углу. Он как ребёнок, сказал ты, и присел на корточки рядом с другом подле водопроводной колонки, чьи бока из брёвен обшиты серой клеёнкой, — всматриваешься в небо и ржавую слизь в арычной луже за виноградной беседкой. На противоположной стороне в глиняный фундамент впился крепкий крестьянский столп, пахнущий сырой соломой и бычьим навозом перед заклинанием. Всё же: вы бросаёте сигареты в застойную воду. Лицо, вполне обычное даже в муках, пора идти к нему, бормочущему немо: лучшие годы, ранняя юность — щемяще-родные призраки, лунки их следов на лугу, покрытом белёсой золой. Наконец, булавоочный мопед запнулся и затих в толще стены, в бескрайней бескрайности, на шоссе, а в окне виднелась пустая уличная сквозина, подобно глухому настроению после перевезда в бедственном воздухе, и вы молчали, как если б настал момент козырнуть молчанием, однако он произнёс фразу вновь монотонным голосом, всё ещё *остерегаясь тишины: стоит вообразить человека целиком* — он исчезает, сохраняются лишь профиль, жест, кивок головы, манера застёгивать пуговицы и так далее, целиком, нет, куда же смотреть и на что подбивает меня случайность, этот мальчик, стреляющий из

самопала в стаю птиц, в то время как ты видишь во сне срамную грязь, и каждая клетка твоего существа стонет над мусорной пеной в дальнем дворе, над увесистым переплетением садовых корневищ. Свобода от свободы, мир внутри него и он внутри мира, э, шустрый, чего захотел, такое даром не даётся, сказал он, и глаза его открыты ввысь сквозь невымытый заслон бурых оконных рам. Паутина в мутном скрещении двух дувалов, не успев съёжиться, прилипла к рассыпчатой глине; тополиные листья порхали на месте от своей же лёгкости в дневном оцепенении. Где-то, в просторных участках, горело городское старьё, и запаха жжёных вещей лился в дом среди ясной погоды. Они молчали, будто воздух между ними лишился какого-то свойства, без которого голоса теряют слышимость, но маятник щёлкал терпкую песнь в жаркий час, когда ты горбился над кроватью, и женщина стоит левее, прижав к левой груди носовой платок, янтарная пыль, боксёр тоже замер сбоку, тело без опор качается, погружённое в миньеровскую муть. Солнце, потом солнце, потом солнце.

Фергана, 1995.

ЛЕТО

Он рассматривал фотографии портовых городов южной Италии. Рыбачьие лодки целый час оплывали недвижно белую береговую архитектуру и курортный пляж. Снимки лежали на столе, никто их не брал, но, впрочем, дом забит гостями, сказал он и бросил взгляд на пергаментный тротуар, мимо окна, в который раз. Над стаканом чая вился мимозовый пар: маленькие прелести жизни, колеблемые твоей замкнутостью. Суд и прощение за моей спиной, думал он, пока младший брат мыл посуду и щурился на запылённые шторы или небесные штрихи, сверлившие нижние углы дверных салфеток. Мне нравится, сказал ты, как время проносится, — дым в коричневых кадрах, ворочающийся над зрачками, и не чувствуешь ветра, который минутой раньше тасовал в заднем дворе плавную пыль, оседающую в серебристом свете на глинобитный нарыв. Человек в молочных фланелевых брюках облокотился о питьевой фонтанчик, вылепленный мраморными блёстками в содовом цвете долгого дня. Двое крестьянского вида невзрачных мужчин обошли сад и принялись долбить, киркой и лопатой, пупырчатый дувал. Перламутровая нить червиво клеилась к дверному углублению — там их шесть, нет, семь, две взрослые племянницы, две сестры, три голосистые товарки, — по сути, одна, сплетённая с извивающимся рукодельем в комнатном освещении, как с чудесным длинным драконом поверх её закрытого лона. Я вышла замуж за призрака, сказала она, слушая, как холодные капли из крана бились в целлофановый поддон, штив, штив, штив, штив — под голым небом и почтенной ржавчиной азбучный гипноз теребил твердь, хотя её муж разглядывал залитые июньским солнцем лица друзей, годая, кто же из них обмоет меня, когда я сохну. Да, сказал он, и ты на шаг отступил назад, чтоб выследить землю, на которой он держался чудом, равнинную

ть до горизонта, и внутри тебя напряжённое существо обливало кровью. Вот видишь, меня загоняют в чужое, чтоб я хватался за этот лажовый мир и сдержал какое-то обещание, о котором я давно забыл, сказал он и повернулся к опаловым гнойникам, возвышающимся в долине, — всё равно, сказал ты, что-то остаётся, что-то, утаивающее нас от сторонних ловушек, от нас самих, — образ, где селишься навсегда, образ как алиби твоей реальности в том, что она есть и пребудет, в то время как оливковый петух валялся под времянкой, мёртвый, задущенный ночной кошмой, словно зарытая в лошадиный навоз думка, избобличая некий дурной символ, первобытную кошу, кто знает. Они болтали, взирая на облака, которые плыли порознь, мужчина около мужчин, вне сезона: говоришь ладонь, и она воскресает внутри того места, где ты произносишь ладонь — совсем не та, которую можно сейчас пожать, а её старшая сестра в зазеркалье, но между снопами близиков крыш выделялся морг весь в татуировке высоких вьюнов. Самый красивый труп, сказал кто-то, помнится, его привезли в три пополуночи, молодой брюнет, ножевое отверстие ниже пупка. Я стоял над землистым посверкиванием раны, как если б мёртвый дал мне фору. Автомобильные фары шныряли внизу, как же, сын местной шишки. Я часто встречал его в старых кварталах, отрешённого и мягкого, он брёл сквозь толпу, зашнурованный, что ли, совершенно безвредный, и поэтому хотелось его тронуть. Я положил правую руку ему на грудь: тёмный гул в сердце не смыть водой из шланга. Потом небеса гудели за плоскогрудой стеной, и жар не проходил: чужое, чужое, повторил он, вернее, ты, ненавижу их миф, их скудоумие, двойственность, где... нет, сказал другой, стоит ли, то есть: стоит ли, спросил он, преувеличивать, бояться простых трудностей, простых вещей, женщину, например, задрюченный её душевной личностью, прервал ты вяло, её неумолчным животом, жизнью — нет, бояться не умереть сегодня ли, завтра (в том уголке общего двора, где подростки в неколебимой жаре сидели на корточках, покуривая насвай или анашу, теперь блестели гроздь плевков на выгуклом асфальте) — он поднялся и толкнул ставни, будто его тело само напросилось на прямое и подчёркнутое движение в просторной комнате, полной друзей. Однако он молчал, как если б не поладил с голосом в себе, который мог прозвучать в летнем воздухе всего-навсего очередным куском нетленной заурядности, вовсе не желающей всколыхнуть вас. Монохромная почва была запятнана кое-где садовым блеском, и тебя позвали к телефону, Кимсан¹ крикнула мать, тогда как старший из них рассказывал, — в общем, я остался один, без семьи, без работы, без денег, сохранились продукты в подвале — просыпался, завтракал, опять ложился. Иногда приглашала соседка на пирог и сладкий чай, ребёнку её семь лет, я возвращался домой, пожился спать, вставал с постели, завтракал, тупо смотрел телевизор, тюлевое тряпье тряслось, соседка стучала в дверь: рёбрышки фиолетовых пуговиц на её запястье переливались в балконной дымке сегментом сохлой сороконожки, и духота струилась сквозь засаленные листья в оконный кодык. Они отдыхали, десять-двенадцать уже немолодых людей, в гостиной, где им суждено слишком поздно мудреть и мужать, рассеянно любуясь разнообразием солнечных ростков и полос, которые падали на ковёр плашмя. Сухой, зубчатый свет щетинился по багряному плитусу,

¹ Кто ты?(узб.)

вдоль дверной подножки, спускающейся в сад. Мой позвоночник ныл, словно я расположился спиной к ненастью, но сзади бас и бас негромко спорили о Западе — первый цитировал фразы, сцепленные в хрупкое безличное сито, крохи тамошних реплик, которые он перенял, вернее, сцапал у хипповых актёров и студентов, типа: мы едем против ветра, и мы живы, или странный пейзаж, или мадонна санта, или чем скорее конец, тем лучше, или Бахман сторела, но кто скажет, что это не самоубийство, а второй: природа близка в Европе — в разрывах лимонных и красных домов мельтешат травянистая просинь, море, зелень массивных ольп, лесной дух, лакомая пушта в белом хуторском ожерелье. Фигуры, взвинченные до мирного гула, без пьянки, знакомый вид, и ты вышел туда, вниз, лето пировало всюю — выбранный наугад фрагмент глиняной провинции, где приятно сидеть среди тоскливых изжелта-малиновых подёнок, вертящихся за твоими глазами яблоками. Постоянно кто-то доносится, признался он, двойник, муха, трава и следом трава, не вырисовываясь целиком на дороге и в жесте или квитаясь за шесть минут покоя, которого, казалось, хватит на год. Затем они устроились в его кабинете, снабжённые ворсистой неподвижностью стульев. Всюду натякаюсь на твои волосы (жена, сестра, дочь?), укоряла она, представляешь, на кухне, в спальне и ванной — слава, грех, очёс и комки слов, ты их помнишь, угодивших в целительный поток? — зрелость вправе забыть. Городские реки шумели под мостами, запутавшись в собственной текучести, которой никак не удавалось их переварить, — щелястые камни толпились против течения в пенистых могилках, сейчас и присно. Месяц за месяцем. Разрозненные крики, дни, впечатления, комары, клочья и женщины, здесь и там, найденные и прошитые одним мозком, в лучшем случае двумя в будничном равнении. Так он лежал на кровати, вперив пустой взор в потолочный скат, низкий, над ним — клейкое напряжение облепило его ячеистую кожу и наплодило в ней бесприютность, тысячи томлений и фобий. Наконец что-то менялось, множество людей. Был особый шик в том, как он стоял перед лопающейся коркой двустворчатой двери, точнее, царил в помещении, скрестив руки на затылке, — не столько слушал, сколько втягивал в сторонке блёклую беседу приятелей, но внезапно присел на корточки, словно сник, и ты подумал, наверно, пробил час иных чар. Ты рассказывал, длинноволосый пьяница петлял по тротуару в мышиноного цвета вельветовых джинсах, ангел Вудстока, брат, крикнул он, ударь меня по голове, но я прошагал мимо, ладно, так Бог посылает небесных слуг, чтоб испытать нас, и в самой вульгарной обстановке коренится шок. Обрывки льняных и грязных лоскутеев ползут по водопойной полосе, окаймляющей синий дом, который будто выклянчил уединённый и сочный уголок у здешнего края, отыскав последнее пристанище тебе, сорокалетнему трупу. Друзья друга. Безмолвие близких иной раз переходило в тишину жилистых полей и на манер качелей спешило вспасть в скачущий по звукам рот, как просфора. Вниз по реке, вот куда, бледный и совсем истощился, сказала она и села ему на колени, жрица, но её подруги босиком прошли по змеистой пыли, ещё не политой из дождевальных установок, по тротуару, блуждающему среди пологих пустырей, — там тянуло тенями тех, кто умер в младенчестве, но подальше робко ладилась протяжённость костяных крестьянских строений, вдавленных в остматический и серый чад. Настежь открыты однотонные

ворота, и бархатные лучи в проёме поровну делили перекрёстные деревья, но оттуда, с улиц, хлынул в ноздри матерчатый хмель брачной спальни: день. Они играли в карты. Небо отражалось в зеркале над умывальником, поддельваясь под вылезший из орбиты глаз, какая разница, где лежит предмет, — облака гнездились по центру полированного трюмо, в зеркальной сетке, изображая гобеленный bestiарий. Мятая дама червей под пальцами, лучшие в земле. Такое стоит раз увидеть, как рухнет твоя отдельность в мгновение ока, идеал, хваленые годы, страсть: татарское кладбище, где он похоронен, выкопан и заново погружён во тьму, пока под соляной мощью плавилась треснутые продольные стёкла меж двоянной форточкой и твой скелет, даже в холодке нервной постели, — ведь, сказала она, львиную долю дня ты проводишь во сне. Кто? Что-нибудь ещё? Морской ветер, одиночество в ничейном порту, однако он бросил десятку треф и чёрного короля на игральную клеёнку, и карты легли неподобие мазарских плит, на которых моляной кистью выведен сунбур букв и цифр. Он опустил голову, читает книгу, стены оклеены пёстрой символикой, и с трёх сторон обои уставились на мужскую фигуру, обнажённую до верхних брючных пуговиц. Струйка пота пересекла грудную мышцу, не повредив её, не порезав мускульную мякоть. Между прочим за тобой, вровень с твоим предплечьем, залегла кустистая межа вдоль мечети и махаллинских столбов, четыре сотки, но: лето, в котором отец всех эпизодов анонимен, — это выжидающий хаос, везде, везде, покамест друзья воскресничают вокруг обеденного стола, и борзое солнце по-прежнему плещется по тёмной жести смуглых лиц, и ты выхватил из толщи вечных гостей, склонённых над жарким, салатом и чаем, понимающее дрожание губ лучшего друга, смотрящего в сторону: взгляд его занят перечислением складок мерцающих и дряблых занавесок, в которых затеряна медленность, с какой ты задёрнул их, и чувствуешь нехватку времени, источившегося до резкой моментальности и забытья. Как же умереть, думает он. С потолка свисает ламповый провод. Позже надо разобраться с ними, рой картин, позже, насладиться их неясностью и кружением. Тем лучше. А сейчас: вы, двое, отделены друг от друга (тридцать-сорок метров) — он в рубашке навыпуск бродил за каучуковой осыпью и кирпичным сораем; ты стоял на веранде и наблюдал за его прогулкой: повернул голову, словно засёк расстояние движением шеи, — человек добрался до развалин старого сада и поплёлся обратно, к тебе, за твою спину, где продолжил приятельскую свару вполголоса ни о чём, обо всём, ни о чём. Взять бы камеру и снять, но: зачем? Гость сосал из гранатовой щели сок, и красные зёрна посыпались на пол немного отчётливей сна. Ты (он) видишь тонкий паз в бетонном переплёте за дверью в мглистый зал и думаешь, когда же мой черёд, почему нет. Мужчина поставил сморщенный гранат на стол возле снимков итальянских портов. Твой двоюродный брат (или кто он?) примостился на краю пружинистой койки. Кое-кто входил в смежное помещение — ступал в коридоре на ковровую дорожку и среди её пунцовых подпалов, как в реку, погружался по колено в блестящий и сорный сквозняк. Почему нет? Двадцать лет назад он провёл вечер в чьей-то летней каморке в компании нескольких юношей, трое были с жёнами, ещё тёплые и живые, а в углу уютно шипел расхристанный диск, *The story of Bo Diddley, Animals*: ныне мертвы, и такое чувство, что ты норовил всего лишь покрыть красивую

крепость, голос Эрика Бартона, жующий под иглой названия групп в колдовском ритме. Я боюсь себя, сказал он, и, бывает, не в силах даже сдвинуться с места, мрак или день, в сердце захлёбывается крошечный прибой, который никак не денется куда-нибудь за кровать, наружу, на пол — твой бесцветный излишек. Под солнцем капли барабанят из кривого крана в бельевой таз, карты в его руке, туз червей и валет бубен, бритый череп пригородного незнакомца, шагающего по угристому щебню, в переднем окне. Жёлтой жертвой оса влетела в коридорную светотень и метнулась в женскую половину, где её мухобойкой хлопнула сразу стоящая на стрёме внучка твоей тёти по отцу. Внутри пейзажа зреет случай, творимый самим пространством, сказал он, — детство, мальки, которых они ловили с другом в канаве, благословенные семечки пота вокруг полуоткрытых ртов на обожжённых лицах, — наводили там шмон, а потом в той же декорации спустя столько-то лет они поймали её в кинотеатре и ночью отправились к ней, чтоб, зодыхаясь в поцелуях, поднять первую самку в её цветастой спальне, где женщина веской вялостью голых рук показала им истину, хотя через неделю она пригласила их к себе и познакомила с мужем, который сыграл какой-то этюд, и пальцы его порхали по клавишам немецкого пианино, пока они ёрзали на диване и обменивались резкими взглядами, задолбанные таинственностью жизни. Сияющая пыль бороздила поперёк уличный воздух: вот, каждый раз так, сказал он, скорей бы луна, свежесть, эндимионский простор. Он закрыл глаза, затравленные зрячестью или закатом, в котором возник нечётко и безнаказанно ради него, ради тебя давний вынос тела на инкрустированных носилках под тройным куполом, будто память сама подвернулась под руку; вытянутая выемка на полу превратилась в жёлчное отверстие, где бесилась бескрылая муха, и вдруг эта длинная дыра сошлась с линией девичьих губ, потакающих словам: хорошо, сегодня, ваша мама, не знаю и так далее — дочь одного наркомана, помогающая твоим женщинам в уборке. Он сдвинул и перемолол пяткой, словно тупым буравчиком, в ядовитое крошево сигаретный фильтр, взял стакан и хлебнул простуженный чай. Им уже сорок, зной и смерть. Ладно, сказал он, давай послушаем, включай маг, сперва Пол Роджерс, ещё Ночь в белом сатине, ещё Вейкман, его Король Артур, выманивающий сюда девушек и пепел прерафаэлитов, — рок и солнце. Что бы мы делали без них? Что, спросил тот, другой, и вы замерли, мурашки по коже, музыка, молчали до потери пульса, впившись лицами в розовеющий небосклон. Кишлачные дома напоминали с холмов коровий ком, плоские, зашуганные заходом солнца или хроническим безлюдьем. Щупальцы растущей тени тянулись к сердцу, как в фильме Мурнау. Земная скука застыла, будто бич, и мир лёг у вечерних границ междуречья. Когда воцарилась тишина, он прыгнул в бассейн и лишь под водой понял, сейчас увильнуть, спрятаться, сойти, расплющенный по точёному дну, как слизень, раздавленный рифлёным каблуком, и ты вынырнул: горсть воды вместо крошащихся костей. Окраинные пачуги жались к низине, вдалеке.

СЕАНС

рассказ

Эта картина изображает голубую фигуру, просвечивающую в том, что кажется плотной октябрьской дымкой, — угадываются отрывки других лиц и некоего пейзажа, — но на самом деле должно быть непроницаемо тёплой стеной, затерявшейся на окраине небольшого города. Эта окраина занимает в твоей жизни место вида, наплывающего в полусне или проглядывающего в незнакомых строках. Однако когда сосредоточиваешься, чтобы её вспомнить, ощущаешь томительно мягкую белизну, плавно выводящую тонкий удлинённый абрис бровей, носа и губ — непрерываемо поджатых и как будто мешающих заглянуть в глаза, делающих невыносимой маленькую мочку отставленного уха. Поэтому образ расплывается в голубизне мысленного города, и кажется, что эти черты подстерегают тебя в каждом лице, которое может промелькнуть в тени бесконечно прямых аллей.

Платановые бульвары, прямо и непрерывно идущие ряды низких голубоватых домов вспоминаются в этом загадочном городе, который вопреки всему хочется назвать своим. Эти мысли сливаются в шёпот древесных крон или бормотание сточных ручейков, никогда ничего не называя, не вызывая на улицы ни души. Они перепутываются, как нити затуманивающего видимость дождя, в странные партитуры, которые однажды разыгрывались перед тобой в сумраке небольшого кинотеатра.

Точнее сказать, это старое здание клуба, бывшего "ринга" или "паласа", со скрипучим запущенным залом, в котором никогда, по всей видимости, не проходит зима. Чаще всего в разорившемся кинозале держит собрания община танцующих евангелистов, и тогда всё содрогается от их топота, а балкон грозит рухнуть с чудовищным скрипом нестройного хора. Однако же раз в неделю, иногда в две, сюда всё ещё сходится на благотворительные сеансы публика местного кинолектория.

Тёмными вечерами зал едва освещается двумя лампами, оставшимися в светильниках боковых галерей. Никакого звонка нет, но на кажущиеся очень далёкими выкрики отживших служительниц ряды сразу и как бы по уговору начинают заполняться созданиями самого разного вида и возраста, иногда их ведут нечистые юноши поэтического склада или потеплее закутавшиеся старики. Вскоре в зале теснится аудитория, прекрасность которой теряется в её пестроте: всё, что могло быть прекрасным или пропащим, и всё, что может быть отцветающим или чахоточным. Ветер, сквозящий с улицы, продувает еле искрящиеся

снежинки по пустым галереям балкона и покачивает похожую на колесо мёртвую люстру.

Завёрнутый в шарф седенький лектор еле выжѣвывает нечто со сцены, и никто не обращает на него внимания, даже не видно пара, который слетал бы с его губ в простуженный воздух. Весь зал дышит дымками, стекающими от термосов и украдкой закуриваемых папирос, из-под воротников и ладоней; они собираются под сводами и их туман рассеивается, оседая на люкарнах пятнами изморози. Можно подумать, что седенький лектор покачивает им на прощание головой и делает едва уловимые жесты руками. В действительности он необычайно занят той лёгкой облачностью, которую показывают в центре зала просачивающийся сверху лунный свет и тусклое освещение пары лампочек.

Облачность свивается, вырисовывая причудливые белые фигуры. В их неустойчивых линиях, похожих на нотные или хореографические записи, — хотя бы на змеящуюся и, как говорят, выражающую планетарный ритм линию контрданса, — и правда читается картина целого мира. Все манёвры и скачки гарнизона, все визиты и танцы в обществе, интриги и драмы, воображение рисует военные оркестры и балльные пары, белесоватые образы, растаявшие в городке, выстроенном у границ пустыни по приказу Белого Генерала.

Вот что занимает седенького лектора, и ему кажется, что он правит или, по крайней мере, удерживает некие нити необычного оркестра, для которого главное растаять, как пар. И остальным кажется, что все они уже более или менее исчезли и довольны в своих краях, хотя жизнь всё ещё обкатывает и сталкивает их, как дробь в игрушке.

ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД

Казалось бы, ты здесь недавно, приехал совсем накануне: однако ничто на пути — какая-нибудь зацепка, случайная сцена, надпись над дверью, — не удерживает внимания, изглаживаясь, как минуты, подчинённые незаметно скрадывающемуся прерывистому дыханию окружающего города, замершие на времени, обозначенном автобусным билетом, который каждый раз заново комкаешь в кармане. Когда забываешься в скудно обставленной комнате, то же неимоверно ускорившееся дыхание нарастает в воображении: холодея от усилия, пытаешься уследить, чем питаются изнутри эти глухие вздохи инородного организма, сокращающегося в твоём сне и как бы рисующего смуглую смутно знакомую фигуру, — может быть, из забытого цирка? — которая неуловимо перемещается во мраке без видимых движений, завораживая, подчиняя себе и перехватывая дыхание, как сомкнувшаяся над головой вода. Ночью смутно мерцающий под луной город вырисовывается во всём своём отчуждении, которое напрасно пытаешься разглядеть и преодолеть, цепляясь за любой мелькнувший в далёком окне свет. Должно быть, это необъяснимое усиливающееся от жары отчуждение делает невыносимыми закрытые стены, каждый день выводит тебя бродить под солнцем, на которое ты не можешь поднять глаз.

Этот город кажется бесконечным в его перепутывающемся и

гипнотизирующем однообразии, однако вопреки всему и даже желанию тебе всегда удаётся, как будто по давней, ничего не удерживающей в памяти привычке, выйти на обратную дорогу. На пути тебе редко встречается что-то помимо непрерывно ведущих в сторону саманных стен, из-за которых едва видна выжженная садовая зелень, и нестерпимых перекрёстков, которые преодолеваешь, даже не сообразив, во сколько раз разошлась улица. Иногда, и всегда внезапно в этой тиши, тебе попадаются навстречу фигуры, — пасущиеся это животные или задрапированные от пекла прохожие, стоят ли они в группах или проходят поодиночке? — однако ты спешешь мимо в страхе как будто перед собственной неожиданно вырывающейся тенью, опасаясь мгновенного и смертоносного выпада, в котором могут раскрыться чьи-то черты. Но ничего не происходит и даже не угадывается вокруг, хотя в застоявшемся прокалённом воздухе витают, то и дело перебивая друг друга, мириады секундных веяний, создающие впечатление переполненной жизнью пустоты. Иногда в приотворённые сбоку двери или в случайную пробоину стены мельком выглядывают какие-то смутные в зелени пёстрые сцены, — может быть, это прохладный уголок сада или просто цветущий домашний двор? — вызывающие нечто знакомое; однако они не задерживаются и, более того, никогда уже не встречаются на вроде бы обратном пути по той же улице — если только её можно узнать по скучным и одинаковым для всех этих заплетающихся кварталов приметам. В любом случае, это скорее всего лишь расплывающиеся образы прошлого.

Предположительно, этот город действительно бесконечен или, по крайней мере, безграничен и чрезвычайно обширен, насколько может за столетия разрастись поселение земледельцев, пядь за пядью осваивающих пустынную местность перед лицом общей опасности или под одной безжалостной рукой. Жизнь не изменится и будет повторяться в напрасно обнадёживающих изворотах удаляющихся кварталов, в сомнительных неожиданностях пути, ведущего с прежней неопределённостью. Если захочешь выбрать себе свой клочок земли, заметишь, что незатухающие болезни, резня и вымирание освободили тебе множество одинаково убогих комнат с засаленными одеялами на земляном полу, немногословной утварью и окном в пустырь сада: таких же, как та, в которую ты заходишь время от времени, всегда по пути. Однако что можно заметить, кроме того, что подсказывают выкуриваемые в мозгу внутренние картины? Здесь даже не прочтешь надписей, которые обычно зазывают приезжих, ведь никто не едет сюда и кто мог, ушёл. Изредка встречающиеся молчаливые группы бродят, высматривая себе вымершие дома получше, в местах, где поплотнее народу. Их собственные дворы вытаптывает отбившийся скот.

Всё, что здесь удаётся держать в памяти — выхваченный из некоего мрака кусок шероховато замазанной стены, почему-то напоминающий тёплую непроницаемо густую пелену палевого тумана и как бы вобравший всё твоё состояние. Нечто иное и тревожащее чувствуется в этой непроницаемости и в навеваемых её видом мимолётных несхватываемых формах. Вместе с тем, отдаёшь себе отчёт, что это всего лишь навязший в уме отрывок неотступно сопровождающих тебя стен, из которых соткан необозримый город, сейчас дышащий теплом в плотной ночи.

Нестерпимый озноб пронизывает, когда вдруг совершенно отчётливо

узнаёшь перед собой этот выступающий в сумраке кусок стены, яркое пятно, пролитое в зарешёченное окно высоко заострившейся над дымящейся пустошью луной. Сидя на полу, всем своим онемевшим телом пытаешься сообразить, что это, холод подкатывающего изнутри кошмара или просачивающаяся в негодные рамы осенняя стужа, обволакивающая и вытравливающая последние образы, нагретые сновидением. Ветер вызывает в стёклах мелкую часовую дрожь. Что в темноте, что крепко закрыв глаза, уже не справиться с болезненно завладевающей отчётливостью стены, которая пройденным за годы наизусть и въевшимся всеми фибрами в душу путём продолжается, ломается на углы, запирается на металлический глазок коридора и сходится на тебе, замуровывая.

ДВОРЦЫ МЁРТВЫХ

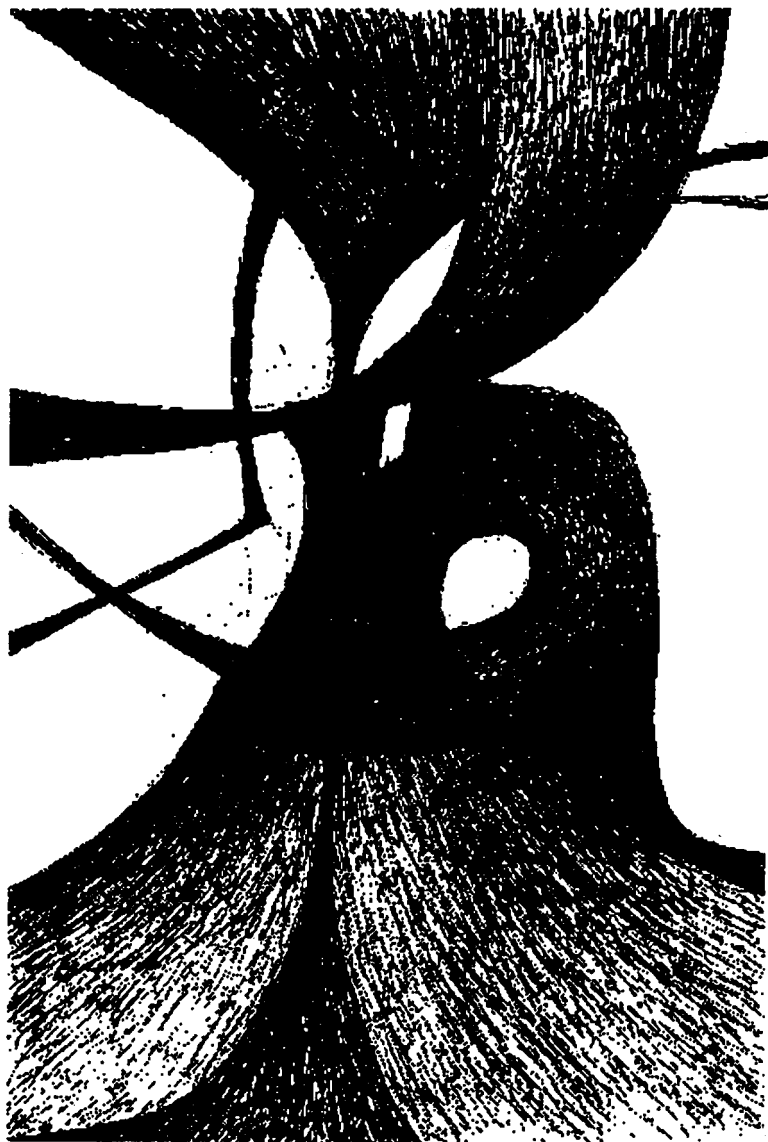
Стоит погаснуть ночным откликом, удерживающим во мраке фургона мою полудрёму, и тишиной завладевает кристаллический шорох, засвечивающий в уме тусклые аномалии сновидения. Не знаю, когда именно он стал так отчётлив. Мне было известно о нём и раньше, но испытал здесь впервые это своеобразное ощущение свивающегося ничто, настолько подходящее характеру окружающей нас уже который день полупустыни, я научился ясно проследить его ночью и даже днём, когда необозримый путь отвлекает меня от обычных дел и разговоров. Не знаю, как улавливаешь его звук, — точнее, отсутствие звука, — и что он внушает: нить сновидений, вроде бы возвращающих меня к покинутой жизни, развивается на незнакомой ноте в странные образы моих воспоминаний, переиначивающие всё, что я знаю и мог бы узнать наяву; оглядываясь вокруг на однообразно растелившуюся местность, я различаю в себе эту же ноту абсурда, которая оправдывает и неизвестность края и бред нашей маленькой экспедиции. В пустынном ландшафте исчерпываются все возможности и не происходит ничего, потому что всё в равной степени вероятно и немислимо. Однако на каждом шагу в его пределах попадаются явные признаки жизни, и за последние годы именно это сделало поездки в пустыню настоящей манией.

Пейзаж, в который мы углубились, напоминает перекатывающиеся по пути выгоревшие и вытертые бока не в меру распростёртого гепарда; военная дорога, видимо, проложенная ещё во времена похода имперской армии на оставшуюся далеко за спиной межгорную долину юга, теряется впереди, словно уходит в эту рябо холмистую землю. Только благодаря нашей провезжей нити мы до сих пор не теряем ни ориентации, ни рассудка. Окружающее впитывается в нас подступно и всё глубже. Эта пустыня иногда покрывается переливающейся зеленоватой или розовой паршой, обрастает пятнистыми клочьями и мутирует, сокращаясь у нас на виду, как живой организм. Мы догадываемся, что истинные очертания её достаточно ровного на первый взгляд пространства должны вступиваться в колоссальные цепи, гряды и впадины, недоступные нашим масштабам. Ночью она вся сжимается вокруг, расплываясь на пятна, еле флуоресцирующие и выкуривающиеся в туманности неба, в бесчисленные звёзды. Когда утром трогаемся с места, этот клочок пустынной степи как бы не даёт нам вырваться, долго не расступаясь на нашем полном газу

и впитывая в себя дорогу, будто собирается нас поглотить. Однако на солнце в небе постепенно сгущаются тени, вскоре проступающие вдалеке новыми холмами, взламывающими и комкающими прежний вид.

На неизмеримой высоте в этих холмах различаешь странные белоснежные фигуры, отчасти напоминающие некие памятники или здания и поэтому — миражи. Старые географы уверяют, что здесь у подножий в низинах изредка, по идее, попадаются полузатоптанные пустыней хутора, — бывает, небольшие аулы, — бывших не то кочевников, не то беглых людей, которых когда-то готовившееся к великому походу командование поддерживало на этой земле, избегая угрозы неведомого простора, как своих граничаров. Мы и правда порой едва различаем с дороги некие урочища, хотя они выглядят необитаемыми и походят, скорее, на обнажившиеся доисторические остовы или на норы каких-нибудь очень крупных ящериц вроде варана. Не видно, что могло бы поддерживать людей на бесплодной обезвоженной земле, в жару, в зимнюю стужу и на немислимом ветру. Однако те же книги, бывает, ссылаются на видных в прошлом специалистов по их происхождению, быту и даже наречию, хотя вряд ли здесь может возникнуть нужда перемолвиться или что вспомнить. Ни эти книги, ни эти мои путевые заметки, которые я сейчас, оглядываясь на обступившее, перелистывая, не убеждают. Здесь почему-то преследует мысль, что все наши кажущиеся достоверными факты или истории — всего лишь слова, с помощью которых нам едва поддаётся даже не картина, а слабый намёк на ощущение чужого мира, где никакого прошедшего нет.

Один из упомянутых специалистов пишет, что едва различаемые нами в холмах белоснежные фигуры вблизи действительно окажутся пышными возносящимися, судя по всему, гробницами семей или целых кланов, и соотносит их с предположительно разбросанными в низинах жителями. Приблизившись, можно рассмотреть, что они сложены из дымчатого белесоватого камня, играющего на солнце всеми оттенками, которые издали сливаются в белизну снега. Странно думать о диких и вероятных обитателях залежных берлог полупустыни, представив себе величественное и варварское царство нагорных палат. Это именно здания, каждое взматается в вихре причудливого архитектурного разнообразия на головокружительную высоту, вызывая в памяти воспетые покойным Эдуардом Родити башни молчания: буйные резные поросли выстраиваются из неотёсанной грубости, грозди изошрённых фигур теснятся под вспенивающимися грудями искусно наваленных валунов, змеящиеся лианы орнаментации нависают над зеркально отполированными стенами; самые странные статуи, балконы и башенки выступают из этих зданий, испещрённых глубокими нишами самой различной формы. Кажется, что многие поколения разных сменяющихся народностей возводили эти своеобразные строения, которые выглядят так, как будто их мгновенно высекло из одной глыбы. Кажется, что вечности не хватит, чтобы как следует проследить действительно безграничный рисунок загадочных зданий "города мёртвых", и никогда не удастся прийти к их решению; однако неизвестно, пытался ли кто-нибудь до сих пор сделать хотя бы шаг в их направлении, и неизвестно даже, мертвы они или нет.



Графика
Вячеслава УСЕИНОВА

Григорий Капцан

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Можно вернуться в страну взглядов или жестов
и случайно умереть там, вместо птицы или лошади.
Люди не заметят исчезновения, смерть
лишь картинка, которая иллюстрирует движение,
причём, часть движения. Ведь жесты и осколки
взглядов, как письма, ложатся у дверей, на
ступенях, где солнце и вечер делятся столетие.

Это можно представить, как мы, освещённые
уходящим солнцем, сидим у стола, спиной
к дверям и каменным статуям. На картине
Брейгеля "Слепцы" я видел такое же напряжение
и пустоту, охватившие фигуры нелепого падения.
Сейчас мы встанем и спустимся вниз, где висят
лоскутки в ветвях инжира. Бывает время, когда
нет сил встрепенуться, ожить.

А музыка — скальпель, срезает цветы под корень.
Я взял свою ладонь и словно на диске телефона
набрал номера лилий и ирисов.

ТЕЧЕНИЕ

В этом мире мы — островки, сплавленные любовью.
Мы, искорки, вспыхивающие в тумане тропы.
Слева окраины городов и пустошь болотистых мест.
Справа бесчисленные вспышки наших движений.
Впереди безмолвие нашей цельности.
Мы идём, почти обнявшись, не касаясь друг друга,
между сферами прошлого.
Впереди всё то, что невозможно убить.

ПЕСНЯ БРОДЯГИ

Пока он бродил по саду кукол, исчезло многое от чего он бежал. Возвращение больше не пугало его.

Пока он бродил по саду кукол, некоторые из них научились говорить, иные — плясать. Это забавляло его в нестерпимые часы бесконечных закатов.

Пока он бродил по саду кукол, зима успела смениться другим временем года. Планировка сада больше не вызывала мысли о переделке. Сад вышел победителем, он больше не хотел ничего менять.

Пока он бродил по саду кукол, возникли новые персонажи. Они поджидали его у входа, по-разному выражая своё нетерпение.

Пока он бродил по саду кукол, сон был его естественным состоянием. Теперь, чтобы уснуть, требовалось усилие. Сон не приходил просто так, а всегда требовал какого-нибудь подношения.

Пока он бродил по саду кукол, он основательно забыл прежний порядок вещей. Это пугало его. Он беспокоился о своём будущем.

Пока он бродил по саду кукол, многое раздражало его. Теперь он перестал испытывать такие чувства. Планомёрное перемещение предметов в пространстве стало единственным объектом его регулярных наблюдений.

Пока он бродил по саду кукол, он окончательно утратил представление о том, где находится. Потеря ориентировки придавала выходу из сада характер рискованной авантюры. Проще было бы остаться в саду.

Пока он бродил по саду кукол, он старался не забывать об упущенных возможностях. Теперь само существование этих возможностей вызывало беспокойство.

Пока он бродил по саду кукол, выяснилось, что в своих путешествиях он не так уж одинок. Кроме того, обнаружилась и множественность садов. Хотя его собственная ситуация от этого и не менялась, наличие бесконечного ряда подобных заставляло быть более равнодушным ко всему происходящему.

Пока он бродил по саду кукол, у него выросли длинные волосы, борода и усы. При выходе из сада ему предстояло от них избавиться. В новом мире, куда он вступит через несколько минут, его ждут извилистые дорожки из красного кирпича, обложенные плотно слежавшимся дёрном. На пересечениях будут стоять пустые потемневшие мраморные постаменты, на которые ещё предстоит водрузить новые статуи.

Он входит в сад кукол.

Из цикла "Сомнение в существовании литературы"

"Сколько ни уходи, всё равно не придёшь."
В метафизике вязкой тщетно шарит рука —
ей не встретится ужас прозренья.
Это игра повторений: расплавленный нечет и чёт
ни за что не сойдутся, хоть в каждом таится угроза
схожденья.

Совершая усталый полёт
над поступками, тяжесть которых — унынье,
исполняя свой узор, как ни прост он
и как ни далёк от вчерашних.
Пожалуй, это не стоит клубящихся попусту звуков
(и шагов, и всего),
а встречаются чаще:
холод тяжких узлов бечевы, уходящих к подножью,
к вырождению смыслов, значений, сомнений, основ,
но рассыпья...

рассыпья, как каменный свет
электричества в стонущем ртутном накале.

Уходить слишком просто,
забудь и попробуй остаться
в тишине, где свербит лишь сверчковая песнь,
остойся на месте,
не двигайся и не смотри
в ночь, в туман, в немоту, в пелену вырожденья.

Из цикла "Сады герметизма"

НАБЛЮДАТЬ

"Когда зубчатый край силуэтов квартала..." — день.
Наблюдать — это тоже, наверное, — жить.
Голубь мечется в крике, мотор за стеною,
уходящий квадрат, шуршание насекомых (игра).
Удивленье стеклу — прозрачной преграды загадка,

ты — в ячейке пространства (бескрайние соты).
Потом, взлетев — невысоко,
смотреть с жалостью на тело-источник. Покой
(синие складки воздушных чертогов), обретение,
когда взгляд только горний возможен. Останься.
Я буду рассказывать, слушай:
"Когда зубчатый край силуэтов квартала..."
Город — что пейзаж, где в роще домов затерялся..."

Ты, по-прежнему, голоден (лунный взгляд
для тебя нарисован). Кольца, браслеты событий —
их вытачивал гибкий изменник,
проникающий внутрь.

Остаются огни фотоснимков, косые неловкие, звуки:
там стопа снизойдёт на упругость асфальта, дождя,
пирамиды. День.

Виктор Райкин

ВЗРОСЛЕНИЕ

Человек и Природа в американской поэзии

"Я в Природе невозмутимо спокоен"

Уитмен, 1860 г.

*"...до свидания, природа,
ты столь же великолепно
сколь скрытно... Я здесь
чужой"*

А.Р.Эммонс, 1960-е годы

Современная американская поэзия началась с Уолта Уитмена, с его великой и единственной книги "Листья травы". Его заслуга в том, что он дал соотечественникам новое и сильное переживание — переживание безграничной свободы Человека как природной стихии. Поэзия Уитмена снимает почти все проблемы, мучившие поэтов-предшественников и завезённые из "Старого Света", и решает одну: как вместить в себя, как пережить всю безмерность свободы. Если до Уитмена Человек жил и действовал на фоне Природы, то у Уитмена он сам осознаёт себя Природой, одной из её равноправных стихий.

Мы сами Природа, и долго
нас не было дома,
теперь мы вернулись
домой *(пер. К.И.Чуковского).*

Природа у Уитмена наделена абсолютной свободой и разумностью, а Человек — её лучшая часть, её высшее творческое достижение. Но при этом он не тождествен Природе, потому что обладает самостоятельным сознанием, волей и правом выбора. Человек — это тот,

Кто вмещает всё многообразие и сам — Природа,
кто высшая точка земли,
грубость и чувственность земли,
великое милосердие земли и её равновесие...
(пер. В.Райкина).

В Человеке Природа осознаёт себя самоё, но и он должен понять свою природность. Следовать ей никак не означает наступать на горло своей свободе или человечности, совсем наоборот: это означает безмерно расширить её границы. В этом, по Уитмену, заключается высшая мудрость.

Уитмен создал прецедент такой свободы и такого взаимопроникновения Человека и Природы. Для его стиховой реализации понадобилась соответствующая форма — "свободный стих", или верлибр. Подавляющее большинство американских поэтов 20 века писали (и пишут) верлибром. Но ни у одного из них Человек не переживал такой огромной свободы, не бывал в такой согласии с Природой и с самим собой.

Уитмен создал поэтическую "американскую мечту".

Сознательно опуская целое столетие и многие замечательные имена и преломления интересующей нас темы, мы хотим сразу же попасть в нынешнюю ситуацию переживаний "американской души".

А.Р.Эммонс*. Этот крупный поэт, чьё творчество широко признано в США (об этом свидетельствует хотя бы перечень полученных им литературных премий), пока что совсем не известен нашему читателю. Выбор наш пал именно на него потому, что развитие темы "Человек и Природа" достигло в его творчестве качественно нового состояния: Человек сознательно отделяется от Природы и хочет уйти в свой, человеческий, дом. Именно хочет, однако совсем не уходит, вернее, уходит в одном стихотворении, чтобы в следующем вернуться обратно и продолжить свой бесконечный диалог с Природой. Их взаимоотношения напоминают конфликт между матерью и взрослеющим сыном: взаимное непонимание, разрыв, уход, возвращение — этот цикл повторяется вновь и вновь. Человек обращается к Природе не за мудростью, а для того, чтобы получить подтверждение своего права на автономность, на уход к себе — в город, в интеллект. И не получает ответа. Тогда он делает попытку воссоединиться с Природой:

Иногда почему-то
кажется что достаточно просто
видеть и слышать то что
происходит вокруг тебя
отдав своё "я" на милость
камням деревьям песчаному
корьеру
озеру сосновой роще

потому что знать своё "я"
ничто
перед тем чтобы увидеть его

* А.Р.Эммонс — современный американский поэт, философский лирик, автор 18-ти поэтических книг (первая — в 1955 г.), лауреат Болингенской (1974), Национальной Книжной (1973) и многих других литературных премий. Родился в 1926 г. близ г. Уайтвилл в штате Северная Каролина, участник 2-й мировой войны. Сейчас — профессор Корнельского университета. Живёт в г.Итака, штат Нью-Йорк.

так как видит галактика
или кедровая шишка —
словно оно никогда не
рождалось
и смерть перед ним бессильна

Так начинает Эммонс одну из своих попыток взглянуть на себя как на часть Природы. Но пока длится стихотворение, он приходит к пониманию того, что это невозможно:

Я не вижу
в падубе Бога не слышу песен
из сломленных трав:
Гегель — это не зима не
жёлтые сосны
солнечный свет никогда не
слышал о дереве

Моё "я" в плену у враждебных
тел... (пер. В.Райкина).

Природа устроена совсем по-другому. Человек в ней не может чувствовать себя дома и должен уйти. Но как покинуть "родительский дом"? Где найти новый? Какие новые ценности займут место старых? И как построить свои взрослые отношения с вечно молодой "матерью"?

Поэзия Эммонса — это преодоление "болезни роста" Человека. Переживание ситуации конфликта с Природой и выбора своего пути.

Приводимые ниже два стихотворения относятся к разряду программных для каждого из этих двух поэтов, наиболее полно и определённо выражая их философию и нравственные позиции.

У. Уитмен

НОЧЬЮ У МОРЯ ОДИН

Ночью у моря один.

Вода, словно старая мать, с силой песней баюкает землю,
А я взираю на яркие звёзды и думаю о тайном ключе всех
вселенных и будущего.

Бесконечная общность объёмлет всё, —
Все сферы, зрелые и незрелые, малые и большие, все солнца,
луны и планеты,
Все расстояния в пространстве, всю их безмерность,
Все расстояния во времени, всё неодушевлённое,

Все души, все живые тела самых разных форм, в самых разных
мирах,
Все газы, все жидкости, все растения и минералы, всех рыб
и скотов,
Все народы, цвета, виды варварства, цивилизации, языки,
Все личности, которые существовали и могли бы существовать
на этой планете или на всякой другой,
Все жизни и смерти, всё в прошлом, всё в настоящем
и будущем —

Всё обняла бесконечная эта общность, как обнимала всегда
И как будет обнимать, и объединять, и заключать в себе.

(Перевод А.Сергеева)

А.Р.ЭММОНС

ГАРОЛДУ БЛУМУ*

Я взошёл на вершину и стоял в высокой ноге
вокруг суетился растерянный ветер
я не слышал его бормотанья и сам
не мог заговорить с ним:

всё же я сказал словно чужаку в моей оболочке:

я сейчас говорю не с ветром:

ибо природа вознесши меня так высоко

прогнала меня из дому

здесь ничто не напоминает меня:

при слове "дерево" моим глазам давали дерево

при слове "камень" давали камень

на ручей на облако на звезду

в этом месте давали мне строгий ответ

но где же здесь образ ТОСКИ?

Я дотронулся до камней до их странной кожи

я отслоил кору карликовой ели

я заглянул в космос и в солнце

но ничто не отвечало слову ТОСКА:

я сказал: до свиданья, природа,

ты столь же великолепно сколь скрытна

твои языки возвратились в родную стихию

и замолчав ты не впустила меня к себе: я

здесь чужой как пришелец из других миров

и я спустился вниз набрал глины

и вылепил образ тоски

и поднялся с ним на вершину: сперва

я поставил его на вершинный камень

* Гаролд Блум — известный американский критик.

но он показался здесь лишним: потом я отнёс его
к крошечным елям
но и там
он оказался совсем чужим
и тогда я вернулся в город и построил дом
и поставил в нём этот образ
и люди вошли в мой дом и сказали
вот образ тоски
и всё теперь пойдёт по-новому

(Перевод В.Райкина)

Итак, на этом мы остановимся. Мы зафиксировали два момента развития темы "Человек и Природа" в американской поэзии, взяв за основу их различие, если не сказать противоположность. Конечно, и во времена Уитмена, и сейчас были и есть поэты, которые решают ту же самую задачу, но совсем по-другому. Мы же выбрали именно этих — потому что теперь мы можем одним взглядом увидеть весь диапазон конфликта, его напряжённость и одновременно наметить некоторую тенденцию его развития.

Ошибочным было бы заключение: "в то время, когда человечеству нужно преодолеть отчуждение от природы, американская поэзия (Эммонс) призывает к противоположному". Американская поэзия (например, в лице поэта Эммонса) как раз переживает невозможность строить отношения с природой по-старому. Она поняла, что человек, с одной стороны, повзрослел, развил свой интеллект и уже не может заниматься самообманом, считая себя "дитятей природы". С другой же — осознал свою колоссальную зависимость от неё. Поэзия стоит перед этой проблемой. Найти из неё выход — зависит уже от нас.

Павел Цветков

ПОД
СЕМЬЮ
НЕБЕСАМИ
— НАД
БЕЗДНОЙ

Перейдём теперь к описанию загробного мира, каким он является в учении мусульман.

"Жизнь сего мира - простая забава и игра; но пребывание в том мире - вот истинная жизнь"¹.

"Господь получает души в момент их смерти. Он получает также те души, которые ещё не умерли, но впали в сон. Он оставляет те из них, которым приказано умереть, а остальных отсылает до определённого срока"². Масса и других стихов в Коране толкует об этом предмете.

Ашари говорит: "...мы верим, что рай и ад сотворены, и что тот, кто умирает или бывает убит, умирает или бывает убит в назначенное для него время... Что сатана делает дурные внушения людям и вводит их в сомнения и делает их как бы одержимыми бесом".

Однако не все мусульмане держались такого мнения. Один из учёных мутазилитов Хишам-бин-Амр аль-Гути считал все рассуждения о будущей жизни по крайней мере бесполезными, так как для него существование рая и ада было под большим сомнением.

Абу-Худайль не признавал ни вечного наслаждения в раю, ни вечных мучений в аду по той простой причине, что, по его

Окончание. Начало в №№ 7-8, 11-12, 1995.

¹ В переводе И.Ю.Крачковского: "И здешняя близкая жизнь — только забава и игра, а обиталище последнее — оно жизнь, если бы они это знали!" (Сура 29, аят 64). Далее в сносках цитаты из Корана приводятся в его же переводах. — *Прим.ред.*

² "Аллах приемлет души в момент их смерти, а ту, которая не умерла, во сне; схватывает ту, для которой решил смерть, и отправляет другую до названного срока. Поистине, в этом — знамения для людей, которые размышляют!" (Сура 39, аят 43)

мнению, и рай и ад сами обречены на уничтожение, и, следовательно, не являются вечными. По его мнению, жертвы за тех, которые перешагнули грань земной жизни, совершенно бесполезны, так как все земные счёты покончены: движение не существует больше для них, и они находятся в вечном покое, в состоянии абсолютной неподвижности. Если бы даже им сообщили движение, то его надо приписать не им, а Богу, потому что человек не имеет никакой власти в будущей жизни, куда всё должно прийти в силу неизбежного и непреложного закона.

Но едва ли не самое оригинальное мнение высказали Ахмад-бин-Хабит и Фазль-аль-Худаби. По их мнению, люди, оказавшиеся на Страшном суде недостойными рая, но и не заслуживающими ада, будут обречены вернуться на землю и ожить там в форме других людей или животных в зависимости от того, насколько грешны они были в первой жизни. Но это мнение не встретило сочувствия среди мутазилитов. Как неодинаково было положение людей при земной жизни, так не одинаково оно будет и для их тел в могиле.

Газали разделяет покойников на четыре разряда. Это:

- 1) Те, которые спят на спине до тех пор, пока их тело не обратится в прах. И тогда они всё время вращаются между землёй и нижним небом.
- 2) Те, которым Бог посылает сон (т.е. умершие во сне) и которые проснутся только при первом звуке трубы.
- 3) Те, которые остаются в могиле только два или три месяца, после чего уносятся в рай: в форме птиц они живут на деревьях рая. Души мучеников находятся в зобах у птиц. Этого нельзя объяснить, но этому надо верить.
- 4) Пророки и святые, которые сами избирают себе жилище.

Хотя тело обращается в прах и истлевает после смерти, но душа продолжает жить до первого звука архангельской трубы Судного дня. Таково всеобщее мнение учёных мусульман, но относительно дальнейшого, т.е. будет ли душа жить после трубного звука или нет, возникают споры. Одни говорят, что душа умрёт, но оживёт снова при втором звуке; другие говорят, что она не умирает совсем. Существует верование, что после второго звука Бог соберёт все души в трубу, в которой для каждой есть маленькое отделение. Оттуда уже они расходятся, каждая в своё тело.

Сам Мухаммад учил, что тело человека истлеет в могиле не всё, а останется крестец, из которого Бог и сотворит первое тело в день суда. Это служит лишним доказательством телесности будущего мира в восприятии мусульман. Именно крестец, из которого будет сотворено новое тело, будет сохранён потому, что он был прежде всего создан и должен остаться до дня воскресения, когда всё будет обновлено. Говорят, что это обновление будет достигнуто сорокадневным дождём, который пошлёт Господь, и который промоет землю на глубину двенадцати футов, заставляя тела расти подобно растениям.

Таким образом, ко времени воскресения уже в раю или в аду находится некоторое количество душ, а может быть, даже и людей, если верить словам предания, что души погибших в борьбе за веру переносятся вместе с телами в рай: их не обмывают именно для того, чтобы обитатели рая могли признать их по ранам, залёкшаяся кровь которых будет распространять запах мускуса. Как бы там ни было, населён ли ад и рай до Страшного суда или нет, но это — лишь временное пребывание праведных и грешных, а не постоянное, в какое оно обратится после приговора, произнесённого на Страшном суде.

Тем не менее, должно считать, что есть ещё специально присущее раю население: это гурии, про которых в Коране говорится, что Бог сотворил их особнным творческим актом из мускуса, и ещё слуги, масса слуг для каждого верующего. Об этих слугах говорится, но нигде нет ни малейшего намёка о том, кто они такие, обыкновенные ли люди или гении, — как будто они являются нераздельными с раем. Так и мы будем смотреть на этот вопрос.

Пройдя с быстротой молнии по мосту Сырат, острому, как меч, и тонкому, как волос, праведные, напившись воды из бассейна Мухаммада, попадают в рай. После тягостного пребывания на суде, верующим приятная и освежающая вода кажется величайшим блаженством, но это только слабое предвкушение тех наслаждений, которые уже ожидают их за стеною рая.

Однажды у Мухаммада с верующими был разговор о рае и его спросили, все ли верующие попадут туда. Он ответил на это: "Один из вас будет в раю и 999 (т.е. из тысячи) будут людьми Гога и Магога". Потом он прибавил: "Клянусь тем, кто держит мою душу в своих руках, — я надеюсь, что вы составите четвёртую часть блаженных в раю". Мусульмане воскликнули тогда: "Бог велик!" — "Я надеюсь, — продолжал Мухаммад, — что вы составите треть блаженных в раю". — Мусульмане воскликнули: "Бог велик!" — Мухаммад снова сказал: "Я надеюсь, что вы составите половину блаженных в раю". — И в третий раз мусульмане воскликнули: "Бог велик!" — "В день воскресения вы будете в толпе (грешников) лишь как чёрный волосок на шкуре белого быка". Пророк усиленно обещал рай тем, кто сражается за веру и умирает. Он говорил, что умереть за веру это такое наслаждение, что, наверное, убитый, попавший в рай, пожелает вернуться на землю, чтобы снова быть убитым и снова попасть в рай. "Рай в тени мечей", — прибавил он.

В раю имеется восемь дверей, из которых каждая носит особое название. Пророк сказал однажды: "Из восьми дверей рая одна называется Ар-райан, и через неё войдут только те, кто постился". Относительно значения этой фразы между комментаторами нет полного согласия. Одни говорят, что по смыслу этой фразы можно заключить, что для непостоящих открыты ещё семь дверей рая, т.е. что в рай можно попасть и без поста. Другие отрицают это, говоря, что такое значение не может быть придаваемо словам Пророка, раз пост является обязательным, и они останавливаются на толковании, что рай имеет разные отделения, которые и будут распределены между верными сообразно тому, в чём они особенно преуспевали в земной жизни. Рай есть место, обладающее "сладостной тенью". Он полон благоухания, и никто не падает там от усталости.

Это обещание является особенно ценным ввиду предстоящих в раю непрерывных наслаждений.

"Торопитесь же бороться за то, чтобы получить от Господа прощение и рай, который раскидывается на таком же обширном пространстве, как небо и земля, и который уготован для верующих в Бога и Его Пророка"¹.

По поводу обширности земного рая предания сохранили следующий ответ Омара.

¹ "Опережайте же друг друга к прощению от вашего Господа и саду, ширина которого, как ширина неба и земли, уготованному для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников." (Сура 57, аят 21)

"Однажды к Омару, который сидел с другими спутниками, пришли евреи и спросили его: "Вы говорите, что рай занимает протяжение неба и земли; если это так, то где же тогда находится ад?" Омар ответил на это: "Где бывает день, когда наступит ночь, и где бывает ночь, когда наступит день?"

Когда Анаса-ибн-Малика спросили о том, на земле или на небе находится рай, он ответил, что вероятно рай находится под семью небесами и под престолом Бога.

Вообще споров о нахождении небесного рая было немало. Одни говорили, что он сотворён уже в другом мире, другие говорили, что он находится в совершенно отдельном мире, отличном как от здешнего, так и от будущего. Некоторые его помещали на седьмом небе, крышей которого служит подножие трона Бога. Наконец, иные допускали, что рай уже сотворён, но что только место его нахождения неизвестно.

"Говорят, что Пророк сказал однажды: "говорите о рае что хотите, — ваши слова всегда будут гораздо ниже того, что есть в действительности".

По преданиям, на вопрос о том, из чего сотворён рай, Пророк ответил, что из воды... что все строения сделаны там из золота и серебра: один кирпич золотой, другой серебряный.

Абу-Заид говорит, что какую бы свободу ни давали авторы фантастических описаний рая полёту своего воображения, они всё равно не в состоянии перейти границы своего ума, ни границы своих знаний: "они не могут похвастаться тем, что достигли сущности, ни даже некоторой её части, так как наслаждения и отмщение, обещанные Богом, выше всякой оценки, — они бесчисленны и беспредельны".

Итак, точно место рая неизвестно, но известно, что "в раю есть дерево Туба, тень от которого распространилась на все райские сады. Это дерево растёт в жилище Пророка, а ветви его расходятся во все стороны; листья на этом дереве всех цветов, — нет одного чёрного. На нём имеются всякие фрукты, а из-под корней его вытекает чистая вода... На ветвях его ангелы вечно славят Бога. Всадник может ехать сто лет, не выезжая из тени этого дерева".

Земля в раю так мягка, что напоминает собою самую тонкую муку, или чистый мускус, или шафран. Всюду там, куда ни поглядишь, драгоценные камни, золото и серебро. Там есть для блаженных лошади и верблюды, каких они никогда не видели на земле. Если пожелают покататься на них, то слуги приведут им осёдланных животных, и они увидят, что сёдла на них золотые и осыпанные драгоценными камнями.

Одною из главных приманок рая для араба является обилие воды, — лишь житель пустыни может оценить это. Какое обилие воды, и какая чудная вода.

"Возвести верующим и творящим добрые дела, что жилищем их будут сады, орошённые водными потоками. Вкушая плоды этих садов, они каждый раз будут восклицать: "вот плоды, которыми мы когда-то питались", но сходство между ними будет только по виду... Там они найдут женщин, очищенных от всякой скверны, и пребудут там вечно"¹.

¹ "И обрадуй тех, которые уверовали и творили благое, что для них — сады, где внизу текут реки. Всякий раз, как им даются в удел оттуда какие-нибудь плоды, они говорят: "Это — то, что было даровано нам раньше", — тогда как им доставлено только сходное. Для них там — супруги чистые, и они там будут пребывать вечно." (Сура 2, аят 23).

Но и те воды, которые находятся на земле, тоже имеют райское происхождение: "Бог спустил из рая на землю пять рек: Джихун¹, Сихун², Тигр, Евфрат и Нил". Райские источники отличаются тем, что никогда вода в них не иссыкает и не делается мутной, и реки рая не имеют русла: они текут во все стороны и, по желанию верующих, направляются направо или налево, вверх или вниз.

Из-под самого трона Господа выходят четыре источника, из которых два носят названия Занджабиль и Сансабиль, а два другие, может быть, являются истоком Тигра и Евфрата.

Рай населён прекрасными гуриями. Их несколько видов. Те, которые первые вошли в рай, имеют лица, сияющие, как полная луна; у тех, которые вошли в рай следом за ними, лица сияют светом звёзд. Будучи телесными, они, тем не менее, освобождены от отправления присущих человеку естественных потребностей. Пищеварительный процесс заключается в том лишь, что на них выступают капли пота, имеющие аромат мускуса. У них золотые ногти. Гурии имеют рост Адама, т.е. 60 локтей в высоту.

Тот, кто глядит в лицо гурии, увидит в её лице своё собственное лицо, кто поглядит на грудь гурии, увидит её сердце.

Эти гурии будут петь чудными голосами, и люди в восторге будут слушать их. Посуда и гребни у них будут из чистого золота и серебра. Говорят, что гурии были созданы из чистого мускуса.

По другому же преданию, их состав является несколько более сложным, а именно они созданы из четырёх вещей: мускуса, амбры, камфары и шафрана... Если бы гурия погрузилась в море, то вся морская вода сделалась бы пресной... Минута наслаждения с гуриями тянется тысячу лет.

По ортодоксальному учению, рай был сотворён в глубочайшей древности и останется вечно, но ничего не говорится о том, один ли он. Но, так как в Коране для обозначения рая имеются различные имена, то некоторые считают, что рай не один: их имеется несколько, и каждый носит своё собственное название. Другие говорят, что различные имена относятся к одному и тому же раю. Главнейшие из этих имён следующие: *"сады вечности"*, *"мирное убежище... Возле Бога"*, *"постоянное жилище... в иной жизни"*, *"сады, орошённые источниками"*, *"прекрасные жилища в садах Едема"*.

Есть ещё другие имена, но высочайшим и превосходнейшим из всех раев считается *Фирдаус*, над которым находится трон Бога. Из-под этого трона вытекают райские реки и орошают этот сад. Там, будто бы, находится Мухаммад.

Другое мнение таково, что рай будто бы есть общее имя целой группы садов, которые, являясь как бы отдельными, составляют одно целое.

Существует и такое мнение, что имеются два рая: один специально для людей, а другой для гениев. А может быть, и для тех и для других будут два рая: один для веры и другой для знания; или же один является наградой за знание, а другой — милостью Бога; или же один духовный, а другой материальный.

Все комментаторы говорят, что после того, как верующие прошли по

¹ Амударья.

² Сырдарья.

мосту, напились воды из бассейна и вошли в рай, они будут предаваться там духовным и телесным наслаждениям.

Как только верующий входит в рай, уже у самых дверей его встречает необыкновенной красоты юноша, приветствует его с прибытием и докладывает, что он назначен прислуживать ему. После этого бежит предупредить о прибытии верующего предназначенных ему жён, чтобы они могли подготовиться к встрече его. Помимо слуги верующего встречают два ангела с подарками от Бога: один даёт ему великолепные райские одежды, а другой надевает на все его пальцы перстни с вырезанными на них надписями, которые все говорят о блаженстве его состояния.

Но не все будут пользоваться одинаковым блаженством, и не все войдут в рай в одно время. Сначала врата рая откроются для Мухаммада, затем уже войдут бедные, а богатые лишь через 500 лет после них. Мухаммад говорил, что, по его замечанию, большинство населения рая были бедняки.

Раз Мухаммад говорил так, то, конечно, в этом не следует сомневаться, но невольно возникает вопрос, каким образом в раю можно отличить бедного (в земной жизни) от богатого, раз на всех на них надеты роскошнейшие райские одежды и пальцы их унижены перстнями, не говоря уже о том, где же было возможно мельком разглядеть всё, что заключается на пространстве, равном небу и земле? Надо думать, что Мухаммад сказал это только с целью убедить богатых не особенно привязываться к земным благам, так как в будущей жизни они им никакого преимущества не дадут.

Есть один любопытный вопрос, о котором ничего не говорят ни Коран, ни предания, а следовательно, о нём умалчивают и комментаторы. С момента телесного воскресения люди, очевидно, опять входят в человеческую норму, и мы видим действительно, что и в раю и в аду они едят и пьют. Известно, каков аппетит у грешников в аду, но в раю, как говорил Пророк, каждый съедает столько, сколько на земле сто человек, но как обходятся без пищи те, которые находятся на Арафе, или же богатые, которые должны пятьсот лет ожидать своего входа в рай? Правда, что опасность умереть голодной смертью им не грозит, так как, после убийства барана, олицетворявшего Смерть, они сделались бессмертными, но значит ли это, что у них не чувствуется потребности в еде? Или аппетит является свойством, присущим человеку только в раю или в аду, но не вне их? Ответов на эти вопросы нет. Но Господь так сотворил, и в это надо верить, а спрашивать о том, как это делается, является только ересью или неверием.

Итак, при входе в рай верующие получают подарки. После этого их ведут кормить. Пищу их составляет мясо быка Балаша и рыбы Нун (что собственно и значит рыба, и это же имя даётся рыбе, на которой держится земля). Эта рыба такая громадная, что только молоками её можно накормить 70000 человек. Так как, при упоминании о количестве людей, это чуть ли не самая большая цифра, называемая Мухаммадом, то надо предполагать, что она обозначает несчётное количество.

После кормления блаженные распускаются в предназначенные для них жилища, где они и будут пользоваться блаженством в заслуженной ими степени.

По словам Мухаммада, в раю имеются жемчужные дворцы (по иным преданиям, лишь с жемчужными крышами), и в каждом дворце семьдесят жилищ, сделанных из рубина; в каждом жилище семьдесят комнат, сделанных из зелёного изумруда, и семьдесят постелей разного цвета, и на каждой постели супруги из числа широкооких гурий. В каждом жилище семьдесят столов, и на каждом столе семьдесят сортов различной пищи. В каждом жилище семьдесят служанок. Каждое утро, когда мусульманин голоден, то всякая пища к его услугам.

Каждый из райских обитателей женится на пятиста гуриях, четырёх тысячах девиц и на восьми тысячах женщин, которые были уже раньше замужем и разведены.

У каждого, кто пожелает, может быть столько детей, сколько ему захочется: зачатие и рождение будет происходить в один час.

Женщины рая так прекрасны, что если бы какая-нибудь из них явилась на землю, она её всю осветила бы и наполнила благоуханием, потому что одна её головная повязка лучше здешнего мира и всего, что в нём находится! И при том эти женщины будут так скромны, что даже взгляда не кинут ни на кого, кроме своих мужей.

Все блаженные будут есть и пить на золоте и серебре, и им будет прислуживать масса слуг. Единственным отравлением их организма будет мускусный пот. Всё пребывание их в раю будет сплошным блаженством. Все органы чувств будут содействовать увеличению блаженства верующих. Они будут слушать мелодичный голос Исрафила, поющего хвалу Господу, и чудное пение дочерей рая. Сами деревья будут шелестеть листьями, прославляя Бога, и при этом будет раздаваться звон подвешенных к их ветвям колокольчиков.

Верующие будут наслаждаться красотой своих подруг, и красота эта будет такова, что "сквозь тело их ног будет виден мозг в их костях. Избранные будут жить, не зная ни раздоров, ни ненависти: их сердца будут как одно сердце, и они будут славить Бога днём и вечером".

Описанию одежд Коран отводит много места. Это будут платья "зелёные из прочного шёлка и атласа", или "из зелёного атласа и парчи", — это повторяется несколько десятков раз, и из этих пределов фантазия не выходит, очевидно, это самое лучшее, что только может быть.

К этому надо добавить, что, по преданиям, в раю есть рынок, на котором не продаётся ничего, кроме человеческих форм: всякий, кому понравится какая-нибудь форма, может войти в неё.

Пророк сказал: "В раю будет палатка (или навес) из крупного жемчуга. Она будет иметь 60 миль в ширину, так что с одного её конца не будет видно другого. Мусульмане будут там прогуливаться: для каждого будут два сада, и сосуды и мебель в них будут из серебра; и два других сада, в которых сосуды и мебель будут из золота. Между блаженными и Господом в саду Едема не будет другой завесы, кроме величия Его лица".

Относительно возраста обитателей рая предания говорят, что все они "там будут молодыми людьми, без бород, с подведёнными глазами. Они вечно будут сохранять возраст Адама, т.е. 33 года, как было Адаму при творении".

Никакое желание верного не останется в раю без удовлетворения. Если он пожелает съесть какую-нибудь из райских птиц, она упадёт перед ним с дерева, уже совершенно зажаренная. Гранаты в саду будут такой

величины, "как зад нагруженного верблюда, и птицы там будут величиною с бактрианского верблюда". В раю понаделаны окна, выходящие в ад. Если верный захочет увидеть в аду какого-нибудь своего врага, он подойдёт к окну "и будет смотреть на мучения того и радостно смеяться". Но "наибольшей милостью Бога будет пользоваться тот, кто днём и ночью будет видеть лицо своего Господа: счастье, которое превзойдёт все телесные удовольствия, как океан превосходит каплю воды".

Должно ли понимать учение о мусульманском рае в положительном смысле или только в аллегорическом? Мнения мусульман на этот счёт разделяются: одни говорят, что наслаждения будут телесные; другие стараются одухотворить это и говорят, что для определения степени блаженства в раю Мухаммад лишь воспользовался понятным ему человеческим сравнением.

Если мы окинем взглядом учение древних мутазилитов, отделяемое от нас целым тысячелетием, то мы увидим, что под их влиянием и некоторые, но очень немногие из мусульман, не примкнувших к их сектам, видели в рае духовное наслаждение, высшим пунктом которого будет лицезрение Бога.

Вот, например, род молитвы, автором которой является Аль-Кашири:

"Ты угрожаешь мне, Господи, горькой разлукой, которая меня лишит навсегда Твоего присутствия. О Господи! сделай со мной всё, что Тебе будет угодно, лишь бы мне никогда не разлучаться с Тобой. Нет тюрьмы более горькой и более смертоносной, чем эта разлука, потому что что же может сделать душа, разлучённая с Богом, кроме как пребывать в вечной тоске и смятении, которые будут мучить её? Можно вынести сто тысяч смертей, так как, в конце концов, в них нет ничего более страшного, как лишение Твоего божественного лица. Все несчастья века, все болезни, самые острые и неприятные, соединённые вместе, ничто для меня, и вынести их мне кажется несравненно более лёгким, чем это удаление. Это временное удаление делает нам земли бесплодными, оно высушивает и заражает нам воздух и воды; что будет, если он станет вечным? Без него огонь ада не жёг бы, и это вследствие него он делается таким горячим. Одним словом, только Твоё присутствие поддерживает нас, оно осыпает нас всякими благами, а Твоё отсутствие причиняет нам все муки ада".

Шейх Аль-Алэм говорит:

"О Господи! рай желателен лишь потому, что Ты там находишься, а без блеска Твоей красоты он показался бы нам скучным".

"Красота Бога, — говорит поэт Ибрагим ат-Тази, — есть самая совершенная из всех красот, потому что бесспорно совершенства принадлежат Богу. Любовь к Богу — самое благородное чувство. Произнесение славословия исцеляет всякую рану, оно спасительнее, чем свежая вода для человека, умирающего от жажды. Только Бог существует в действительности. Отбрось же дальше от себя стремление ко всяким суетам".

В самом деле, увидит ли Бога человек после смерти, и как его увидит? Коран говорит, что никто не может увидеть Бога, не умерев.

"Ты не увидишь Меня, сказал Бог Моисею"¹.

¹ "...Он спросил: "Ты Меня не увидишь, но посмотри на гору; если она удержится на своём месте, то ты Меня увидишь". А когда открылся его Господь горе, Он обратил её в прах, и пал Муса поражённым" (Сура 7, аят 139).

"Люди не могли бы достичь до Него своими взорами"¹.

Некоторые аскеты уверяли, однако, что они видели Бога здесь, но лишь не в сущности, а в атрибутах. Но это не более чем видение мистиков, видение духовное или воображаемое. Некоторые дервиши утверждают обратное, т.е. что можно видеть Бога в Его сущности, но для этого надо совершенно отрешиться от своей личности, и тогда спадёт завеса, скрывающая Бога от людских глаз.

По одним преданиям, Мухаммад видел Бога лицом к лицу во время своего ночного путешествия на небо. Теперь мусульмане верят в истинность этого чуда, но в первые века исламизма оно было подвержено большим сомнениям. Мутазилиты отрицали его, как и все вообще чудеса. По другим же преданиям, — главным образом переданным Айшой, со слов Пророка, — он не видел Бога.

Относительно возможности увидеть Бога в будущей жизни, что для ортодоксальных мусульман является догматом, мнения мутазилитов различны. Некоторые считают это вполне возможным и говорят, что по воскресении умершие увидят Бога телесными глазами. Маздар же называет неверными тех, кто говорит о возможности увидеть Бога. Эти два мнения категоричны и ясны, и показывают нам, что одна и та же школа может приютить у себя приверженцев диаметрально противоположных идей. Другие мнения гораздо сложнее. Ахмад-бин-Хабат и Фазль-аль-Худабиди говорят, что в день воскресения, которое будет лишь духовным, а не телесным, люди увидят глазами сердца не самого Бога, а Мировой Разум.

Можно сказать, что для человека, который на земную жизнь смотрит лишь как на преддверие будущей, а Коран именно так велит смотреть, — где он найдёт именно то, чего он здесь не может обрести своим мятущимся умом, рай Мухаммада не представляется божественным учреждением: как бы ни украшала его мусульманская фантазия, всё же это — только грубая земная жизнь.

Если основываться на преданиях, то мусульман в раю будет уже не так много, чтобы они могли оказаться там избранной нацией Бога.

Пророк сказал: "Из моего народа в рай войдут 70000 (или 700000) избранных, из которых первый не перешагнёт порога без того, чтобы и последний не перешагнул его: лица у них будут как полная луна".

Хотя мусульманская доктрина говорит только о рае и аде, о которых упоминает Коран, но некоторые мутазилиты, в том числе Василь бин-Ата, допускали ещё чистилище. И учение их, как будто бы, основывалось на Коране.

"Счастливы отделённые от отверженных. На Аль-Арафе находятся люди, которые узнают каждого по особому значку..."²

Мусульмане верят в существование бесчисленного множества ангелов, которые были сотворены Богом ещё задолго до сотворения нашего мира. Это — существа с воздушными телами, сотворённые, по мнению одних, из света, а по мнению других, из чистого бездымного огня, откуда и превосходство их природы над природой человека, материалом для

¹ "Не постигают Его взоры, а Он постигает взоры; Он пронизателен, сведущий!" (Сура 6, аят 103).

² "И между ними — завеса, а на преграде — люди, которые знают всех по признакам..." (Сура 7, аят 44).

сотворения которого послужила глина горшечника. Они существа бесполое и лишены присущих человеку потребностей. Они пребывают на небе.

Мусульманская философия, рассматривая Бога как первичный Мировой Разум, видит в ангелах частичные разумы, обитающие в мире Разума.

"Сотворённые из света, ангелы являются господствующими светом, действующими на низшие души и тела так же, как Бог действует на них. И это господство, которое заключается в производимом ими на другие существа влиянии, есть внешнее проявление божественного атрибута всемогущества, один из видимых знаков Его могущества, равно как их блеск есть отражение света божественного лица. Поэтому-то ангелы и называются приближёнными Бога, а населённый ими мир — Миром власти. Подобно тому, как от Бога исходят формы вещей и их сущность через проявление Истины, равным образом от ангелов исходят их качества и их совершенства, исправляющие несовершенство других существ. Поэтому-то мир ангелов называется ещё миром исправления; или же, может быть, это потому, что ангелы принуждают другие существа стремиться к совершенству, стараться достигнуть его, когда оно у них отсутствует, сохранить, насколько возможно, когда оно приобретено".

Ангелы покорны воле Бога, которого они славят и приказания которого они исполняют; тем не менее они способны впадать в грех, как это было с Харутом и Марутом, и способны возмущаться, как это было с Иблисом.

Ангелы одарены способностью принимать различные формы, некоторые из них живут на земле. Будучи лишены дурных склонностей, они считаются выше пророков. Таково мнение мутазилитов. Ашариты же считают их ниже пророков, на основании слов Мухаммада: "Наиболее угодны Богу те дела, которые совершены при больших трудностях". Пророки имеют дурные склонности, но они побеждают их, и поэтому они являются выше ангелов, которым не приходится противостоять дурным наклонностям.

Говорят, что каждую пятницу все ангелы собираются на четвёртом небе для совершения общей молитвы под руководством архангелов. Гавриил бывает муэдзином, т.е. он призывает ангелов к молитве, читая азан или призывные слова; Михаил бывает хатибом — проповедником, так как проповедь составляет обязательную часть полуденной молитвы в пятницу; Исрафил бывает имамом — руководителем молитвы, позади которого все совершают молитву, вставши рядами; Азраил бывает мукаббиром — родом служки, который во время молитвы, в нужных местах, должен громким голосом выкликать: "Аллах акбар" — "Бог величайший".

Будучи ниже пророков, ангелы безмерно выше людей, но всё же им не следует поклоняться.

"Бог не разрешает нам избирать своими владыками ни ангелов, ни пророков"¹.

Лишь язычники принимали их за дочерей Бога:

"Не верующие в жизнь будущую дают ангелам женские имена"².

Подобно всем людям, ангелы умрут перед Страшным судом и снова будут воскрешены.

"И раздастся трубный глас, и расстанется с жизнью всё сущее на

¹ "И не прикажет Он вам, чтобы вы взяли ангелов и пророков господами." (Сура 3, аят 74).

² "Поистине, те, которые не веруют в последнюю жизнь, называют ангелов именами женщин" (Сура 53, аят 28).

небесах и на земле, кроме тех, которых Бог пожелает оставить в живых"¹.

По повелению Бога, они пали ниц перед Адамом, когда тот был сотворён.

Бог иногда пользовался ангелами в качестве посланников к роду человеческому. Так, архангел Гавриил был послан к Мухаммаду, чтобы возвестить ему пророческую миссию.

Иногда Бог посылал их в помощь роду человеческому для спасения его от земной опасности.

Пророк говорил: "Ангелы помогают верующим в борьбе с неверными". Так, по его словам, сражение при Бадре было выиграно исключительно благодаря присутствию армии ангелов, своими мечами поражавших корайшитов. Многие из мусульман видели их... Участие ангелов отмечено также и в других экспедициях Пророка.

Ангелы являются хранителями каждого человека.

Они служат также охраною против всякого демона-возмутителя. Но чтобы не отогнать от себя ангелов, человек должен избегать всего нечистого. Пророк говорил: "Ангелы не входят в дом или живописные изображения".

Зато, когда человек ведёт набожную жизнь, ангелы принимают в нём всякое участие. Пророк сказал: "Когда человек приглашает жену идти спать и получает отказ, вследствие чего проводит ночь в раздражении, — ангелы не перестают до утра проклинать женщину".

Молитва привлекает ангелов к человеку, так как они толпами устремляются туда, где слышится слово "Бог", набожно произнесённое. Пророк сказал: "Если кто на ночь прочтёт суру "Дым", то до утра 70000 ангелов будут молить о его прощении. Если же кто прочтёт суру "Дым" в ночь на пятницу, то к утру простятся все его грехи". "По пятницам у каждой двери мечети находятся ангелы и записывают верных в том порядке, как они входят. Потом, когда имам садится, они закрывают свои книги и слушают слово Бога".

Ангелы не покидают человека до последней минуты его жизни и даже "обвевают своими крылами труп павшего в священной войне мученика".

У ангелов имеются разные должности и разные ранги. Говорится, что "всех ангелов восемь классов, но кроме Бога никто не знает их названий".

Высочайший ранг занимают, по-видимому, четыре архангела, поддерживающие престол Бога. Они получают поклонение от других. В день Страшного суда к ним будут прибавлены ещё четыре других архангела.

"Говорят, что у каждого из ангелов, носящих трон Бога, имеется по четыре лица: лицо быка, лицо льва, лицо коршуна и лицо человека; у каждого из них по четыре крыла: два из них для того, чтобы закрывать свои лица от блеска престола, а два для полёта. Около престола 70000 ангелов совершают таваф. Когда кончат одни, то являются другие. Но среди них есть также и постоянные, которые непрерывно славят Бога".

По мнению некоторых, носители трона ниже четырёх архангелов, носящих известные людям имена. Но это вопрос спорный между теологами.

За ними следует ангел, называемый Рух, т.е. душа, потому что каждое его дыхание творит душу. Некоторые видят в нём Исрафила, на обязанности

¹ "И протрубят в трубу и поражены будут, как молнией, те, кто в небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах." (Сура 39, аят 68).

которого лежит сводить в мире новые души, а иные полагают, что это — Гавриил, который в Коране иногда называется Святым Духом. Однако большинство склонно думать, что это отдельный ангел.

Далее следуют четыре архангела, одни из самых старших в небесной иерархии.

Гавриил — носитель и передатчик божественного откровения. Он называется также "эмин-уль-вахи", т.е. "ангел (хранитель) откровения": он — вестник Бога, многократно являвшийся пророкам, начиная с Адама.

"Никто из пророков не видел архангела Гавриила в его настоящем виде, но Мухаммаду он дважды явился так: один раз на небе, другой на земле. Однажды Мухаммад сказал ему: "Я хочу, чтобы ты показался мне в том виде, как ты сотворён". В это время он был на горе Хира. Поднявшись с востока, архангел Гавриил заслонил собою весь горизонт. Когда Мухаммад увидал, то лишился чувств и упал. После этого уже архангел Гавриил, чтобы не пугать его, всегда являлся ему в человеческом образе".

Предания передают, что однажды еврейский священник Ибн-Сурия спросил Мухаммада, кто ему приносит откровения от Бога. Когда Мухаммад ответил, что это архангел Гавриил, Сурия сказал: если бы к тебе являлся архангел Михаил, то мы поверили бы тебе, а от Гавриила мы не ждём никакого добра, потому что он наш враг, так как он предсказал разрушение Иерусалима. И он враг архангелу Михаилу, и сам Бог не так его любит, как архангела Михаила, который находится по правую его руку, тогда как Гавриил по левую.

Мухаммад ответил на это, что кто считает врагом Гавриила, тот является врагом и Михаилу, а кто считает врагом Михаила, тот является врагом и Гавриилу, а кто является им врагом, является врагом и самому Богу.

Михаил — приносит телам и душам ежедневную пищу — материальную и духовную. Он считается защитником евреев, как Гавриил их гонителем. В Коране он упоминается однажды, совместно с Гавриилом.

Азраил — ангел смерти. Эта печальная должность была дана ему Господом в наказание за то, что он не пожалел земли, взяв её частицу для сотворения первого человека. После смерти он отводит души в их последнее жилище — в рай или ад. Он такого гигантского роста, что ноги его находятся на земле, а голова достигает высочайшего неба. Он многократно упоминается в Коране, но лишь под собирательным значением "ангелов, отнимающих душу".

Говорят, что когда ангел смерти приходит, чтобы взять душу правовежного, он передаёт ему поклон от Бога. Когда же верные встанут из гробов, ангелы радостно приветствуют их и ведут в рай.

Исрафил — вестник Бога, назначенный сопровождать души в тела, которые им предназначено занять. Он также называется ангелом трубы, так как в последний день трубным гласом он должен будет собрать живых и мёртвых.

Кроме этих, имеются ещё херувимы, пребывающие неотлучно на небе и занятые исключительно прославлением Бога.

Кроме архангелов есть ангелы-хранители. Они постоянно стерегут человека, чтобы предохранить его от таких опасностей, а равно и несчастий, которые не предопределены Богом; от того же, что Богом предопределено, ничто не может спасти человека. Таких ангелов бывает по два и по четыре у каждого человека. Они охраняют также и джиннов, находящихся в числе верных. Ангелы охраняют человека день и ночь,

начиная с момента рождения и до дня смерти. С разрешения Бога, они являются ходатаями за человека. Они помогают людям в борьбе с неверными.

"...Ангелы возносят ему свои хвалы и умоляют Его о прощении для жителей земли"¹.

Но если Бог не пожелает этого, заступничество бесполезно:

"Сколько ангелов на небе, предстательство которых ни к чему не послужит"².

Два ангела — *секретари* — записывают деяния людей. Считается, что у каждого человека имеется два таких ангела: один находится справа и записывает его добрые деяния, и другой находится слева и записывает его дурные деяния. Они постоянно присутствуют и наблюдают... никогда не сменяются и остаются за человеком до самой смерти. Когда же человек умирает, они молятся на его могиле и просят ему награды, если он был верный, и проклинают его до дня воскресения, если он был из числа неверных.

Говорят также, что, по милосердию Божью, добрые дела записываются немедленно, при совершении же дурных дел ангел, который должен их записывать, спрашивает другого, записывать ли ему, и тот просит обождать шесть часов — в надежде, что за это время грешник может раскаяться. Если за это время раскаяния не последует, то деяния записываются бесповоротно, и позднейшее раскаяние уже не может уничтожить сделанного, так как раз записанное не может быть вычеркнуто из книги. Некоторые считают, что записывание надо понимать в буквальном смысле, т.е. что оно производится при помощи бумаги и пера: эту самую книгу и дадут человеку при воскресении, чтобы он мог видеть, что в ней не пропущено ни большого, ни малого из его деяний. Другие понимают это фигурально, т.е. что ангелы являются только незабывающими свидетелями того, что совершает порученный их наблюдению человек.

Но богословов не столько занимает этот вопрос, сколько то, где имеют пребывание эти ангелы: по мнению одних, они находятся на последних коренных зубах, по мнению других, на плечах человека.

Имеются ещё ангелы-*путники*, — которые путешествуют по всей земле, чтобы знать, когда люди молятся Богу.

Ридван (или Ризван) — ангел, в заведывании которого находится небо и который вместе с тем является хранителем и стражем рая.

Малик — ангел, в заведывании которого находится ад и который наблюдает за мучениями грешников. Он неуомлим.

В помощь ему даны девятнадцать других ангелов.

Вавилонские ангелы *Харути Марут*. За их грех, который обнаружился таким образом, что они обессилели и их крылья не могли поднять их до высочайшего неба, Бог предложил им на выбор: подвергнуться мучению в будущей жизни, или же в мучениях оставаться до дня воскресения на земле. Они предпочли последнее, так как земные мучения временные, а загробные вечные: они повешены в колодце.

Некоторые мусульмане критически относятся к преданию о вавилонских ангелах, их смущает не столько согрешение ангелов, возможность чего

¹ "...ангелы возносят хвалу своего Господа и просят прощение тем, кто на земле." (Сура 42, аят 3).

² "Сколько ангелов в небесах, заступничество которых ни от чего не избавит." (Сура 53, аят 26).

они в конце концов допускают, сколько то обстоятельство, что введшая их в искушение и сама согрешившая женщина в виде чарующей своим блеском звезды всё время оставалась в небе. Это-то главным образом и заставляет их отвергать эту историю. Однако, из-за упоминания об этой истории в Коране, совершенно отвергнуть её мусульмане лишены возможности. И некоторые дают объяснение, что Богу было желательно научить человека всяким знаниям и искусствам. Так как магия является великим искусством, то Бог и её должен был передать людям. Но как передать? Это было бы довольно затруднительно; передавать знание магии через пророков было не удобно, так как знание магии признано вредным, а передача вредного знания унизила бы достоинство Пророка. Поэтому и были посланы два ангела, которые должны были научить желающих магии, но предварительно предупреждать людей, что это искусство вредное по своей увлекательности: оно нужно для человека лишь в том отношении, чтобы дела магов он не принимал за божественные знамения, и в таком случае знание будет полезно; если же человек сам будет пользоваться этими знаниями, то магия окажется вредной и погубительной для него. Ангелы передавали желающим знание магии, и вследствие этого люди теперь умеют разбираться между чудесами пророков, знамениями святых людей и фокусами магов и кудесников. Но некоторые погибли. Ангелов, исполнявших волю Бога, в этом обвинять нельзя, так как они повторяли каждому: "Мы искусители, — не делайтесь неверными".

Все наши астрономические познания основаны на наблюдениях, делаемых со времени Потопа, между тем как история ангелов относится ко времени Идриса, жившего раньше Ноя. Таким образом идёт спор, и люди, имеющие репутацию солидных учёных, верят в эту историю, хотя она по-видимому и противоречит ортодоксальной теории о безгрешности ангелов.

Далее следуют *Мункар* и *Накир* — ангелы могилы. Многочисленные предания говорят, что как только человек погребён и провожавшие его люди удалились с кладбища, к могиле явятся два ангела, Мункар и Накир, и задают покойнику следующие вопросы: "Какая твоя религия?", на что покойник должен ответить, что его религия мусульманская. Потом задаётся вопрос: "Какая была твоя Книга?", на что покойник должен ответить, что его Книгой был Коран. Дальше его спрашивают, кто был его Пророк, и он отвечает, что — Мухаммад. На вопрос, кому он поклонялся, он должен ответить, что единому Богу. Если допрос оканчивается таким образом, то всё хорошо: ангелы удаляются, и покойник остаётся спать до дня воскресения. Но горе ему, если его ответы не соответствуют выше приведённым: тогда ангелы принимаются жестоко бить его, а потом толкают его в геенну. По некоторым преданиям, в случае хороших ответов, ангелы говорят верному: "Спи сном новобрачного" и открывают дверь, сообщающуюся с раем.

Относительно ада существует масса преданий, так как разговоры о загробном мире были любимой темой между Пророком и его спутниками. Вот некоторые из этих преданий.

"Как в раю, так и в аду для каждого человека приготовлено место, но верные получают жилища неверных в раю, а неверные — жилища верных в аду", но только в том случае, когда "человек убьёт себя сам, Бог скажет: "Этот мой раб опередил волю Мою относительно предела своей жизни,

— этим он закрыл себе доступ в рай". Это предание несколько противоречит доктрине о предопределении, так как Бог наказывает человека именно за то, что он нарушил предопределённое для него.

Предания указывают также известную группу людей, которые непременно должны попасть в ад, независимо от общего баланса своих деяний.

"Когда два мусульманина с мечом в руках бросаются друг на друга, оба пойдут в ад — и убийца и жертва, так как последний также хотел убить своего противника", т.е. у него было намерение убийства, а всякое деяние оценивается именно по своему намерению.

"Тот, кто солжёт относительно Пророка, должен пойти в ад". Эти слова были вызваны тем обстоятельством, что ещё при жизни Мухаммада его слова передавались иногда совершенно не в том виде, в каком они были произнесены, и он справедливо опасался, что его учение может быть извращено. Тем более он повторил бы эти слова, когда через несколько десятилетий после его смерти в обращение были пущены тысячи ложных хадисов.

Но некоторые вперёд уже избавлены от ада, так как Бог не лишит райских наслаждений того, кому они обещаны Пророком, а Пророк сказал: "Если какая-либо женщина будет иметь трёх детей, между ней и адом будет поставлена преграда. — А если у неё будут лишь двое? — спросили женщины. — Даже если будут только двое, — ответил Пророк".

Ад есть место наказания и мучения. Все без исключения люди, верные и неверные, войдут в него.

Правда, некоторые комментаторы считают, что верные пройдут только над адом по мосту, но большинство толкует это в положительном смысле. Верные пройдут по аду тихо, не чувствуя никакого жара от огня, и они увидят, что люди пьют там кровь и гной, что платье сделано у них из вечно кипящей смолы, что змеи и скорпионы непрерывно жалят и кусают людей.

Относительно адского жара Пророк дал самые точные сведения. Он сказал: "По силе ваш земной огонь лишь одна 69-я часть адского огня". "Однажды ад пожаловался Господу, говоря: "Господи! я пожираю самого себя". Тогда Господь позволил ему вздохнуть два раза в год: один раз зимой и другой раз летом. Вот в один из этих моментов, сказал Пророк, вы и испытываете самую сильную жару, а в другой — самый сильный холод".

Ад разделён на семь ярусов, из которых каждый предназначен для особого разряда грешников.

Относительно того, что ад разделён на семь ярусов, или этажей, Мухаммаду сообщил сам архангел Гавриил. Мухаммад очень заинтересовался, каким образом построены эти ярусы: так ли, как постройки на земле, или иначе.

— Нет, — ответил архангел Гавриил, — двери из одного яруса в другой находятся в потолке... и от одной двери до другой семьдесят лет пути.

Когда архангел Гавриил окончил описание ярусов, Мухаммад спросил его: а войдут ли в огонь люди моей нации?

— Да, — ответил архангел Гавриил, — те из твоей нации, которые совершили большие грехи, войдут.

Услышав это, Пророк заплакал, а с ним вместе заплакал и архангел Гавриил. После этого Пророк удалился к себе домой и выходил оттуда лишь для молитвы. Во время молитвы он плакал, и так продолжалось три дня. На третий день к дому Мухаммада пришёл Абу-Бакр, постучался, но

не получил никакого ответа. Потом приходил Омар, за ним Сальман, но и им никто не ответил, и они с плачем ушли. После этого Сальман прошёл к Фатиме. Он постучал в двери и произнёс приветствие, сказав: "О, дочь Пророка Бога! Пророк Бога скрывается от людей и выходит лишь на молитву, а после никому не даёт разрешения входить к нему". Тогда Фатима отправилась к дому Пророка, постучала в дверь, сказала приветствие и назвалась. Пророк, который в это время сидел и плакал, поднял голову и спросил через дверь: "О, Фатима, свет моих очей, есть ли у тебя какое-нибудь дело, которое привело тебя ко мне?" После этого, на просьбу Фатимы, он отпер дверь. Фатима вошла и, взглянув на Пророка, стала плакать. Потом она сказала:

— О, Пророк Бога! Что случилось с тобой?

— Ко мне приходил архангел Гавриил, и он описал мне отделения ада, он сообщил мне, что действительно в самом верхнем отделении ада находится место для людей моей нации, совершивших большие грехи. Это-то меня и опечалило и заставило плакать.

Фатима сказала:

— О, Пророк Бога! зачем же они войдут в ад?

— Не они войдут туда, — сказал Пророк, — а их втолкнут туда ангелы и в огне будут вешать их там.

— О, Пророк Бога! — сказала Фатима. — Как же ангелы вешают их там?

— Мужчин за бороды, а женщин за волосы, — сказал Пророк... И когда их в жалком виде приводят в ад, Малик спрашивает их: "Кто вы такие?.."

На этих словах заканчивается одно предание, но другое может служить для него продолжением. Однако, по другому преданию, выходит так, что речь идёт о мучениях во время Страшного суда. Это, по-видимому, недоразумение. Но продолжаю рассказ.

В то время как грешников подвергают мучениям, они кричат: "О, Мухаммад!" Но как только Малик на них взглядывает, они забывают имя Мухаммада, и Малик говорит им: "Кто вы такие?" И они отвечают:

— Мы те, которым был послан Коран.

И ещё:

— Мы те, которые постились во время рамазана.

— Но ведь Коран сходил лишь для нации Мухаммада, — скажет тогда Малик.

— Да, да, — закричат они, — мы из нации Мухаммада.

Тогда Малик опять говорит им:

— Не было ли для вас (написано) в Коране, что не исполняющие велений Бога будут добычей ада?

— О, Малик! — говорят они. — Дай нам разрешение, и мы будем плакать над собой.

Малик даёт им просимое разрешение, и они принимаются плакать: они плачут слезами до тех пор, пока у них есть ещё слёзы, когда же слёз больше не остаётся, они начинают плакать кровью. Тогда Малик говорит им:

— Как хорошо было бы для вас, если бы вы таким образом плакали на земле. Если бы вы так плакали на земле, Бог спас бы вас от ада, и теперь огонь не держал бы вас.

И Малик говорит потом демонам:

— Таскайте, таскайте их в огонь!

И их таскают в огонь. Некоторые из них кричат: "Нет бога кроме Бога!" — и огонь отклоняется от них. Тогда Малик прикрикивает на него:

— Эй, огонь, возьми их!

— Зачем я их возьму, — говорит огонь, — раз они произносят: нет бога кроме Бога?

И снова Малик говорит огню:

— Возьми же их!

И снова отвечает огонь:

— Как же я их возьму, раз они произносят: нет бога кроме Бога?

— Правда, — говорит Малик, — но таково приказание Владыки Престола.

Тогда огонь охватывает их. Среди них есть такие, которым огонь покрывает лишь ноги, есть такие, которым доходит до бёдер, есть такие, которым доходит до груди, есть такие, которым доходит до рта. Если у кого огонь доходит до лица, Малик говорит огню: "Не жги их лица, они столько раз преклонялись перед Господом. И сердца их также не жги, — они томилась жаждой во время рамазана..." И они остаются в огне до тех, пока Богу будет угодно, чтобы они оставались. И они говорят при этом: "О, Милостивый! о, Милосердный! о, Хинан! о, Минан!" Каждый говорит по своему уму... Тогда архангел Гавриил вступает за них перед Богом, и Бог говорит: "Ступай, посмотри, в каком они состоянии". Гавриил тогда приходит к Малику, который находится на сделанном из огня возвышении, и оттуда ему всех видно. Когда Малик замечает Гавриила, он говорит ему: "О, Гавриил, что привело тебя сюда?"

Гавриил говорит ему на это:

— Что ты сделал с несчастными людьми из нации Мухаммада, которые совершили грехи?

— Как тяжело их положение, — говорит Малик, — как тесно их место! Наверно, сгорели их тела, у них остались только лица и сердца, в которых находится вера.

Тогда архангел Гавриил говорит:

— Покажи мне их помещение, я посмотрю на них.

Тогда Малик даёт приказание стражам, и они показывают архангелу Гавриилу помещение, где находятся мусульмане. Как только кто из грешников взглядывает на Гавриила, всякий немедленно узнаёт его по светлому виду и говорит: "Истинно, это Гавриил! это — не ангел-мучитель!.." Потом они обращаются к архангелу Гавриилу с просьбой рассказать об их ужасном состоянии Богу и Мухаммаду. Тогда архангел Гавриил возвращается к Богу, и Бог спрашивает его: "Как ты нашёл нацию Мухаммада?"

— О, как ужасно их положение, — говорит архангел Гавриил, — и как тесно их место!

— Просили ли тебя о чём-нибудь? — говорит Бог.

— Да, — говорит архангел Гавриил, — они просили передать Мухаммаду их приветствие и сказать ему, что в сердцах их находится вера.

- Ступай, — говорит Бог, — и скажи об этом Мухаммаду.

Тогда Гавриил уходит к Мухаммаду, который находится в шатре из белого жемчуга: у этого шатра четыре тысячи дверей, и каждая дверь состоит из двух золотых створок. Гавриил говорит ему:

— О, Мухаммад! Я пришёл к тебе, я пришёл от грешной нации, я пришёл от тех из твоей нации, которые претерпевают мучения; они присылают тебе

приветствие и говорят: "Как ужасно наше положение, и как тесно наше место"...

После этого Мухаммад идёт и склоняется перед престолом Бога и начинает прославлять Бога, так прославлять, как его ещё никто никогда не прославлял. Тогда Бог говорит ему:

— Подыми голову, проси, и тебе будет дано. Если ты просишь о милости, — милость будет тебе дана.

И Пророк говорит тогда:

— О, Господи! пощади ради меня тех из моей нации, которые претерпевают мучения.

— Истинно, — говорит Бог, — Я смилостивился уже над ними: отправляйся в ад и выведи оттуда тех, которые говорят: "Нет бога кроме Бога".

Как только Малик видит Мухаммада, он тотчас же вскакивает на ноги, чтобы почтить его.

— Состояние людей моей нации ужасно? — спрашивает Мухаммад.

— Да, тяжело их состояние, — говорит Малик, — и тесно их место.

— Отвори двери, — говорит Мухаммад, — и покажи мне их место.

Как только люди огня видят Мухаммада, они подбегают к нему и говорят: "О, Мухаммад!" И Мухаммад видит, что некоторые из них обратились в уголь, действительно их съел огонь. Тогда Мухаммад берёт их и ведёт к дверям рая, к реке, называемой рекой жизни. Из неё они выходят молодыми, без усов и бороды и с насурьмлёнными бровями: их лица словно луна, и на их лбу написано: "Освобождены Господом из адского огня". Когда люди ада увидят, что мусульмане выходят из ада, они воскликнут: "О, если бы мы были мусульманами! Тогда и нас освободили бы из огня!.." После этого приводят смерть и убивают её.

Познакомимся теперь и мы с тем адом, который заставил так долго плакать Мухаммада.

Он подразделяется сверху донизу так:

1) *Джаханнам* — место наказания верных за их грехи. Они пробудут там лишь некоторое время и потом будут отпущены. Это нечто вроде чистилища для мусульман, хотя и не имеет этого значения официально. Когда последний из мусульман покинет его, оно будет разрушено.

Пророк сказал: "Когда верующие вырвутся из ада, они будут удержаны на мосту, соединяющем рай и ад. Там они будут подвергнуты наказанию за несправедливые поступки, которые они совершили по отношению к другим в этом мире. Потом им будет дано разрешение, после очищения, войти в рай".

2) *Лазз* — пламенный огонь для евреев.

3) *Хушам* — напряжённый огонь для христиан.

4) *Саур* — пылающий огонь для сабеян.

5) *Сакар* — огонь для огнепоклонников.

6) *Джахим* — огонь для идолопоклонников.

7) *Хавия* — бездонная пропасть для лицемеров, т.е. для тех, кто, внешне исповедуя ислам, в душе оставался неверным. Их Пророк считал самыми злыми врагами правой веры и говорил, что для веры он не боится ни верных, ни неверных, но боится лицемеров. Это отделение ада называется также *рвом*.

У каждых дверей этих ярусов помещается стража — ангелы.

И напрасно грешники будут просить их заступиться за них перед Богом,

чтобы Он избавил их от мучений, это будет бесполезно, так как стражи не знают жалости. Таких ангелов-стражей, наблюдающих за мучениями грешников, имеется 19, во главе их всех стоит грозный *Малик*.

Предания говорят, что когда обитатели ада обратились к этой страже с просьбой ходатайствовать за них перед Богом и сказали: "Попросите у Бога, чтобы Он хоть на один день облегчил наши мучения", — стража отвечала на это: "Разве не приходили к вам пророки с знаменами от Всевышнего?" — "Приходили", — отвечает обитатели ада. "Если так, то сами обращайтесь к Богу", — отвечает им стража. Не получив помощи от стражи, обитатели ада обратились к самому Малику и сказали ему: "Попроси у Бога, чтобы Он послал нам смерть". Восемьдесят лет не давал он им ответа: год состоял из 360 дней, а каждый день был в тысячу лет. А они всё ждали, рассчитывая, что придёт от него помощь. Наконец они обратились к Богу с просьбой послать их назад в мир: "Теперь у нас уже не осталось никаких сомнений, и мы будем правильно верить". Четыре раза так обращаются они, но всё напрасно. Наконец Бог говорит им: "Вам были посланы пророки, и вы не поверили им: послать вас опять в мир — будет то же самое".

И снова обитатели ада будут обращаться с просьбой к стражам, — а "у стражей этих ужасный вид: глаза их сверкают как молнии и изо рта вылетает пламя. У одного из них между плечами расстояние года пути. Другой сразу может вызвать из огня 70000 человек и бросит их в какое ему угодно место. "И самое число этих ангелов-стражей (девятнадцать) служит напоминанием человеку о тех девятнадцати не занятых молитвой часах, в течение которых он грешил во время земной жизни".

Пищу грешников составляет горький плод заккум, о котором неоднократно делаются упоминания в Коране.

Питьё грешников будет состоять из кипящей воды со всякими нечистыми примесями.

"Геенна сзает его, и его напоят негодной водой"¹.

Кто умирает неверным, тот навеки остаётся в аду, хотя бы перед этим он всю жизнь был верным. Но дети неверных, по мнению некоторых, допускаются в рай, так как все дети рождаются мусульманами и пребывают таковыми, пока их родители не совратят их с истинного пути. По мнению других, Бог для детей устроит испытание: Он прикажет им бежать в разведённый огонь, и те, которые побегут туда, попадут в рай, спрятанный за этим огнём; те же, которые в испуге откажутся бежать в огонь, будут отправлены в ад.

Коран полон описаниями мучений грешников в аду.

Но пришлось бы выбирать слишком много текстов из Корана, чтобы дать полную картину того, с чем связано пребывание их в аду. Предания также предоставляют нам обильный материал.

"В аду, где будут неверные, двери будут открываться и говорить им: "Выходите отсюда". Они радостно побегут к дверям, но как только приблизятся, то двери тотчас же закроются перед ними. А верные будут смотреть на них из рая и смеяться".

Пророк сказал: "Их будут бросать в огонь, который скажет: "Имеется ли ещё для прибавки?" до того момента, когда Господь поставит Свою ногу и скажет: "Довольно, довольно!"

¹ "Позади его — геенна, и будут его поить водой гнойной." (Сура 14, аят 19).

Самара-бин-Джандаб передаёт следующее предание.

"После молитвы Пророк имел обыкновение оборачиваться к нам и говорить: "Видел ли кто-нибудь из вас в предыдущую ночь какой-нибудь сон?" Если кто-нибудь из нас видел сон, то рассказывали его Пророку, и Пророк говорил по этому поводу то, что Богу было угодно, чтобы он говорил. Однажды, когда он предложил свой обычный вопрос и ему отвечали отрицательно, он сказал: "Ну, хорошо. А я видел в эту ночь во сне, что ко мне пришли два человека, взяли меня за руки и увели в святую землю. И там я заметил двух человек: один из них сидел, а другой стоял; у этого последнего в руках был железный крючок, он вводил его в угол рта сидящего человека, потом он тянул за этот крючок до тех пор, пока не дотягивал края рта до затылка. После этого он совершенно таким же образом поступал с другой стороной рта. Затем, когда первая сторона рта заживала, он возобновлял мучение.

— Что обозначает это? — спросил я у своих спутников.

— В дорогу! — ответили мне они.

Мы снова пустились в дорогу — до тех пор, пока не оказались подле двух других людей: один лежал на спине, а другой держал в руке камень или осколок скалы, и им он мозжил голову первому. После каждого удара камень укатывался, и между тем как палач отправлялся за ним, голова наказываемого заживала и принимала свою первоначальную форму. Тогда палач снова принимался наносить удары своей жертве.

— Что обозначает это? — спросил я своих спутников.

— В дорогу! — ответили мне они.

Мы вновь стали продолжать путь и нашли углубление, подобное хлебной печи: сверху оно было узко и широко внизу. Под ним был разложен костёр. Когда пламя костра достигало углубления, содержимое поднималось, чуть не переливаясь через край, и, когда огонь стихал, содержимое падало на дно. Там были мужчины и женщины, совершенно голые.

— Что обозначает это? — спросил я своих спутников.

— В дорогу! — ответили мне они.

И мы снова отправились в путь, пока не дошли до кровавой реки. В ней стоял человек, а на берегу другой и перед ним была куча камней. Каждый раз, как бывший в реке человек пытался выйти из неё, другой бросал ему камень в рот и принуждал его вернуться на своё прежнее место. И это возобновлялось без конца.

— Что обозначает это? — спросил я своих спутников.

— В дорогу! — ответили они мне.

Мы продолжали опять путь, пока не достигли зелёной лужайки, на которой росло гигантское дерево. У подножия этого дерева был старик с детьми. Неподальёку один человек поддерживал разложенный перед ними огонь. Мои спутники заставили меня влезть на дерево и затем ввели в дом, прекраснее которого я никогда ничего не видел. Там были старики, молодые люди, женщины и дети. Выведя меня из дома, мои спутники вновь заставили меня влезть на дерево и войти в дом, ещё более прекрасный. Там, как и в первом, были старики и молодые люди.

— Вы водили меня всю ночь, — сказал я своим спутникам, — объясните же мне теперь значение того, что я видел.

— Хорошо, — ответили они. — Ты видел человека, которому разрывали рот: это лжец, который передавал ложные сведения и,

пользуясь своим влиянием, распространял их до пределов горизонта. Так с ним будут обращаться до дня воскресения.

Тот, которому мозжили голову, это — человек, научившийся от Бога Корану: но он спал всю ночь, не читая ничего из священной книги, а день проводил без применения её на практике. Таким образом его будут называть до дня воскресения.

Те, которых ты видел в углублении, — люди, виновные в прелюбодеянии. Тот, которого ты видел в реке, — лихоимец. Старец, которого ты видел под деревом, — Авраам, и дети около него — сыны человеческие. Тот, кто поддерживал огонь, это — Малик, страж ада. Первое жилище, в которое ты входил, это — место пребывания вообще всех мусульман; другое жилище предназначено для мучеников. Я — Гавриил, а мой спутник — Михаил. Теперь подыми голову.

Тотчас же я поднял голову и увидел над собой что-то такое, похожее на облако. "Вот, — сказали мои спутники, — предназначенное тебе место".

— Пустите меня туда, — сказал я.

— Тебе ещё остаётся время жить, — ответили они мне. — Ты не выполнил ещё этого срока: как ты выполнишь его, ты войдёшь в предназначенное тебе жилище".

Как говорил сам Пророк, обитатели ада находятся в таком состоянии, что его нельзя назвать ни жизнью, ни смертью. Их ужасное состояние делается ещё более ужасным оттого, что у них нет надежды на избавление от терпимых ими мук, которые должны быть вечными.

Хотя верные, пока они будут находиться в аду, также будут подвергаться различным мучениям, но всё же эти мучения будут гораздо меньше, чем мучения неверных, ибо они будут погружены в род сна, который сделает их менее чувствительными. По мнению иных, такое состояние продолжится всё время, и они будут оживлены или пробуждены уже в раю. Другие однако находят необходимым, чтобы и они испытали сладость адских мучений, хотя бы только перед оставлением ада.

По преданиям, время наказания верных в аду будет колебаться между двумя крайними сроками — в 900 и 7000 лет.

Верных в аду сразу можно будет отличить от неверных по светлым пятнам на теле — следы религиозных омовений.

Чтобы от тела грешника не пахло гарью и дымом, что было бы неприятно в раю, при переводе в рай его погружают в райскую реку жизни, откуда он выходит белее жемчуга.

Кроме грешников, в аду обитают демоны и джинны, за исключением добрых, часть которых будет в раю, часть — на Арафе.

Дьявол, которого Мухаммад называет *Иблисом* и который был сотворён из огня, прежде был ангелом, одним из наиболее приближённых к Богу, и звали его *Азасал* (это сирийское имя) или *Царис* (арабское его имя). Он пал, и это произошло так.

Четыре или пять раз его история повторяется в Коране с большими подробностями, но, в конце концов, она резюмируется так:

"Когда мы приказали ангелам почитать Адама, они повиновались за исключением одного Иблиса, который отказался от этого, объятый гордостью, и он стал неверным"¹.

¹ "И вот, сказали Мы ангелам: "Поклонитесь Адаму!" И поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознёсся и оказался неверующим." (Сура 2, аят 32).

Падший ангел является предметом культа иезидов — секты, исповедующей очень трудно определимую религию, так как она состоит из кое-каких христианских и мусульманских верований со значительной примесью своеобразных языческих церемоний. Во всяком случае было бы ошибкой относить иезидов как к христианским, так и к мусульманским сектантам.

Их называют также поклонниками Дьявола. Это название не совсем правильно. "Они верят, что Сатана есть глава падших ангелов и что в настоящее время он несёт своё наказание за возмущение против Гения Добра, но что он ещё сохраняет своё могущество, и когда-нибудь ему будет возвращено то место, которое он занимал в небесной иерархии.

Грешники сами, по какому праву стали бы иезиды проклинать падшего ангела? И раз они сами ждут себе спасения, то почему и великий изгнанник легенды не может занять своего места во главе небесных сил? Наряду с Сатаной и непосредственно за ним они почитают семь архангелов: Гавриила, Михаила, Рафаила, Ариила, Дедраила, Исрафила и Шемкееля. Христос, по их верованию, есть также ангел, принимавший форму человека, — Он не умер на кресте, но вознесён на небо, и они ожидают Его второго пришествия".

Такова в общих чертах эта своеобразная вера, и если вдуматься спокойно, идея её не так ужасна, как обещает её название.

"Сатана не имеет никакой власти над людьми верующими и доверяющими Богу"!

Так говорит Коран о Сатане или Иблисе, в подчинении которого находится масса демонов. Предания говорят, что первоначально "они были допущены на небо: когда родился Иисус Христос, их прогнали с третьего неба, когда родился Мухаммад, их прогнали совсем".

Иблису, говорит Джабир Маграби, — который может принимать все иные формы, не позволено являться в подобии божества или кого-нибудь из ангелов или пророков. Иначе человеческому спасению грозила бы громадная опасность, потому что он мог бы, под видом одного из пророков или другого высшего существа, воспользоваться своей силой и склонить людей к греху.

"Нет ребёнка, сказал Пророк, к которому не прикоснулся бы дьявол при появлении его на свет, и каждый ребёнок кричит от дьявола. Дьявол не тронул лишь Марию и её Сына".

И без этого уже для человека слишком велика опасность от демонов, которые шныряют по всей земле. Пророк сказал: "Когда спустилась ночь, удерживайте ваших детей, так как это час, в который расходятся демоны. Потом, когда часть ночи прошла, вы можете пустить ваших детей. Закрывай свою дверь, верующий! вспоминай при этом имя Бога: туша лампу, поминай имя Бога; зажимая отверстие твоего меха (для воды), поминай имя Бога; покрывая твои сосуды, поминай имя Бога, или по крайней мере все-таки покрой их чем-нибудь".

Человек иногда и не подозревает, как близко бывает от него демон, и что то, что ему, человеку, кажется вполне естественным, на самом деле является дьявольским наваждением.

Пророк сказал: "позевота происходит от дьявола. Когда кто-нибудь из вас хочет зевнуть, пусть он сопротивляется изо всех сил, потому что когда

¹ "И когда ты читаешь Коран, то проси защиты у Аллаха от сатаны, побиваемого камнями." (Сура 16, аят 100).

человек говорит — ха, — он смешит дьявола". "Благочестивый сон идёт от Бога, а грёзы — от дьявола. Если кого-нибудь будут мучить ужасные грёзы, пусть он плюнет налево и ищет у Бога убежища против ужаса видения; таким образом оно не причинит ему зла". "Когда начинается рамазан, двери неба открываются, двери ада запираются, и демоны приковываются на цепь". "Когда кто-либо из вас спит, то дьявол завязывает ему на затылке три узла. Завязывая каждый узел, он говорит: пусть ночь будет долгой для тебя, спи же! Когда верный проснётся и помянет имя Бога, один из узлов исчезнет; если он сделает омовение, исчезнет ещё один узел; когда же он совершит молитву, то исчезнет и третий узел. Тогда с утра у него расположение духа будет хорошее, и душа будет спокойна; если же нет, то с утра у него будет смущённый и подавленный дух".

Среднее место между ангелами и людьми занимают *гении* или *джинны*, т.е. скрытые существа. Они называются так потому, что невидимо находятся среди людей.

"Легенды говорят, что джинны населяли мир ещё за много веков до сотворения Адама. Они жили под управлением целого ряда следовавших один за другим властителей, которые все звались общим именем Соломон. Когда они наконец совершенно развратились, то был послан Иблис, чтобы загнать их в отдалённую часть земли и там оставить. Некоторые из этого поколения ещё остались, но были принуждены ведшим против них войну древним царём Персии Тамурафом удалиться на знаменитые горы Каф. Джинны подразделяются на несколько степеней, ибо они представлены несколькими видами: собственно джинны, дивы, пэри и тасвин.

"Сведения Мухаммада относительно этих джиннов почти вполне совпадают с тем, что евреи писали об известном виде демонов, называемых "шэдим". Некоторые полагают, что они произошли от двух ангелов, Аза и Азаила, и от Намы, дочери Малика, — это ещё до Потопа. Как бы то ни было, шэдимы, говорят они, в трёх вещах подобны ангелам: подобно тем, они имеют крылья, перелетают с одного конца света до другого и имеют некоторый дар будущего. В трёх отношениях они подобны также людям: они едят и пьют, размножаются и умирают. Про некоторых из них они говорят, что те верят в закон Моисея, и, следовательно, являются добрыми, другие же — неверные и отверженные.

Существует вера, что джинны подслушивают то, что происходит за завесами неба, которое скрывает присутствие Бога. Они хотят подслушать тайны Бога, но добрые ангелы кидают в них камнями: это и есть то, что люди называют падающими звёздами, — и "кто думает иначе, тот неверный".

Собственно джинны разделяются на пять классов:

1) *Джан*, который сотворён из бездымного огня ада. Он является родоначальником джиннов, как Адам — родоначальником людей, а Иблис — родоначальником демонов. Между джиннами и демонами та разница, что среди джиннов имеются как муслимы, так и неверные, они размножаются и умирают; среди демонов же нет муслимов, так как все они неверные. Когда умрёт Иблис, и они все умрут вместе с ним.

2) *Джинн*.

3) *Шайтан*.

4) *Ифрит*.

5) *Марид*.

Самым слабым видом являются джаны, а самым сильным — мариды. Глава всех их находится, по преданиям и легендам, на горе Кафе, которая кольцом опоясывает всю землю. Восточные сказки наполнены этими существами — то враждебными, то благосклонными к человеку; сказаниями о живущем на самом Кафе их повелителе, а также о его прекрасной дочери — царице всех пэри — женских гениев.

По распространённым среди мусульман всех стран поверьям, джинны могут, по желанию, делаться видными людям и обладают способностью не только сами принимать вид всяких животных и птиц или рыб, но и передавать это искусство людям. Как говорят, имеются джинны белые или чёрные, и между ними существует вечная вражда.

В этой главе книги П.Цветкова использованы источники:

Loc. cit. D.B.Macdonald. Muslim theology.

Galland. Mo`tazelites.

Loc.cit. Klein. Religion of islam.

Sale.P.D.

As-Sahih.

Idem.

Тафсиp-и-мэвакиб.

Танбиx-уль-гафилин.

Huart. Variations des dogmes de l`islamisme.

Ameer Ali. The spirit of islam.

St. Guyard. Traite de predestination.

E. Sell. Faith of islam.

J.Menant. Les Yezidis.

Бин-бир-хадис.

Валерий Германов

ПЕЧАЛЬНЫЕ ПРИЗРАКИ

Российская революция, завершившаяся октябрьским переворотом 1917 года и установлением диктатуры партии большевиков, втянула в свой стремительный исторический водоворот Среднюю Азию. Естественно, не избежали его и многие известные туркестанские историки-ориенталисты, в прошлом связанные с Туркестанским кружком любителей археологии. Одних расстреляли, других заставили эмигрировать, третьих постарались упрятать в тюрьму, четвёртые предпочли самоубийство. А если кто-то и сумел адаптироваться к новой историографической ситуации, то только на время; в будущем он также был обречён на преследования, гонения, а иногда и на гибель...

Одной из первых жертв стал "едва ли не лучший знаток языка и быта узбеков", по словам В.В.Бартольда, бывший депутат II Государственной думы Владимир Петрович Наливкин. "Прогрессивность его убеждений до 1917 года, — писал Б.В.Лунин, — стоит вне сомнения"¹. Но "враги революции использовали широкую популярность Наливкина в своих интересах. Наливкин был назначен председателем коалиционного комитета Временного правительства и на этом посту своей вредной соглашательской деятельностью заслуженно оставил по себе самую недобрую память человека, пытавшегося на склоне своих лет стоять на пути рабочего класса и трудящихся Туркестана в их борьбе за победу социалистической революции"².

Так говорилось о том самом Владимире Петровиче Наливкине, который снискал поистине всероссийскую популярность. О нём восторженно писал А.М.Горький.

Знаменитый ориенталист принял Февраль, но не Октябрь 1917 года. Отсюда пошли сомнения в его лояльности, утвердившиеся в советской историографии и, по сути,

¹ "История общественных наук в Узбекистане". Библиографические очерки. Составитель Б.В.Лунин. Ташкент: Фан, 1974. С.247-258.

² Лунин Б.В. "Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении". Ташкент: Фан, 1965. С.406.

отрицающие "прогрессивность взглядов" Наливкина в последний год его жизни, — "найти в себе силы, чтобы выбраться из засосавшего его болота меньшевизма, он не сумел".

20 января 1918 года внутренне опустошённый, с рухнувшими политическими идеалами, разуверившийся во всём, даже в Боге, Наливкин покончил с собой на могиле недавно умершей жены, оставив записку с просьбой никого не винить в его смерти.

Не принял октябрьский переворот 1917 года и вице-председатель Туркестанского кружка любителей археологии, его фактический глава — "патриарх туркестановедения", по словам того же В.В.Бартольда, — Николай Петрович Остроумов.

Никогда не скрывавший своих монархических убеждений, человек глубоко религиозный, Н.П.Остроумов окончил в своё время Казанскую духовную академию, совершенно не воспринял насильственную ломку общественно-политических, социально-экономических и культурных устоев народов Средней Азии. Оказавшись в фокусе политического внимания правительства Туркестанской республики как лицо, хотя и игравшее заметную роль в колониальном управлении краем, но неблагонадёжное, Остроумов сначала предпочёл покинуть Среднюю Азию, чтобы поселиться у себя на родине в Тамбовской губернии, однако жить без второй родины так и не смог. Вернувшись в 1921 году в Туркестан, он продолжил научные занятия, правда, всё больше и больше погружаясь в религию и мистицизм. Власть же, осведомлённые о его большом знании Средней Азии, хотя и прибегали к его консультациям, но к преподаванию в учебных заведениях известного ориенталиста не допустили.

Был выслан из Туркестана в Самару бывший военный губернатор Самаркандской области, член ТКЛА Нил Сергеевич Лыкошин, встретивший октябрьский переворот в отставке из-за конфликта с туркестанским генерал-губернатором А.Н.Куропаткиным и в целом лояльно сотрудничавший с новой властью. Но это не помогло. "Столь одиозную фигуру" туркестанские чекисты предпочли выдворить: "...в условиях обострения классово-борьбы в Туркестане, потребовавших в интересах социалистической революции удалить из пределов края представителей вчерашней колониальной администрации, среди которых было немало антисоветских элементов, такая видная фигура, как Лыкошин, не мог, понятно, составить исключения..."¹.

Г.А.Барковский в письме В.В.Бартольду от 27 декабря 1920 года с очевидной печалью писал: "Нил Сергеевич (Лыкошин) в настоящее время освобождён, находится в Самаре и служит в осветительном отделе коммунальных предприятий, где пишут требовательные ведомости. Странная карьера, не правда ли?"²

Благодаря вмешательству В.В.Бартольда, В.Н.Перетца и других Лыкошин, наконец, допущен к преподаванию туркестановедения в Самарском государственном университете. Сотрудничал он и в ташкентских изданиях.

В одну из последних ночей Н.С.Лыкошин, прикованный неизлечимым недугом к постели, произнёс:

— Как жалко, что больше я никогда не увижу восхода солнца в Азии.

¹ Лунин Б.В. Там же, с.208.

² Архив Российской Академии наук. Санкт-Петербургское отделение, ф.68. оп.2, д.12, л.1.

Еди́нственное богатство — книги и целые тома брошюр, оттисков статей и вырезок своих работ вместе с рукописным указателем — он вывезал городу Ташкенту, где они могут быть полезнее всего.

К числу наиболее трагичных, обогланных и, по этой причине, полузабытых фигур среднеазиатской историографии принадлежит ориенталист Павел Павлович Цветков.

Скупые и искажённые сведения о нём есть только в Биобиблиографическом словаре отечественных тюркологов, подготовленном академиком А.Н.Кононовым¹:

"Цветков, Пётр П. (?— между 1915—1920 гг.). Военный, по долгу службы много лет жил в странах Бл. Востока, в т.ч. в Турции. Слушатель курсов вост. яз. при Уч. отд. вост. яз. Азиат. деп. МИД. В 1902 литогр. способом издал 2 словаря — тур.-рус. и рус.-тур. Много труда посвятил изучению истории ислама, напечатал по этой теме несколько книг. Наиболее известно четырёхтомное соч. "Исламизм" (Асхабад, 1912—1913), адресованное широкой публике и содержащее подробное изложение теорий мусульм. богословия. обстоятельную рецензию на эту книгу написал В.В.Бартольд."

Вот и всё, что было известно о П.П.Цветкове одному из авторитетнейших тюркологов и знатоков востоковедения академику А.Н.Кононову. Между тем полковник Павел Цветков, а отнюдь не Пётр, был расстрелян после приговора, вынесенного Верховным революционным трибуналом Туркестанской республики в 1919 году². Расстрелян, хотя о его помиловании ходатайствовали рабочие Ташкента и даже — до утверждения приговора — сам Верховный Революционный трибунал. Вначале на заседании ТуркЦИКа и Временного Военно-революционного совета 1 марта 1919 года (несмотря на требования части участников заседания и — особенно — председателя ТуркЦИКа Аристарха Казакова) было решено: "Ходатайство Верховного революционного трибунала о смягчении приговора над П.Цветковым, приговорённым к смертной казни, передать на разрешение VII Чрезвычайному съезду Советов Туркестанской республики"³. Но позже кто-то весьма влиятельный, заинтересованный в быстром окончании дела, видимо, подтолкнул исполнителей, и 29 мая 1919 года заседание ТуркЦИКа постановило приговор привести в исполнение. Расстрелян П.П.Цветков был как участник январского 1919 года восстания в городе Ташкенте, так называемого "осиповского мятежа", как человек, причастный к гибели 14 Туркестанских комиссаров.

Густой покров тайны, сотканный из недомолвок, противоречий, наполняющих множество книг и статей, трактующих официальную версию этого события, но, в общем-то уводящих от истинного хода вещей, лишь недавно был приоткрыт историком М.К.Хасановым⁴.

Павел Павлович Цветков, ставший после февраля 1917 года управляющим канцелярией Туркестанского генерал-губернаторства, был выдвинут на этот пост как тончайший знаток быта мусульманского населения края:

¹ "Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период". 2-е издание, переработанное, подготовил А.Н.Кононов. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1989. С.249-250.

² ЦГА Республики Узбекистан, ф.1747, оп.1, д.16, л.104.

³ Там же, л.107.

⁴ Марат Хасанов. "Смертельный гамбит (Из истории осиповского мятежа)". "Звезда Востока" № 10, 1991. С.122-142.

"Так как, кроме того, Министр сам хотел поговорить о нём с Вами в Ваш следующий приезд в г.С.-Петербург, то я ограничусь лишь приведением подлинных слов Министра в ответ на мой доклад, что штабс-капитан Цветков помимо основательного знания языков: французского, немецкого, английского, итальянского, турецкого и персидского владеет также разговорным языком Туркестана, где служил 2 года по военно-административному отделу:

Напишите генерал-лейтенанту Самсонову от моего имени, что я прошу его хорошо устроить штабс-капитана Цветкова, я же со своей стороны попрошу генерала о том же при личном с ним свидании.

Со своей стороны считаю долгом доложить, что в штабс-капитане Цветкове я за всё время его пребывания в Македонии замечал редкую энергию в работе, быстроту выполнения самых сложных поручений, большой такт и умение, благодаря чему он всегда пользовался моим полным доверием и всегда его оправдывал..." — так о Цветкове, уже в 1909 году, по поручению Военного министра России, будет писать его непосредственный начальник генерал В.Шостак Туркестанскому генерал-губернатору А.Самсонову¹.

Интересно, что после возвращения из Турции в Ташкент кавалер турецкого ордена Меджидие П.П.Цветков был вызван в Санкт-Петербург в числе офицеров, бывших в Македонии по делам реорганизации жандармерии, для представления Его Императорскому Величеству Николаю II. Офицеры преподнесли императору альбом с фотографическими снимками быта жандармерии и видов местности, где проработали в течение пяти лет.

Знания и опыт Павла Цветкова по управлению Туркестанским краем понадобились и большевикам. Член Совета народных комиссаров Туркестанской республики, комиссар по административной и гражданской части Василий Агапов, доверяя Павлу Цветкову, попросил того не оставлять должность заведующего канцелярией, которая была передана его комиссариату.

Между тем нахлынувшие в Туркестан после октября 1917 года люди, совершенно с краем незнакомые, но оказавшиеся у власти, раскаляли обстановку, как только могли. Василий Агапов, в связи с отъездом почти всех комиссаров на фронт принявший на себя всю тяжесть ноши по управлению Туркестанской республикой, считал, что пока можно сделать хоть что-нибудь полезное и что-то исправить — следует оставаться на своих местах. Но вскоре оба, большевик В.Агапов и беспартийный патриот полковник П.Цветков, поняли, что оставаться у власти — значит брать на себя ответственность за весь произвол, творимый другими. И тогда оба оставляют свои посты. В.Агапов уходит в железнодорожные мастерские. А П.Цветков получает приглашение читать лекции о мусульманском праве в Туркестанском университете, включается в инициативную группу по организации Восточного института, причём на первом же заседании избирается председателем Совета инициативной группы. Понимая, однако, что по политическим причинам это станет тормозить организацию Восточного института, П.Цветков просит бывшего ректора Ташкентского народного университета А.В.Попова взять на себя обязанности председателя. После некоторых колебаний, последний соглашается с этим при условии, что Павел Павлович останется его помощником...

В официально назначенную инициативную группу под руководством коренного представителя Туркестана В.Н.Кучербаева вошли М.С.Андреев,

¹ ЦГА РУз, ф.И-17, оп.1, д.36553, л.2.

А.А.Гаррицкий и П.П.Цветков. Они и выработали положение о Туркестанском Восточном институте.

Несмотря на то, что П.П.Цветкова руководство Туркестанской республики буквально через несколько дней всё-таки вообще отстранило от работы, его неофициальное участие в важном деле продолжалось, его знания и советы использовались учредителями.

8 ноября 1918 года положение о Туркестанском Восточном институте было утверждено коллегией Наркомпроса Туркеспублики, а 26 декабря того же года в национализированном доме Арифходжи Азизходжинова начались первые лекции.

Недовольство всех слоёв населения Туркестанской республики новой властью в конце 1918 года заметно возросло. Возникла угроза восстания, подготовкой к которому искусно дирижировали какие-то заинтересованные лица, оставаясь при этом в тени. Кому-то, кто неудержимо шёл к власти, необходимо было осуществить сложную комбинацию: открыть клапан, дабы выпустить пар народного недовольства, столкнуть и устранить от политического руководства людей, принадлежащих к нескольким, противостоящим друг другу группировкам, предоставляя им возможность истребить друг друга.

Спровоцировав выступление наиболее радикальных и честолюбивых лидеров, эти же люди сумели руками уголовников убрать туркестанских комиссаров, одновременно подставив под удар людей, выступавших против подобного террора. Их-то и поспешили потом убрать вместе с прямыми участниками разыгранного мятежа.

Красный террор, вспыхнувший в Туркестане после гибели четырнадцати комиссаров, оборвал жизни тысяч ни в чём не повинных заложников...

"Возьмём отдалённый от центра Туркестан, — писал по горячим следам мятежа историк С.П.Мельгунов, — где в январе произошло восстание русской части населения против деспотического режима, установленного большевиками. Восстание было подавлено. "Начались массовые повальные обыски", — рассказывают очевидцы ("Воля России", 7-го декабря 1921 г.; "Рев. Россия" № 3). В ночь с 20-го на 21-го января были произведены массовые расстрелы. Груды тел были навалены на железнодорожное полотно. В эту страшную ночь было перебито свыше 2500 человек... 23-го января был организован военно-полевой суд, в ведение которого было передано дело о январском восстании и который в течение всего 1919 г. продолжал арестовывать и расстреливать"¹.

Накануне готовящегося выступления П.П.Цветков организовал издание бюллетеня "Свободная пресса". Вышло около десяти номеров этого издания, подготовленных и отредактированных им лично. Цветков обращался к рабочим, фронтовикам, солдатам Красной Армии, ко всему населению республики с изложением своей концепции народной власти, отличной от диктатуры пролетариата. Резонно заключая, что в России рабочих всего четыре процента от всего населения, он требовал пропорционального представительства в правительстве Туркестанской республики и для остальных девяноста шести процентов. Выступая против террора вообще, Павел Павлович Цветков расстрел четырнадцати ташкентских комиссаров квалифицировал как убийство, совершённое толпой, в свою очередь спровоцированной некими заинтересованными

¹ С.П.Мельгунов. "Красный террор в России". М.: Постскриптум, 1990. С.51.

лицами. На суде в своём последнем слове он скажет: "...здесь в наличии преступление за идею. Апеллировать можно только к этой идее, К ней же самой. Но это значит продолжать преступление, будучи на суде. Но как можно доказать правильность идеи, тем более неосуществлённой?

Возьмите пример Христа, которого распяли".

Оставшееся после расстрела Павла Павловича Цветкова крупнейшее собрание восточных рукописей и книг по истории Туркестана и сопредельных стран его жена Елизавета Михайловна, урождённая фон Зигель, — нужны были средства к существованию, — передала в Туркестанскую публичную библиотеку, где оно растворилось в общей массе...

Оценивая работу П.П.Цветкова "Исламизм" (тт. I—IV)¹, академик В.В.Бартольд указывает, что она носит компилятивный характер и к тому же не соответствует новейшим научным данным. "Обширный труд г-на Цветкова, — пишет В.В.Бартольд, — по словам самого автора, не представляет "ничего нового для специалиста", но предназначается "для широкой публики и для лиц, вынужденных — по роду своей деятельности или службы — находиться в тех или иных сложных сношениях с мусульманами", при всём том, что автор "чужд тенденциозного направления" и не желает "выступать ни апологетом христианства, ни исламизма".

Все замечания В.В.Бартольда, равно как и упрёки в некоторых исторических неточностях, неоспоримы, а многое, ещё прежде, оговаривал и сам П.П.Цветков. Со своей стороны, я лишь позволю себе заметить, что, уступая аналогичным работам В.В.Бартольда с позиций новейших достижений науки, труд П.П.Цветкова имеет и свои преимущества — преимущества личного опыта практического исследователя перед кабинетным затворником-учёным, каким был В.В.Бартольд. В этом смысле, их труды не взаимоисключают, а скорее дополняют друг друга.

...Кануло в безвестность неопубликованное рукописное наследие П.П.Цветкова. Но скуное сообщение в Комиссию ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана от уполномоченного Народного комиссариата просвещения Туркестанской республики С.П.Виноградова свидетельствует об оставшемся после расстрелянного Цветкова и не успевшем увидеть свет продолжении фундаментального четырёхтомного труда "Исламизм". Неизданную рукопись, три дополнительных тома, — не менее ста печатных листов, без индекса, — по предложению Ш.З.Элиавы разыскали и представили в Турккомиссию ВЦИК и СНК РСФСР. А.А.Гаррицкому поручили составить индекс...

Но время всё быстрее и быстрее начинало жить по законам людей, пытающихся искусственно, по ими же созданным схемам, творить историю вопреки самой этой истории. И этому времени не нужны были не только жизни, но и образы тех, кто выламывался из схемы, не вписывался в неё. Труды их и имена, исчезая из официального обихода, пополнили шеренгу печальных призраков ушедших дней, ушедшей науки, ушедшей морали и многого подобного же, вряд ли когда-нибудь способного возвратиться.

Но — кто знает? Ведь помним же мы сегодня имя Павла Цветкова и его коллег. Должны помнить...

¹ Начало публикации: "Звезда Востока" № 7-8, 1995.

Светлана Горшенина

СТРАННЫЙ
АРХЕОЛОГ
КАСТАНЬЕ

I

Его знали и во Франции и в Центральной Азии. Скорее — как неудавшегося археолога-краеведа, дилетанта от науки. Академик М.Е.Массон вообще говорил, что он был "полным профаном" во всём, что касалось среднеазиатских древностей...

Тем не менее фигура Жозефа-Антуана Кастанье, или, как его называли в России, — Иосифа Антоновича — очень и очень любопытна для всех, интересующихся историей.

Будучи исследователем с разносторонними интересами, что соответствовало духу универсализма и состоянию науки того времени, Ж.-А.Кастанье выступает перед нами как один из организаторов дела охраны памятников в Центральной Азии, представляя собой очень яркую и социально активную фигуру интеллектуальной жизни Туркестана, подтверждением чего могут служить неоднократные положительные отзывы о нём академика В.В.Бартольда.

Весной 1899 г. Кастанье из Франции переезжает в Россию. И хотя весьма соблазнительно предположить, что любовь и интерес к Востоку у уроженца небольшого французского городка Гелак пробудил сам воздух Тулузы, где он учился в лицее, — Тулузы, над которой в течение веков парила тень Монсегиора, а окружающее пространство было густо напоено легендами о тамплиерах, получивших свои сокровенные знания на Востоке, — первопричина переезда сюда могла быть более заурядной: забота о хлебе насущном.

Избрав Кавказ первым пунктом своего пребывания в России, Ж.-А.Кастанье по назначению попечителя Кавказского учебного округа становится исполняющим работу учителя французского языка в частной протогимназии и в женской гимназии графини Евдокимовой в Пятигорске. А через год, в феврале 1901 г., успешно выдержав испытания в Педагогическом совете Владикавказской гимназии, получает звание учителя по французскому языку.

В том же году он покидает Кавказ и вместе со своей женой

Лидией Акимовной и дочерью Марией переезжает в Оренбург, чтобы преподавать в мужской гимназии и Неплюевском кадетском корпусе.

Хранящий память о татаро-монгольском нашествии и о пугачёвском бунте, Оренбург был перекрёстком двух миров, сводя вместе Восток и Запад. К началу XX века город превратился в некие триумфальные ворота, за которыми открывался настоящий экзотический мир. Как перевалочный пункт и пограничный город Оренбург всей своей историей, современным географическим и стратегическим положением был нацелен на Туркестан.

С 1902 г. Кастанье работает в учёной архивной комиссии, созданной в декабре 1887 г. для наведения порядка в архиве канцелярии Оренбургского генерал-губернатора, о богатстве которого писал ещё А.С.Пушкин, собиравший здесь материалы для своей книги о Пугачёве. Архивная комиссия, находившаяся под покровительством его императорского высочества великого князя Георгия Михайловича, попечительством Оренбургского губернатора и наказного атамана Оренбургского казачьего войска Я.Ф.Барабаша, представляла из себя действенный научный центр.

Как писалось в отчёте комиссии за 1905 г., "изучая старые, заплесневевшие листы архивных дел, мы там находим отчёты, не для всех одинаковые, на те вопросы, которые предлагает нам современная жизнь, не та русская жизнь, которую изобразил Гоголь в быстро несущейся тройке, а та, которая стоит перед нами и настойчиво вопрошает: "кто вы и что вы?"

Уже с 1904 г. в трудах Оренбургской архивной комиссии начинают появляться заметки Кастанье, который проводит многочисленные рекогносцировочные поездки по всем уездам губернии, а в 1904 году совершает, наконец, и первое своё путешествие в Туркестан.

Не жалея красочных эпитетов, он описывает Туркестанский край, отмечая особое положение Ташкента как военной и административной столицы, где контраст между новым, русским, городом и старым, туземным, наиболее резко бросается в глаза. Отдав дань новому городу с его европейскими особняками, выполненными в стиле модерн, и ультрасовременными магазинами, утопающими в океане зелени садов и парков, Ж.-А.Кастанье между тем замечает, что не стоило ехать в Центральную Азию, чтобы посмотреть пусть даже и первоклассные, но европейские магазины. После этого он переходит к живому описанию старого Ташкента.

С нескрываемой симпатией и удивлением рассказывает он о домах старого города с крышами из ивы и камыша, покрытыми слоем глины, на которых растёт дерн, усеянный цветами, об узких, выжженных солнцем улочках, в которых "два верблюда с трудом могут разойтись"; высоких, глухих дувалах, теснящих улицу, и маленьких дверях, позади которых обязательно выстроена другая стена, не дающая возможности заглянуть внутрь двора. "И вдоль этих мрачных стен скользят редкие женщины, — пишет Кастанье, — одетые с ног до головы в халаты, с лицом, скрытым густой, чёрной вуалью, и исчезают как тени".

Центром мира, по впечатлениям Кастанье, является базар, куда отовсюду стекаются загорелые люди, среди которых сарты, киргизы, кипчаки. По ощущениям французца, томление и улада, казальсь, были разлиты в воздухе над невообразимым шумом причудливой толпы. Коммерческую деятельность базара Кастанье отказывается описывать, констатируя лишь то, что крики и оживление толпы здесь способны соперничать с шумом любой улицы Монмартра в Париже.

И ещё одну характерную для Ташкента особенность отмечает французский исследователь: "множество могил, могил, разбросанных и

затерявшихся среди города, на площадях, во дворах, вдоль улиц, между магазинами. Могилы, которые иногда невозможно различить, так как они сливаются с домами, но над ними чаще всего водружены древки с лоскутком белой материи или неизменным бунчуком". Особенно же интересно, по впечатлениям Кастанье, кладбище Шейхантаур, где находится всеми почитаемая могила блаженного Хазрета Шейхантаура. Над ней возведён мавзолей, украшенный высокими шестью с полумесяцами наверху, на концах которых привязаны куски белой материи и лошадиные хвосты, указывающие на присутствие святого духа под этим куполом. "Доступ в мавзолей, — пишет Кастанье, — оказался делом нелёгким: только обещания на чай и просьбы проводника умилоствовали сторожа, который с бесконечными предосторожностями и призываниями Аллаха открыл дверь, запертую двойным затвором с крепкими замками, предварительно заставив снять обувь". Ожидания Кастанье не оправдались: голые стены, покрытые мхом, истекающие от действия времени и сырости, и в центре помещения три могилы, одна из которых, покрытая белой тканью, принадлежала почитаемому шейху, да святильник, напоминающий канделябр, стоящий близ неё, — таков был более чем скромный интерьер мавзолея.

Среди прочих архитектурных памятников старого Ташкента Кастанье выделяет мечеть Ходжи Ахрара, прилегающее к нему медресе и буддийский храм, куда его проводник даже не рискнул заглянуть.

Ещё более поразил Ж.-А.Кастанье Самарканд с его величественными лазоревыми памятниками архитектуры эпохи Тимура и тимуридов, где "купола, фасады, стены, колонны — всё сверкает голубыми и зелёными цветами; повсюду мозаика развёртывает свои рисунки, свои розетки, свои изречения из Корана куфическими буквами, покрытыми эмалью; лазоревые арабски на белом или жёлтом фоне; позолоченные цветы на зелёном фоне, всё отражает величие и славу арабо-персидской архитектуры".

В своих туркестанских странствиях Жозеф Кастанье побывал ещё в Бухаре, Чарджуе, Байрам-Али, Мерве, Геок-тепе, Красноводске и после возвращения оттуда, вдохновлённый увиденным, без колебания приступил к проведению самостоятельных археологических раскопок в Актюбинском и Оренбургском уездах. Подобные действия француза — не археолога — ни у кого не вызывают ни возражений, ни вопросов, поскольку это было обычным явлением в археологии того времени, когда методика полевых раскопочных работ находилась в зачаточном состоянии, а подготовкой профессиональных специалистов-археологов не занималось ни одно высшее учебное заведение России. Кстати, тогда же председатель Оренбургской учёной архивной комиссии врач А.В.Попов предложил составить силами членов комиссии, среди которых, понятно, не было ни одного профессионального археолога, брошюру "Спутник археолога" в помощь энтузиастам-краеведам.

К чести Жозефа Кастанье надо заметить, что свою работу в качестве археолога он предварил тщательным изучением всех предыдущих работ, производившихся в оренбургских степях с 1865 года. Важно, что обладая довольно редким талантом синтезировать знания, полученные его предшественниками, Кастанье всё более склоняется не к проведению самостоятельных раскопок на каком-нибудь, пусть даже самом интересном, но изолированном памятнике, а к анализу и систематизации того материала, что уже имелся в распоряжении российской археологии.

Как своего рода подготовительный материал к составлению археологической карты региона может быть рассмотрена одна из самых

крупных работ Ж.-А.Кастанье "Древности Киргизской степи и Оренбургского края".

Отводя от Кастанье обвинения в компиляторстве, предъявленные ему М.Е.Массоном в отношении этого труда, необходимо отметить, что, во-первых, подобная попытка систематизации уже известного науке историко-археологического материала не имела ранее прецедентов; во-вторых, при описании памятников наряду с перечислением всех доступных ему работ своих предшественников, Кастанье высказывает и свои собственные соображения, привлекая и оценивая как опубликованные материалы, так и рукописи, хранящиеся в Оренбургской учёной архивной комиссии, создавая таким образом историографию становления и развития археологического изучения центральноазиатского региона. И, в третьих, приступая к анализу древностей Оренбургской, Тургайской, Уральской, Акмолинской, Семипалатинской областей, Букеевской степи и Усть-Урта, учёный предлагает свою типологию различных памятников: могильных курганов, мавзолеев, почитаемых могил, городищ, архитектурных сооружений и т.д.

Впрочем, никогда не расценивая археологию как самодовлеющую и самодостаточную науку об утраченных мёртвых культурах, Ж.-А.Кастанье стремился, однако, выявить с её помощью — не самое ли для себя главное? — отблески древних культов и верований в космогонических и космологических представлениях современных ему азиатских народов. Поэтому во всех его трудах археология и этнография сосуществуют рядом, бок о бок, словно мёртвая и живая вода, которые только вместе способны воскресить мир древней культуры Востока. Такой же метод был блестяще использован Кастанье в его работе "Надгробные сооружения Киргизских степей", изданной параллельно на русском и французском языках.

"Киргизская степь, — писал он, — покрыта бесконечным числом бугров, которым рука человека придала всевозможные формы и под которыми почивает немалая доля истории нашей вселенной... Путешественник, близко знакомый со степью, любит смотреть на эти странные памятники, возвышающиеся там и сям, среди высоких трав, саксауловых рощ или песчаных пустынь. То одинокие, то сгруппированные на каком-нибудь холме, возвышаются они, как бы царя над равниной, и вид их не без прелести для этих пустынь, где всё, даже малейшая неровность земли, принимает необыкновенные размеры, иногда даже наводя невольный страх на путешественника". Так начинает Кастанье первую часть своего исследования, но сразу же вслед за этим поэтическим вступлением он делает анализ этимологии слова "курган", указывая, что сами киргизы называют эти сооружения по-разному, в зависимости от формы, цвета и назначения. Сам же Жозеф-Антуан различает погребальные курганы, сторожевые (они же путевые) и памятные, которые в свою очередь тоже различны...

Он предпринимает попытку проследить генезис формирования мусульманского надгробного сооружения, реконструировать традиционный облик мусульманской могилы, наметить — хотя и весьма условную — но всё же некоторую типологию.

"У киргиз похоронные обряды похожи на обряды татар или сартов... однако некоторые детали варьируются у разных племён. Это объясняется тем, что киргизы, как и все тюркские племена, в очень отдалённое время от нас исповедовали шаманство. Впоследствии воспринимая мусульманство, они не вполне могли отказаться от некоторых обрядов, присущих прежней

их религии; эти обряды, как отголоски, всё ещё сохранились до наших дней".

Другим интересным методологическим принципом, которого Жозеф Кастанье неукоснительно придерживался во всех своих работах, выступает сравнительный анализ. Прибегая к нему, французский исследователь пытался определить место и значение культуры и искусства центрально-азиатского региона в общем потоке человеческой цивилизации.

В работе "Культ змей у различных народов и следы его в Туркестане", толчком к написанию которой послужила одна из интереснейших находок — крупный амулет из чёрного камня¹ в виде двух змей, закрученных в кольцо и обращённых друг к другу, Кастанье отмечает предположение, что подобный амулет мог быть лишь "произведением человека, дающего волю своей фантазии". Выстроив широкий обзор культа змей у различных народов в древности и в современный период на основе рассмотрения мифологического, этнографического и археологического материала, он делает вывод, что культ змей, будучи пережитком фетишизма и тотемизма, был распространён во всех частях света. Связывая среднеазиатский каменный амулет с тастемским культом ежегодного празднования заклинания змей, Кастанье высказывает уверенность, что культ змеепочитания существовал и в Туркестане.

Русский писатель Юрий Домбровский — одно время работавший хранителем древностей Алма-Атинского музея, куда попало много вещей из коллекции французского исследователя, — писал о нём с некоторой иронией: "Семиречью (Кастанье был) предан фанатично. Куда он только не совался с ним! В Париж, в Музей человека, где он вручил "великому Мортилье" доклад о каменных бабах; в Тулузу, где он говорил о них же со "знаменитым Картальяком"; в Мадрид, где он в археологическом музее изучал иберийские надгробия. В Берлин, на Корсику, в Тунис, на развалины Карфагена. Все идеи и образы мировой истории, осевшие золотом, мрамором, гранитом и бронзой, этот человек хотел привлечь для того, чтобы они объясняли ему, что же такое каменные бабы его родных степей. Ничего из этого, конечно, не вышло. Карфаген и царство инков только вконец запутывали дело. Тайна так и осталась тайной"².

И всё-таки, оценивая научную деятельность Кастанье, необходимо отметить, что он намного вышел за рамки "типичного крета большинства дореволюционных археологов-краеведов, склонных ограничивать свою роль разыскиванием, собиранием и накоплением материалов для науки"³.

II

Франция, несмотря на то, что 28 сентября 1913 г. Кастанье принял российское подданство, оставалась его родиной, связь с которой он не терял никогда.

Более того, во время своего пребывания и в Оренбурге и в Туркестане Иосиф Антонович, он же Жозеф-Антуан, стремился делать всё от него зависящее, чтобы сблизить Россию с Францией, Париж и Центральную Азию. Он без усталы привозил из Франции последние издания научных книг и журналов, реферировал их содержание для своих коллег, знакомил с результатами французских научных экспедиций, рассказывал о новых, порой курьёзных, способах популяризации археологических знаний во

¹ Найден в кишлаке Сох, Фергана.

² Ю. Домбровский. "Хранитель древностей". Роман. М., 1991.

³ Б. Лукин. "Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане". 1958.

Франции, и, без сомнения, не упускал ни одного своего визита в Париж, чтобы не рассказать там о "чарующей" культуре здешних мест.

С августа 1905 г. Ж.-А. Кастанье, неоднократно писавший в своих работах о бедственном положении архитектурных памятников, безвозвратно разрушаемых временем, природными стихиями и безжалостными действиями людей, приспособляющих их к своим собственным бытовым нуждам, входит в комиссию по "выработке действенных мер к охранению памятников древности". Результатом работы комиссии стали тщательно продуманные "Основные положения об охране древностей". Охрана памятников, — под которыми подразумевались "памятники зодчества, живописи и ваяния; монументы в честь исторических лиц и исторических событий, памятники письма и печати, прикладного искусства, памятники исторической и доисторической жизни племён и народов, населявших пространство Российской империи... и вообще все памятники, замечательные по своей древности, художественному достоинству и историческому и археологическому значению", — объявлялась прерогативой государства, а их научные исследования допускались только с разрешения охранительных органов.

Параллельно Жозеф Кастанье в 1909 г. принимает на себя обязанности хранителя музея, находящегося под попечительством Оренбургской учёной архивной комиссии. Она размещалась на берегу Урала, в небольшом двухэтажном каменном особняке, находящемся в ведении Министерства внутренних дел Российской империи. Верхний этаж дома занял архив; в нижнем же приютилась библиотека, канцелярия и музей, основанный ещё в тридцатые годы XIX века В.И. Далем и насчитывавший к 1910 г. более 3.100 единиц хранения.

Удалённость от центра делала музей практически недоступным для публики, скученность неразобранных и несистематизированных экспонатов, отсутствие систематизирующих вещи каталогов — таково было наследство, полученное хранителем музея Иосифом Антоновичем Кастанье. Но воспоминания о ташкентском музее, организованном трудами Н.П.Остроумова, да старания помогавшего ему во всём письмоводителя комиссии М.М.Гельда, помогли Кастанье и привести в порядок пополнившуюся в результате обменов дубликатами нумизматическую коллекцию, и составить каталог монет, медалей, и провести опись палеонтологического отдела...

А чуть позже по инициативе хранителя древностей во дворе комиссии было выстроено деревянное здание, куда снесли лежавшие ранее во дворе пушки, окаменелые деревья, каменные бабы, котлы и другие громоздкие экспонаты. Была также организована строительная комиссия с главной целью — создать в центре города новое здание музея Оренбургского края.

Сам страстный коллекционер, Жозеф Кастанье, между тем, нередко передавал музею и собственные материалы, привезённые из археологических экспедиций или приобретённые в других местах. В 1910 году, например, он подарил музею "Телемака" — книгу на французском языке из личной библиотеки А.С.Пушкина. Он вообще планировал передать всё своё собрание древностей и этнографическую коллекцию Оренбургской учёной архивной комиссии к тому времени, когда построят новое здание, однако этого так и не случилось. Хотя, даже переехав в Ташкент, Кастанье не забывал посылать туда, передавая в дар, многие экспонаты из собственной коллекции.

Свидетельством же признания его учёных заслуг на государственном

уровне является письменная благодарность министра народного просвещения Российской империи за труд "Древности Киргизской степи и Оренбургского края", а также награждение его орденом Святого Станислава 3-й степени (1908 г.) и Святой Анны 3-й степени (1913 г.), его повышение в государственных чинах: в 1908 г. он получает чин коллежского асессора, в 1909 г. — надворного советника, а ещё через год, в 1910 г., Кастанье за выслугу лет произведён в чин коллежского советника со старшинством, что, согласно принятой ещё при Петре Первом Табели о рангах, соответствовало воинскому званию капитана I ранга во флоте или полковнику в армии и давало право личного дворянства в Российской империи.

По мере изучения истории, культуры и искусства центральноазиатского региона, которым Жозеф Кастанье, не колеблясь, отдал сразу и безоговорочно все свои симпатии, он всё более и более проникался мыслью, что центр тяжести всех древних азиатских цивилизаций лежит в Туркестане, что именно там — эпицентр многих исторических катаклизмов.

III

В июле 1912 г. Иосиф Антонович подаёт прошение главному инспектору училищ Туркестанского края с просьбой о переводе его в одно из учебных заведений Ташкента, Самарканда или Скобелева, мотивируя это ухудшением состояния здоровья и острым обострением ревматической болезни. А в августе, распоряжением Туркестанского генерал-губернатора, генерала от кавалерии А.В.Самсонова, бывшего по традиции почётным председателем Туркестанского кружка любителей археологии и заинтересованного в привлечении в Туркестан представителей интеллектуальной элиты, интересующейся Востоком, Кастанье переводят на должность преподавателя французского языка и классного наставника в Ташкентское реальное училище.

Давнее стремление осуществилось. Ташкент тотчас же принял его в свою интеллектуальную среду: Кастанье становится членом Туркестанского кружка любителей археологии и вступает в члены Туркестанского отдела Императорского русского географического общества.

В Туркестане Кастанье сразу же ощутил иную расстановку интеллектуальных сил по сравнению с Оренбургом. Пальму первенства в Ташкенте, в котором сконцентрировалось большинство востоковедов-профессионалов, проживающих в Центральной Азии, безоговорочно держала ориенталистика, что предопределило большую степень специализированности исследований по сравнению с универсализмом Оренбурга, разрывавшегося между изучением русской и азиатской истории.

Первоначально Жозеф Кастанье, в активе которого было вице-председательство в Оренбургской учёной архивной комиссии, государственное признание его учёных трудов, создание экспозиции оренбургского музея, воспринимался членами ТКЛА как солидный, заслуживающий всяческого уважения исследователь-востоковед.

Л.А.Зимин, например, который единодушно оценивается современными историографами как талантливейший исследователь, не рискуя самостоятельно приступать к археологическим исследованиям Пайкенда и Шахрухи и считая себя "недостаточно опытным в производстве раскопок"¹, предпочитал начать работу совместно с Ж.Кастанье.

¹ Протоколы Туркестанского кружка любителей археологии. Год VIII, 1913 г., Вып. II (Протокол № 4 от 30. IV. 1913 г.).

Правда, работы, по совету В.В.Бартольда, высказанному в личном письме к Л.А.Зимину, так и не были начаты в первую поездку, из-за опасения "за недостатком времени" испортить памятник; впоследствии они проводились обоими исследователями самостоятельно: Зимин приступил к раскопкам Пайкенда, а Кастанье дал описание развалин Шахрухии.

Важно, что Кастанье ещё в Оренбурге практически отказался от проведения археологических работ, отдавая явное предпочтение составлению археологической карты Центральной Азии. Ибо, в отличие от своего соотечественника и предшественника, члена дипломатической миссии, М.Шафанжона, взрывавшего в 1895 г., ради ускорения земляных работ и в поисках впечатляющих находок, глинобитные стены цитадели Афрасиаба, считал, что время начинать планомерные широкомасштабные археологические раскопки при отсутствии отработанной методики проведения полевых исследований ещё не настало.

К этому соображению в Туркестане добавилось ещё одно. Имея возможность наблюдать за работой местных исследователей, француз мог констатировать более серьёзный, чем в Оренбурге, уровень проведения археологических работ...

Не считая себя вправе делать что-либо хуже того уровня, который здесь утвердился в качестве общепринятого, Кастанье отказывается от проведения собственных раскопок, предоставляя более подготовленным исследователям право их проведения, отдавая им вместе с этим правом и честь первооткрывателя.

Отчёты Кастанье о рекогносцировочных поездках, впрочем, как и многочисленные доклады вызвали жаркие споры на заседаниях Туркестанского кружка любителей археологии. Причина этого, думается, не только в особой эмоциональности, с которой Иосиф Антонович преподносил результаты своих исследований, но, главным образом, в смелости высказываемых докладчиком предположений, порой разительно расходящихся с устоявшимися авторитетными мнениями.

Неоднократно Кастанье вступал в научные споры с В.В.Бартольдом, предлагая, допустим, то иную интерпретацию этимологии слова "Муг", то иначе локализуя древнюю столицу Уструшаны — Кирополис, отождествляя её не с равнинным Шахристаном, а с занимающим более выгодное географическое положение селением Ура-тюбе. При этом он ссылался на записки Бабура, тоже считавшего, что слово "Уструшана" было первоначальным названием города Ура-тюбе...

Но дело не ограничивалось одними жаркими дискуссиями, которые зачастую перерастали в прямые нападки со стороны ташкентцев, настроенно относящихся к работе "чужаков". Неоднократно туркестанские исследователи упрекали Кастанье в легковесности выводов и определённой склонности к беллетризированию, в допущении ряда исторических неточностей при изложении материала и не всегда корректных исторических параллелей.

Отчасти Кастанье сам провоцировал подобные нападки, в запальчивости полемического азарта провозглашая весьма двусмысленные принципы исследования: "...Чего дожидаются столичные учёные-археологи, чтобы предпринять раскопки? Или, может, того, чтобы неумолимое время или грубая рука человека уничтожила дотла столько памятников старины? Побольше свободы действия, поменьше требований к местным любителям археологии в смысле научной подготовки, губительной для дела. Время не ждёт".

В контексте подобного заявления логично выглядит рецензия

Л.А.Зими́на, помещённая в газете "Туркестанские ведомости" за 1914 год, где очень жёстко оценивается выступление Кастанье в связи с поездкой последнего в Наманганский уезд Ферганской области. Так, по мнению рецензента, "автору неизвестны самые элементарные приёмы научного исследования, *которые в настоящее время являются обязательными в университетах даже для студентов": отсутствие кавычек при приведении цитаты и указания страниц работы, откуда взята цитата; отсутствие единообразия в именах собственных и приводимых названиях географических объектов; незнание восточных языков и использование устаревших, плохих переводов письменных источников; разноречивость в приведении хронологических дат то по мусульманскому, то по христианскому летоисчислению и т.д. Подводя итог всем огрехам "внешне учёного, а внутренне бессодержательного" научного труда, Л.А.Зимин пишет, впрочем, оставляя за рамками критики этнографическую часть труда: "Всё весьма пространное (22 страницы) сообщение о городе Ахсыкенте и его развалинах, к сожалению, не даёт ничего нового, а многое старое, хорошо известное, только затемняет. Как мы видели, историческая часть не даёт никакого представления о действительной истории Ахсыкента, а описание развалин сделано без всякого плана и не идёт дальше описания... Поэтому приходится с грустью констатировать, что две поездки, совершённые на счёт двух научных обществ (ТКЛА и ТОИРГО — С.Г.) для науки ровно ничего не дали, и развалины Ахсыкента, действительно, в высшей степени интересные, по-прежнему остаются необследованными научно"¹.

Аргументация Л.А.Зими́на была отчасти принята Кастанье, который в ответном письме признаёт себя "простым любителем археологии", которому "могут быть не знакомы многие приёмы людей, специально подготовленных и получивших звание учёных", а потому, продолжает Кастанье, "на звание учёного я не имею ни малейшего права претендовать, ...мне свойственно ошибаться и моё мнение ни в коем случае не может считаться безапелляционным и стеснять свободу учёных археологов"².

Отсутствие серьёзного востоковедческого образования невыгодно отличало его от многих туркестанских исследователей. Но, будучи неутомимым путешественником, исколесившим вдоль и поперёк весь Туркестан, Кастанье во время своих странствий, совершаемых, к слову сказать, только во время школьных каникул и в праздничные дни, сумел обозначить многие перспективные для дальнейших историко-археологических работ объекты, деятельное внимание к которым было проявлено профессиональными археологами только спустя десятилетия.

Так, занимаясь в мае-июне 1913 г. изучением вопроса о локализации древнего городища Бенакент (Бенакет), "входившего в состав городов области Шаш, захиревшего в XIII-XIV вв. и, по-видимому, восстановленного, но уже на другом, близком к Бенакенту месте под названием Шахрухия (по имени сына Тимура Шахруха)"³, Кастанье, дав вслед за своими предшественниками Е.Т.Смирновым, М.С.Андреевым и муллою Алимом подробное описание городища, не только впервые составляет глазомерный план местности, отождествляя развалины Бенакента с пространством, которое "простирается на северо-запад от местности Шара-Кия или Шахрухия" и соответствует местности Тарат-Хана, о которой ещё в 1876

¹ Туркестанские ведомости, 1914 г., № 152.

² Там же, № 163.

³ Б.Лу́нин "Из истории русского востоковедения и археологии..."

г. писал полковник Д.К.Зацепин, но и указывает, что развалины городища Канка, представляющего "из себя обширное укрепление с высоким бугром, господствующим на северном углу", представляют в настоящее время в археологическом отношении "большой интерес, чем развалины Шахрухи"¹.

И действительно, как показали последующие археологические работы, проводимые ташкентским отрядом Института археологии Академии наук Республики Узбекистан, "именно в Канке находилась столица области Ши, упоминаемая китайскими источниками первых веков до и начала нашей эры", а позже именно здесь располагался один из самых крупных городских центров раннесредневекового Шаша, занимавший общую площадь около 159 гектаров.

Летом 1916 г. в поездке по Бухарским владениям, во время которой его сопровождал политический агент в Бухаре, член ТКЛА и будущий академик М.С.Андреев, французский исследователь, по словам Г.А.Пугаченковой, "осуществил беглый осмотр древностей Каршинского оазиса. Отметив здесь огромное число разного рода "курганов", он подчеркнул, что среди них следует искать город Навтаку, где в 328 г. зимовал Александр Македонский и через которую бежал Бесс. Это подтвердили исследования Кешской археолого-топографической экспедиции (1965 г.), отождествившие с Навтакой городище Ер-Курган".

Ж.Кастанье были отмечены и другие перспективные для дальнейших историко-археологических и этнографических исследований памятники и поселения: комплекс Абдулла-хана, крепость Захар-и-Мирон, развалины Касана, Бузачи, Кала-и-Дабус, селения Нур-Ата и Газган. Тогда же были описаны развалины Ногай-кургана...

Вплоть до своего отъезда из Туркестана французский исследователь входит в наблюдательный комитет при Туркестанской публичной библиотеке и Туркестанском народном музее, определяя во многом, как один из его членов, закупочную политику комитета.

IV

Среди одобрительных отзывов академика В.В.Бартольда, которые мы упоминали, есть слова, например, о том, что "...из частных собраний археологических предметов, с которыми мне удалось ознакомиться, можно упомянуть о собрании, принадлежащем И.А.Кастанье. Собрание является результатом многочисленных командировок и разъездов и хранится в полном порядке, происхождение каждого предмета точно указано".

И действительно, собрание Жозефа Кастанье было одним из лучших в Туркестане. Приступив к формированию коллекции ещё в Оренбурге, Иосиф Антонович пополнял её многими путями².

Большая часть коллекции была представлена керамическими изделиями

¹ Туркестанские ведомости, 1876 г., № 24.

² Так, интересен следующий факт: в 1911 г. Ж.-А.Кастанье обратился в Оренбургскую учёную архивную комиссию с просьбой предоставить ему в личное пользование "без определённого срока возврата" обнаруженные им во время археологических раскопок в Уральской области четыре предмета, бывшие, по всей видимости, амулетами ахеменидского времени. Свою просьбу исследователь мотивировал тем, что "специально занимается амулетами и имеет уже свою небольшую их коллекцию". Сведений же о том, что эти предметы были возвращены в музей Оренбургской комиссии, обнаружить пока не удалось.

XII-XX вв., дающими представление о различных школах художественной керамики Центральной Азии, фрагментами стеклянных сосудов, медной посуды, терракотовыми скульптурками, украшениями из камня, меди и стекла. Помимо археологического Жозеф Кастанье располагал также крупным этнографическим собранием, предметы из которого неоднократно демонстрировались им на заседаниях ТКЛА и ТОИРГО.

Все его коллекции, как, впрочем и другие крупные туркестанские собрания, были открыты для публики. А сам Кастанье, страстный коллекционер, был не чужд традиций меценатства: неоднократно передавал в дар библиотекам книги и брошюры по истории, археологии и этнографии Центральной Азии, жертвовал некоторые экземпляры коллекций музеем Туркестана и Оренбурга. Что-то, конечно, и продавал... Часть Эрмитажу, часть — и довольно значительную — свыше 500 предметов — Туркестанскому народному музею¹.

Впрочем, "предметы по археологии, не относящиеся к Туркестанскому краю, а также коллекции по этнографии" были переданы в этот музей бесплатно.

По свидетельству многих авторов, среди которых М.Е.Массон и Г.Н.Чабров, большая и лучшая часть коллекции была увезена им в Париж и, возможно, также в виде пожертвований осела в каких-либо французских музеях.

V

Но вернёмся к событиям 1914 г., когда на страницах местной прессы разгорелась бурная полемика по поводу деятельности Кастанье в качестве историка. После чего, ущемлённый в лучших чувствах, преподаватель французского языка в реальном училище несколько переориентирует свою деятельность.

Туркестанский отдел Императорского русского географического общества в то время сосредоточил своё внимание на вопросах этнографии, географии, геологии и сейсмологии, решение которых сулило в будущем ощутимую экономическую отдачу и должно было способствовать проведению более продуманной национальной политики на окраине Российской империи. Спелеология в этот круг входила отчасти, и Кастанье был практически единственным исследователем, занимающимся этой проблематикой. Но и в этой области его деятельность была подвергнута жёсткой критике.

М.Е.Массон писал: "И.А.Кастанье в последние годы усиленно рекламировал себя как археолога-спелеолога. В подтверждение он с разными вариантами всюду не без эффекта рассказывал выдуманную им невероятную историю, как во время обследования одной бухарской пещеры, когда ему пришлось ползти на четвереньках по узкой тёмной галерее, вокруг его шеи вдруг неожиданно обвилась ядовитая очковая змея из семейства кобр и начала душить своими тисками. Находясь уже на краю гибели, он вспомнил, что в кармане брюк находится перочинный ножичек, вынул его, раскрыл и, почти задышавшийся, осторожно, чтобы не задеть себя, перерезал на своей шее по очереди одно за другим три обвившие её кольца туловища змеи, которая имела свыше двух метров длины и была толщиной в 10 сантиметров. Естественно, что при подыскании археолога для Канигутской экспедиции его кандидатура была выдвинута в первую очередь. Трусливый от природы, Кастанье, побаиваясь встречи в ферганских горах с орудовавшими

¹ В 1920 году.

там в то время басмачами, сумел уклониться от предложения под благовидным предлогом необходимости выезда в Самарканд для обследования состояния архитектурных памятников.

Здесь его версия о счастливом избавлении от смерти в подземных ходах бухарской пещеры не произвела ожидаемого впечатления. Ему были высказаны соображения, что ядовитые, в частности, очковые змеи никогда не обвивают кольцами своих жертв, а что проделывающие это неядовитые туркестанские змеи не достигают приводимых им размеров, да к тому же не обитают в горных пещерах. Это вызвало с его стороны в защиту вероятности рассказанного происшествия энергичную попытку оправдаться тем, что зоологами в Туркестане установлены ещё не все породы водящихся в крае змей и, в частности, тех, которые обитают в малодоступных и необследованных пещерах. Тем не менее, бойкий француз после этого как-то сник¹.

Судить об объективности этого отзыва, ставящего под сомнение и спелеологические таланты Кастанье, сложно, ибо отношение М.Е.Массона к Ж.-А.Кастанье было более чем нелюбезным. Причиной тому, возможно, стало опубликование французским исследователем фотографии резной алебастровой панели, найденной в 1919 году на Афрасиабе и полученной от Массона "под честное слово без права публикации". Очевидно, он не мог простить Кастанье — и в том прав! — того, что многие ценные находки среднеазиатских древностей волею Кастанье, без чьего-либо разрешения, были увезены в Париж.

Пожалуй, только работа французского исследователя в качестве этнографа, кропотливо собирающего народные предания, сказки, песни, фиксирующего сохранившиеся традиционные обряды и поведенческие установки, не подверглась учёной критике. И, несмотря на то, что не заслужила известности и высокой оценки в советской историографии, спустя десятилетия всё же обнаружила свою безусловную ценность.

VI

Казалось, не существует силы, которая была бы способна разлучить его с Центральной Азией. Но октябрьский переворот 1917 г. радикально изменил ситуацию...

После 1917 года Кастанье начинает сотрудничать с новой властью: преподаёт, входит, как и прежде, в наблюдательный комитет при Туркестанском народном музее и библиотеке, занимается составлением новых музейных коллекций, вплоть до роспуска ТКЛА и ТОИРГО состоит членом этих научных обществ и ведёт соответствующую работу. Но, остро переживающий самые незначительные случаи проявления человеческого вандализма по отношению к шедеврам архитектуры, сейчас он особенно болезненно реагирует на катастрофические темпы уничтожения памятников, буквально сметаемых революционным вихрем...

В одной только Бухаре многие медресе с энтузиазмом перестраивались то в гостиницу, то в профсоюзные клубы; мечеть Гаукушан переоборудовалась в театр; сносились купола над торговыми рядами в центре города; Бухарский исполком, нуждаясь в кирпиче, разобрал мечеть Паянд. Бывшие эмирские дворцы Ситора-и-Мохи-хоса и Кармана были отданы на откуп облздравотделу и военному ведомству; исторические названия бухарских ворот заменили новыми, по имени главных деятелей бухарской революции.

¹ М.Е.Массон. "Падающий минарет". Т., 1968.

А в Коканде, в бывшем дворце Худояр-хана, наполовину разрушенном и загаженном, расквартировали обоз отряда особого назначения отдела ГПУ, при полном попустительстве и активном участии которого великолепный айван был разобран на дрова; деревянные двери, покрытые тончайшим кружевом резьбы и инкрустированные золотом, жестоко изрезаны, золото повыковырено, позолоченные ручки дверей вырваны, а расписной потолок снят для украшения другого здания...

Одно из красивейших зданий Ташкента — особняк князя А.А.Половцева — было поделено между читальней и детским театром-балаганом. На прибитых к резным изящным колоннам неотёсанных брусках сушили бельё вчерашние беспризорники — ученики училища им.Гаршина, расквартированного тут же. Старейшее кладбище Шейхантаур Ташкентское отделения Вакуфного управления собралось переделаты в спортивный комплекс — "для усиления пропаганды физкультуры".

Осознание безвозвратности подобных потерь подтолкнуло Жозефа Кастанье принять деятельное участие в организации охраны памятников, тем более, что опыт такого рода, полученный в Оренбурге, у него уже был.

Но дело осложнилось тем, что советская власть, смирившись с необходимостью использования старых "буржуазных спецов", не стала восстанавливать дореволюционные организации, каким был ТКЛА, и ориентироваться на международный опыт. Комиссия ВЦИК по делам Туркестана, в которую входили В.В.Куйбышев, Я.Э.Рудзутак, М.В.Фрунзе, М.З.Элиава, в 1920 году поручила своему уполномоченному Главноуправляющему Центрального управления по архивным делам Д.И.Нечкину заново "организовать дело охраны памятников старины и искусства в Туркестане". Заместителем Нечкина и уполномоченным ЦУАРДЕЛА в Ташкенте стал Ж.-А.Кастанье.

В мае 1920 г. возглавляемая ими комиссия приступает к осмотру памятников искусства в Самарканде "для принятия мер к их охране". К тому времени здесь уже работала комиссия, организованная в 1918 г. для спасения давшего сильный крен восточного минарета медресе Улугбека, куда вошли В.Л.Вяткин, Б.Н.Кастальский и М.Ф.Мауэр, и созданная в 1919 г. комиссия по охране памятников старины под руководством художника О.К.Татевосяна. Выслушав отчёты, Д.И.Нечкин и Ж.-А.Кастанье приступили к осмотру памятников.

Главным результатом тщательной рекогносцировки, — а было осмотрено более 20 памятников, — стало утверждение решением Главноуправляющего ЦУАРДЕЛА постоянной Самаркандской комиссии по охране и реставрации памятников старины и искусства, с которой на первых порах начинает сотрудничать и сам Кастанье.

Вместе с тем, многим было ясно, что необходимо создание самостоятельной государственной организации, наделённой всей полнотою власти в масштабе всего центральноазиатского региона. И такой организацией стал Туркестанский комитет по охране памятников природы, искусства и старины, учреждённый декретом Совнаркома Туркеспублики за № 127 от 23.V—1921 года.

Но в Туркомстарисе, который, казалось бы, мог стать оптимальным полем для реализации кипучей энергии Кастанье и отвечал всем его научным устремлениям, тем более, что новая организация в качестве одного из магистральных направлений своей деятельности обозначила "составление археологической карты Центральной Азии", — французскому учёному, однако, работать уже не пришлось.

В начале 20-х годов Кастанье вынужден был эмигрировать...

Истинные причины его отъезда неизвестны... Но, как пишет С.Маджи, первый биограф Ж.Кастанье, попытавшаяся дать позитивную оценку его деятельности в Туркестане, "...в 1918 г. ВЧК пыталась арестовать Кастанье по обвинению... в организации антисоветского заговора, но тот, будучи предупреждён, ...скрылся, затем опять вернулся в Ташкент и уехал вместе с военнопленными во Францию". Произошло это, судя по документам, в 1920 г.

Есть данные, что "...в 1917—1919 гг. (он) был связан с агентами английских шпионских комиссий, ...активно участвовал в борьбе с Советской властью, в связи с чем ушёл в подполье"¹, и что на Кастанье якобы "возложены официальные дипломатические полномочия как на представителя Франции в начальный период существования среднеазиатских республик"².

"Вероятно, — пишет С.Маджи, — на этом основании польский романист Б.Ясенский, также побывавший в Средней Азии и описавший события первых лет советской власти, упоминает о Кастанье как об агенте "Интеллидженс Сервис", активном участнике контрреволюционной организации"³.

Подобный приём достаточно традиционен для советской литературы 30-х годов, когда статус иностранца приравнивался к положению потенциального врага. Оспаривать полностью отношение Кастанье к иностранной разведке было бы, по мнению Маджи, также преждевременно, ибо приводимые факты свидетельствуют о чрезвычайной близости его к деятельности антисоветских организаций.

"Большая часть членов антисоветской организации и все те, кто имел контакт с ней, — писал Кастанье, — были схвачены и расстреляны. Иностранцы подданные из группировки Антанты не спасали положение. Ордер на арест предъявили и мне; опередив бдительность, я имел время скрыться. Английский майор Бейли и связной французский агент Капдевилль последовали моему примеру"⁴.

Возможно, ключ к пониманию тайны пребывания Ж.-А.Кастанье в Туркестане находится в одном из департаментов Министерства иностранных дел Франции, в Париже, куда в 1920 или 1921 г. тот уехал...

Увозя некоторые коллекции и первую археологическую карту Туркестана, Жозеф-Антуан Кастанье, как оказалось, не смог увезти с собой то ощущение Азии, которое могло быть только здесь, в этой Азии. С явно ощутимой ностальгией он не раз возвращался в своих работах, письмах и воспоминаниях к ней и только к ней. Но она теперь была далека и недостижима.

Материал предоставлен
*Французским институтом по изучению
Центральной Азии (IFEAC).*

¹ А.Зевелёв, Ю.Поляков, Л.Шишкина. "Басмачество: правда истории и вымысел фальсификаторов". М., 1986.

² С.Маджи. "И.А.Кастанье как историк Средней Азии". А.Зевелёв. "Из истории гражданской войны в Узбекистане".

³ Б.Ясенский. "Человек меняет кожу". Роман. М., 1960.

⁴ Цит. по С.Маджи.



Графика
Игоря ГУЛЕНКО

ФУКУОКО

Светлый день в моей голове
Сознание чего-то недоступного
Серый берег
Камни в песке
Крик птицы и деревья без ветра
С чего начинать Что делать если
не знаешь где начало
этой близорукой жизни
Я хотел быть счастливым
сказал японец кланяясь прохожим
Крики детей играющих
в чёрном песке беззвучного моря
Шум пилы по дереву

Токио, 1994.

О ФИЛОСОФИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

После того как разобрана грамматика узбекского языка, дабы не осталось впечатления, что разобранное так и останется не собранным, есть несколько путей. Один из путей „сборки“ языка — это овладение им, это разговор на языке. И всё же мы имеем здесь в виду другой путь — некий синтетический, обобщающий взгляд на язык, или же кратко говоря — философию языка. Возможна ли философия языка и что следует под ней подразумевать?

Система одного языка отличается от системы другого языка и это — факт. Каждый из языков, как известно, обладает, если не бояться тавтологии, собственной логикой или собственным языком. Так вот, каков он, узбекский язык? Поскольку традиционное грамматическое рассмотрение его даёт лишь первичный ответ на этот вопрос, то попытаемся теперь посмотреть на узбекский язык с точки зрения отражения им определённой системы взглядов, формирования этой системы взглядов, или, говоря совсем просто, рассмотрим связь узбекского языка и узбекского менталитета. Разумеется, многое из предполагаемого к рассмотрению и вынесению суждения может быть и естественно будет спорным, но как говорят узбеки, „беғунох Аллох!“ — безгрешен только Бог.

Что ж, проследим внимательно за языковыми явлениями, и прежде всего за особенностями на каждом уровне языка и попытаемся понять и объяснить их внутреннюю логику. Но прежде чем начинать разбор специфики отдельных частей речи, установим некую общую базу, некую достаточно отвлечённую норму, характерную для множества языков вообще. Не будем брать здесь в круг рассмотрения фонологию, поскольку, во-первых, есть достаточное количество специальных трудов, а во-вторых, поскольку это потребовало бы написания новой главы. Состав частей речи языка в общем-то напрямую соотносим со структурой человеческого познания: существительное обозначает в языке, как правило,

объект, местоимение — субъект, прилагательное — их качество, числительное — количество, глаголы и примыкающие к ним причастия и деепричастия — действия, наречия — качество и количество этих действий, предлоги — пространственно-временные отношения и т.д. Вот весь, что называется, инструментарий, которым мы орудуем в духовном мире. Можно представить себе различнейшие комбинации этих составляющих, но между тем не следует забывать и об их немногочисленности. Поэтому, говоря о тех или иных чисто языковых явлениях, следует помнить и об этих фундаментальных маркёрах нашего познания, нашего отношения к миру, что зафиксированы в языке, и именно относительно этой общей базы следует пытаться нащупать специфику узбекского языка.

Местоимение.

Достоин внимания достаточно служебное положение местоимения третьего лица „у“, которое одновременно есть и указательное местоимение (собственно, как персонификация третьего лица оно и возникло из указательного). Можно допустить, что для персонифицирующего мышления узбеков и их предков более важны были отношения диалогической структуры: „я—ты“, поскольку именно эти формы имеют разнообразную нюансировку (к примеру „сенлар“ — множественное число от „ты“, обозначающее нечто вроде „такие как ты, множество ты“ — не переходит в „Вы“ — „Суз“, „сиз“, „сизлар“ и т.п.) и отражены во всех личных окончаниях других частей речи, тогда как показатель третьего лица имеет нулевой аффикс („ишчман, чиройлисан, кетяпмиз“, но „у ишчи, у чиройли, у кетяпти“).

Вообще, плеонастическое подчёркивание почти любой части речи местоименным или личным окончанием, которое собственно и повторяет само местоимение, в отличие, скажем, от русского или французского языка — ещё раз говорит о значении, которое придаётся в этом языке, а стало быть и в способе мышления, отнесённости всего к лицу, о привязанности всей речи к конкретной персоне: мне, тебе, нам, вам, т. е. к тем, кто находится в диалогическом поле, в поле внимания.

О стяжённости этого языка в сферу конкретных отношений „я—ты“ свидетельствует в какой-то мере и употребление для третьеличных выражений типа „каждый“, „никакой“ и др. персидских по происхождению обобщающих местоимений „хар“, „хеч“. Косвенное отражение этот языковый факт находит и в вопросительном местоимении „кайси“ — „который“, которое состоит из двух частей: вопросительного „кай“ и условно-бытийного „эса“ (букв. „какой бы то ни было“). Условность существования третьего лица достаточно красноречиво оттеняет конкретную наличность повсюду в языке 1 и 2 лица.

Что касается аффиксации, то поскольку она обща для всего языка, то лучше рассмотреть её особенности на примере имён существительных, отметив здесь лишь два момента, а именно то, что, во-первых, аффикс множественного числа „-лар“ может прибавляться почти к любому местоимению (к примеру, как было уже сказано: „сенлар“ или же „йўзларинг“, „хар кимлар“ — „множество ты“, множество самих „ты“, множество „некто“ и т.п.), подчёркивая фундаментальность категории множественности для узбекского языка и соответственно для узбекского сознания, и что, во-вторых, аффикс личной принадлежности,

как и аффикс падежности, располагается вслед аффиксу множественности, но об этом речь пойдёт позже.

Имена существительные.

В чём особенность узбекских имён существительных? Если говорить об их лексическом составе, то это обилие арабских и персидских имён, особенно абстрактного свойства. Но это достаточно освещённый и осмысленный факт. Если же говорить о грамматических особенностях, то сразу же обращает на себя внимание отсутствие в узбекском языке категории рода.

Чем объяснить этот факт? Одно из возможных объяснений вытекает из всё той же природы диалогических отношений. В рамках прямых отношений „я—ты“ языковая дифференциация рода излишня, поскольку это различие очевидно и налично: я вижу, что ты женщина, ты видишь, что я мужчина. Ясно, что эта самая языковая дифференциация более значима в отношении третьего лица, но поскольку, как мы наблюдали выше, третье лицо имеет в природе этого языка довольно опосредованное положение, то и родовая дифференциация оказалась несущественной. И, с другой стороны, этот факт также может служить лишним доказательством большей значимости в узбекском языке, а стало быть и в узбекском сознании, **непосредственных, прямых, лицом к лицу отношений.**

Другая особенность имён существительных узбекского языка, впрочем, равно как и других частей речи, это их разнообразнейшая аффиксация. По существу, весь узбекский язык представляет собой почти бесконечное **варьирование определённых и неизменных основ посредством прибавления к ним разнофункциональных аффиксов.** Это языковое явление фундаментально для узбекского языка и, можно предположить, для узбекского сознания: **определённая, неизменяющаяся (консервативная?) основа прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате этой комбинаторики меняется целое.**

Не знаю, можно ли напрямую сравнить флективно-флуктуационные внутренние изменения в индоевропейских языках с революционными, мутационными, качественно-скачкообразными процессами, а происходящее в узбекском и сходных с ним агглютинативных языках с эволюционными, адаптационными, количественно-накопительными явлениями, но подобная параллель напрашивается сама собой. Во всяком случае, заманчиво распространить эту параллель и в сферу **узбекского менталитета, достаточно консервативного в своей основе и эволюционного в своем развитии.**

Рассматривая систему аффиксации более детально, должно заметить определённый порядок в прибавлении тех или иных функциональных аффиксов в случае употребления нескольких аффиксов одновременно. Так, прежде всего к основе имени прибавляются: 1) словообразовательные аффиксы, затем 2) аффикс множественности, следом 3) аффикс личной принадлежности, и в конце 4) падежные аффиксы (*йўл-чи-лар-имиз-да-гу-ни* — „то, что у наших путников“). Имеет ли это какое-либо значение или смысл кроме того, что это просто система языка? Иными словами, иерархична ли по смыслу эта система аффиксации?

Разумеется, нельзя сказать, что, к примеру, категория множественности для языка важнее категории принадлежности или наоборот, поскольку любая из этих категорий прежде всего существует в языке и, кроме того,

может употребляться самостоятельно при отсутствии другой („йўлчи-миздагини“ — „йўлчилардагини“).

Но вместе с тем, когда они употребляются вместе, совершенно недопустимо их смешение („йўлчимизлардагини“) и в этом смысле естественно говорить об определённом порядке. Всё же повторим вопрос: семантичен ли этот порядок? Можно предположить, что и да, и нет. При такой системе последовательности слово находит свое разрешение, исполняется, наполняется окончательным необходимым смыслом лишь по окончании. В этом смысле наиболее значима роль последнего элемента. А каждый предшествующий ему играет одновременно роль определителя для последующего и определяемого или окончательного для предшествующего. Именно в этом значении и именно для этого слова падежность более значима, нежели принадлежность, а принадлежность определяется множественностью. Ведь, к примеру, можно представить и другое строение этого слова: „Йўл-чи-миз-да-ги-лар-ни“ — „то многое, что у нашего путника“, когда смысл слова изменился, поскольку слово отражает здесь уже несколько иные отношения и в этом смысле семантика порядка диктуется семантикой отношений. Но в любом случае можно подтвердить, что последний элемент несёт окончательную разрешающую семантическую нагрузку, и как правило, при многоаффиксовом употреблении — это категория падежа.

Прежде чем анализировать особенности этой категории узбекского языка, заметим, что наряду с числом в отдельную категорию — и это видно из вышеприведённых примеров — в узбекском языке выделена категория обладания, категория принадлежности, опять же накрепко связанная с тем или иным лицом: *китобим, дафтаринг, мактабимиз, юртингиз*. Важность этой связанности для языка и мышления очевидна.

Что касается падежей узбекского языка, то, как и для других языков, известно, что эта категория оформляет синтаксические отношения различных частей речи, а в познавательном смысле означает и показывает пространственный, временной или иной качественный вектор тех или иных отношений между объектами.

Структура падежной категории узбекского языка отличается, к примеру, от соответствующей русской наличием исходного и местного падежа, т.е. можно предположить, что для узбекского мышления проблема пространственной определённости („откуда?“, „где?“) достаточно важна и значима (ср. с наличием в русском языке творительного: „чем?“ и предложного — „о чём?“ падежами).

В категорию падежа многие филологи выделяют и категорию сравнения узбекского языка на „-дек/дак/дей“. И впрямь, прибавление этого аффикса к любой из частей речи функционально равноценно прибавлению падежного окончания и влечёт за собой сравнение объекта, несущего этот аффикс, с каким-либо другим. Итак, в отношениях объектов друг с другом, их сравнение занимает в языке весьма важную, оформленную отдельным падежом роль.

Кроме того интересно порассуждать о том, что в узбекском языке, для общей природы которого, как было сказано выше, характерно расположение определителя перед определяемым, в категории падежа, например, как и во французском языке соответственно, происходит ровно противоположное: если во французском языке определители — предлоги „de“, „chez“ и т.п. — выступают впереди определяемого имени, то в

узбекском языке, напротив, в качестве определяющих падежных окончаний или послелогов они находятся **после** определяемого. Но в этом нет противоречия, поскольку, изменяя весь соответствующий комплекс посредством послелогов или падежных окончаний именно для последующего определяемого, это средство связи, к примеру, в узбекском языке, естественно, должно располагаться между определяющим, которым является этот изменяемый комплекс, и определяемым, которое по общему правилу располагается после определяющего комплекса.

Насколько важно или значимо в плане сравнения систем или логик мышления это различие между языками с предшествованием или последованием определителя и определяемого? Наверняка не следует обобщать однозначно и жёстко, поскольку в том же русском языке возможны различные варианты последовательности определяемого и определителя, равно как и во французском возможны и „*bon homme*“, и „*un homme bon*“. И всё же регулярность единого варианта в нормативном узбекском предложении позволяет с известной долей вероятности допустить и такое истолкование этого языкового факта, когда **мысль движется от окружающих, квалифицирующих, обстоятельственных признаков к самому существу объекта или процесса. Раньше говорится о качествах, и лишь потом о том, чему эти качества принадлежат. Качества в этой системе мышления предостоят самому объекту или процессу. Вектор этого познавательного движения — извне — вовнутрь.**

И всё же не следует абсолютизировать это положение, поскольку, во-первых, оно действительно лишь для нормативного функционирования языка; во-вторых, как известно, в отдельно взятом слове основа даётся сначала и лишь потом обогащается „квалифицирующими“ аффиксами; в-третьих, поскольку каждое последующее определяемое в предложении может служить одновременно и определителем для ещё более последующего и т.д.

Последнее обстоятельство, если вспомнить, что каждый из членов узбекского предложения может быть развёрнутым и составлять целый комплекс, наталкивает воображение на образ последовательно, слой за слоем очищаемой капусты, или же лучше — страница за страницей прочитываемой книги, когда всё заложенное исполняется к концу. В конечном итоге все языки таковы, но система мышления французского или русского языка, к примеру, в которой превалирует имя и затем оно описывается как „белое, толстое, бесформенное, несущее на себе собственное описание“, имеет всё же иной вектор восприятия — изнутри вовне.

Насколько фундаментально это „интравертное“ и „экстравертное“ различие языковых систем — об этом можно и следует подумать отдельно.

Говоря об определениях в языке, легко вспомнить, что в узбекском к этой категории может быть отнесена почти любая часть речи: два существительных, соединяясь друг с другом, создают пару „опредетель — определяемое“, прилагательные образуются, в отличие от французского и русского языков, почти из любых частей речи посредством соответствующих аффиксов, равно как способна субстантивироваться также почти грамматическая разновидность слова. Вообще следует сказать, что как язык, узбекский довольно искусственно приведён к классической европейской системе грамматики, где классы частей речи

достаточно строго разделены. В узбекском языке всё же несколько иная, функционально взаимозаменяемая система: есть словесные основы, именные или глагольные, которые также взаимопревращаемы, и есть функциональные аффиксы, которые и придают в основном слову качество той или иной части речи, подпадающей под ту самую привычную грамматическую систему. Иными словами, **узбекский язык как система — язык почти тотальных метаморфоз, когда из определённых основ могут быть образованы почти все основные части речи.**

Имеет ли это отношение к адаптационной способности узбеков, воспринимая любые описательно-внешние, функциональные формы, будь то феодализм или социализм, коммунистическая власть или государственный национализм, оставаться при этом в кругу предзаданных или неких других первичных основ, корреспондирует ли система языка с системой общественного мышления, что при этом вытекает из чего, чего больше в этом: креативности или простой комбинаторики, когда все изменяющиеся элементы заданы также наперёд и остаётся лишь перебирать их, соединяя друг с другом? — всё это вопросы, возникающие на базе приведённых „ума холодных наблюдений и сердца горестных замет“.

Но продолжим наше рассмотрение, перейдя теперь к системе счёта, или к **числительным узбекского языка.** Она, как мы помним, также агглютинантна, т.е. для образования чисел больше десяти строго регулярно следует называть число десятков или сотен и прибавлять безо всяких взаимных изменений название той или иной единицы. Все принципы аффиксации, о которых говорилось выше, действительны и здесь. Что же касается того самого известного внимания к персоне, то и в числительных, с одной стороны, выделены в особую группу те, которые говорят о количестве персон: *“биров, укков, уччовлон”* и т.п., и с другой стороны, как и с другими частями речи, с числительными соединяются персональные аффиксы: *“иккимиз, ўнтангиз”* и т.п.

Вообще, **качественное различие, его важность для узбекского языка** проступает и в категории числительных: почти для всякого класса вещей или существ, как было показано в грамматической части, существует качественный определитель счёта: если это растения — то *„беш тул ўрик“*, если люди — то *„ўн нафар инсон“*, если скот — то *„ўйгирма бош орамол“* и т.д.

Ещё одно явление, связанное с узбекскими числительными, может натолкнуть на некоторые размышления, а именно — отсутствие аффикса множественности *„-лар“* при появлении числительных, количественно определяющих это множество. Иными словами, в рамках узбекского языка существует неопределённое множество *„-лар“* и определённое множество, оформляемое числительными, и они строго разделены. **Дискретная система языка, напоминающая в системе аффиксации или в системе счёта принцип „шагового искателя“** телефонной станции, очевиден и здесь. Возможно или то, или другое, но по отдельности, а не вместе.

В специфике **узбекского глагола** прежде всего бросается в глаза его фиксированное последнее место в структуре нормативного предложения. Помещая действие в конец сообщения, узбек тем самым как бы воспроизводит и на этом, синтаксическом уровне вышеуказанную закономерность когда целое высказывание исполняется смысла лишь по

завершении. Как и в немецком или персидском языках из индоевропейской группы, в узбекском языке можно сочинить сколь угодно долгое предложение, до достижения конца которого не будет понятно — чем же завершится предложение: подтверждением, отрицанием, вопросом, призывом, в каком времени и в каком модусе. В этом смысле, есть некая предзаданность этого способа мышления, т.е. уже приступая к высказыванию, человек должен *представлять*, чем, каким действием и в каком модусе закончится действие, а не полагаться на то, что слова его куда-нибудь да и вынесут. Делать гносеологические выводы из этого положения — дело интересующихся проблемами психолингвистики, нам же важно повторение одного и того же принципа на многих уровнях языка, что, разумеется, формирует и формируется определённым способом мышления.

Что до комбинаторной способности узбекского языка, о которой было сказано довольно много и прежде, то вот маленький опыт, позволяющий увидеть эту способность воочию. Выдающийся узбекский учёный-гуманитарий Абдурауф Фитрат (1886—1938) как-то писал о том, что из одного слова „билмо“ („знать“) можно составить 99 (!) родственных слов. Но повторив этот опыт до конца с глаголом „урмо“ („бить“), я получил вот какие ошеломляющие результаты.

1) Залог (только посредством первичных залоговых форм можно образовать более 30 различных форм разной степени употребительности):

ур —	бей
уриш —	дерись
уришиш —	дерись вместе
урин —	будь побит
урил —	ударься
ургиз —	заставь ударить
урит —	лай побить
урдир —	позволь ударить к-л
уриштир —	дай соудариться
уришиштир —	совместно дай соудариться, помоги соудариться
уриштир —	дай побиться, помучиться
урилтир —	дай стукнуться
урилгиз —	заставь стукнуться
уриниш —	постарайся/побейся совместно
урилиш —	ударься совместно
ургизиш —	совместно дай ударить
уритиш —	совместно заставь ударить
урдириш —	помоги удариться
уринишиш —	совместно постарайся/побейся
урилишиш —	совместно будь побитым
ургизишиш —	совместно дай быть побитым
урдиришиш —	совместно заставь побить
урдирил —	будь побитым по чьему-то повелению
урдирилиш —	совместно будь побитым по ч-л повелению
урилтириш —	совместно побейся по ч-л велению
уриштириш —	совместно заставь к-л побиться/помучиться
урдиштирилиш —	совместно будь заставлен к-л быть побитым

урдириниш — совместно помоги к-л заставить к-л побиться/помучиться
 уринтирилиш — совместно с к-л будь заставлен побиться/помучиться
 уриштириш — совместно с к-л заставь драться/биться
 уриштиргиз — заставь к-л подраться/побиться
 уриштирилиш — будь заставлен к-л подраться/побиться
 ургизил — будь заставленным быть к-л побитым
 ургизилиш — будь совместно заставленным к-л быть побитым
 ургизилишиш — помоги быть совместно с кем-то быть заставленным побитым
 уриштиргизиш — помоги совместно заставить к-л драться/биться
 и т.д.

От каждой из вышеприведённых форм путём прибавления аффиксов *-мо*, *-иш*, *-ув*, являющихся аффиксами инфинитивности образуется ещё более 100 форм, мы же для экономии места дальнейшие примеры будем приводить лишь для самой первой формы „ур“: *урмо*, *уриш*, *урув*.

Поскольку вышеприведённые формы наряду с основами, от которых образуются все остальные формы, являются и повелительным наклонением для второго лица единственного числа, то прибавлением к ним аффиксов *-инг*, *-ингиз*, *-г / ил*, *-г / ур*, *-син*:

ринг —	бейте
урингиз —	бейте
ургил —	бей же
ургур —	да ударящий
урсин —	пусть ударит,

можно образовать ещё около 200 положительных форм. К каждой из последних форм можно прибавить аффикс множественности *-лар* (*уринглар*, *урингизлар*, *ургурлар*, *урсинлар*). Если брать в расчёт то, что из каждой из приведённых залоговых форм и форм повелительного наклонения можно образовать отрицательные формы (*урма*, *урмамо*, *урмаслик*, *урманг / лар*, *урмангиз / лар*, *урмагил*, *урмагур / лар*, *урмасин / лар*), то количество возможных форм умножается почти вдвое и составляет в наименьшем случае порядка полутора тысяч слов.

2) **Время** — от первичных 30 с лишним основ могут быть образованы следующие временные формы, которые мы всё для той же экономии места и времени приведём лишь для основы „ур“ и лишь для первого лица:

- ураман
- уряпман
- уралтир
- урмо даман
- урдим
- урганман, урмишман
- ургандирман
- урганим урган
- урадиганман
- урарман
- ургайман
- уражакман

ургумдирман
урган эдим /эканман/эмишман
урганим урган эди/экан/эмиш
уриб эдим/эканман/эмишман
урар эдим/эканман/эмишман
уралтган эдим/эканман/эмишман
урмо да эдим/эканман/эмишман
ургай эдим/эканман/эмишман
урадиган эдим/эканман/эмишман
уражак эдим/эканман/эмишман
урмиш эдим/эканман/эмишман
урувчи эдим/эканман/эмишман
ургур эдим/эканман/эмишман

и т.д., что в сумме даёт более 1500 форм, а учитывая изменение по 5 остальным личным формам — более 9000 форм. Поскольку каждая из этих форм имеет свою отрицательную форму, то в итоге вместе с предыдущими залоговыми изменениями количество слов, образованных от основы „ур“, достигает около 20 тысяч. Но и это ещё не всё.

Ведь наряду с повелительным наклоном, рассмотренным нами в залоговых формах, есть ещё условное наклонение:

урсам
уряпсам
уралтирсам
урмо да эсам
урди эсам
урган эсам
урмиш эсам
урар эсам
урган эдим эса

и т.д. — всего в наименьшем случае, с учётом 5 других личных и 6 отрицательных форм, не менее 15000 комбинаций. Прибавим к этому более 250 форм желательного наклонения: *урай, урайин, ургин, урайлик*, которые уже кажутся каплей в 35-тысячном море слов, образованных от единственной основы „ур“. Напомним при этом о целом корпусе такой грамматической категории, как **аспект глагола** и **модальности**, которые обозначают возможность или невозможность совершения почти всех вышеперечисленных действий:

ура оламан
ура олмайман
ура олдим
ура олмадим
ура олсам
ура олмасам

и т.д. и т.п., а также все два десятка **сложных глаголов**:

ура бераман
уриб оламан
урибо чи аман

урибгина ўтаман
ургач бораман
ургани бошлайман...

которые являются не произвольными соединениями, а семантически единичными словосочетаниями, относящимися именно к этому действию и характеризующими именно это действие *урмо*. Используя возможные комбинации, в том числе и отрицательные, мы получим много более полумиллиона (!) различных форм, означающих всевозможнейшие оттенки этого действия, происходящего из единой основы „ур“ — „бей“. Всякий, кто пожелает удостовериться в этом, может перемножить деепричастные формы:

ура
уриб
урибро
урибо
урибгина
ургач
ургани
ургали
ургунча
урганча
урмасдан

со вспомогательными глаголами, образующими сложные глаголы: *олмо, бермо, ўлмо, бўлмо, чилмо, юбормо, ўймо, ташламо, бормо, юрмо, ўтмо, ўтирмо, турмо, келмо, кетмо, кўрмо, билмо, ёзмо, бошламо...* — и провести по всем вышеизложенным грамматическим формам, включая и отрицательные. Разумеется, мысленный опыт, произведённый нами, во многом схематичен и приближителен в сторону уменьшения, но даже если учесть, что многие из приведённых форм, быть может, редкоупотребимы, малоупотребительны или же вовсе неупотребительны, тем не менее все они теоретически возможны.

Говоря об аффиксации глаголов, следует отметить, что достоин внимания и вопрос о порядке следования глагольной аффиксации. Как и в случае с классом имён, порядок аффиксации теми или иными качественными показателями достаточно регулярен, — так, в случае „полной нагруженности“ глагола всеми специфицирующими аффиксами порядок их следования таков:

основа глагола — залоговый показатель — показатель наклонения или модуса — временной показатель — показатель лица вместе с числом — аффикс вопросительности,

или, если свести этот порядок к качественному, то прежде всего называется само действие, затем характер связи действия с субъектом, характер отношения действия к реальности, время совершения действия и лицо, которое его совершает. Опять тот же самый вопрос: есть ли в этом порядке некая иерархия описания действия? Трудный вопрос, ведь, с одной стороны, если предположить большую значимость для узбекского языка конечных элементов структуры, акцентацию именно на них, то, с другой стороны, сама основа, без которой всё остальное не имеет

никакого смысла, равно как и невозможность манкирования каким-либо из элементов этого порядка, говорят о значении и предшествующих элементов структуры. В этом смысле опять же лучше говорить об обоюдонаправленной системе, а не об иерархии этой структуры. Трудно сказать, важнее ли для узбека то обстоятельство, кто выполняет действие другого обстоятельства, когда выполняется действие, или в какой реальности, как оно выполняется, но одно обстоятельство достаточно очевидно: описание действия идёт от общего ко всё большей его конкретизации.

Говоря о временах узбекского глагола, прежде всего легко заметить явное превалирование всевозможнейших оттенков прошедшего времени над формами настоящего и особенно будущего времени. Прошедшие времена, что называется, „смакуются“ на различный манер: тут и исполненное действие, и действие, постоянно исполняемое, и действие, имевшее место в прошлом, но известное с чужих слов, и т.д и т.п. Что же касается плана настоящего и будущего, то для узбеков они зачастую сливаются воедино, чистые будущие времена почти не употребляются в языке, а к примеру, время аффикса *-ар* (*олар*, *борар*), которое в других тюркских языках отчётливо сохраняет черты будущего, у узбеков приобрело черты предположительности, неуверенности, вероятности, гипотетичности. Иными словами, узбекский язык обращён своим взглядом более в прошлое, нежели в будущее. Если вспомнить, что действие, как таковое, в структуре узбекского предложения предзадано, то в итоге получается, говоря ненаучными словами, достаточно фаталистическая система представлений, когда, двигаясь вперёд к заранее определённой точке, ты обращаешь свой взгляд, тем не менее, назад, как человек, едущий на задней площадке трамвая.

Из других особенностей узбекского глагола, указывающих на некоторые специфические черты узбекского способа мышления, можно указать на выделение в отдельную речевую категорию аспекта возможности-невозможности выполнения действия, т.е. и в этом узбеки показывают себя достаточно реалистически и наперёд мыслящим этносом.

Далее интересно и то обстоятельство, что желательное наклонение в некоторых формах пересекается с повелительным наклонением, т.е. желание и повеление по существу оказываются одним и тем же.

В отличие от французского употребления условного наклонения, узбекское условное наклонение пронизывает все имеющиеся времена, равно как и модус чужесловности, чужесказовости (*эса*, *экан/эмш*), и в этом смысле в логике узбекского мышления модальности бытия (реальное/ирреальное) — равноценны по отношению к категории времени. Однако откуда и куда направлен вектор этого отношения: то ли время одинаково значимо для всех видов реальности и ирреальности — от бытийной и до словесной, или же все формы реальности/ирреальности и придают смысл времени, — это вопрос, что называется, на выбор.

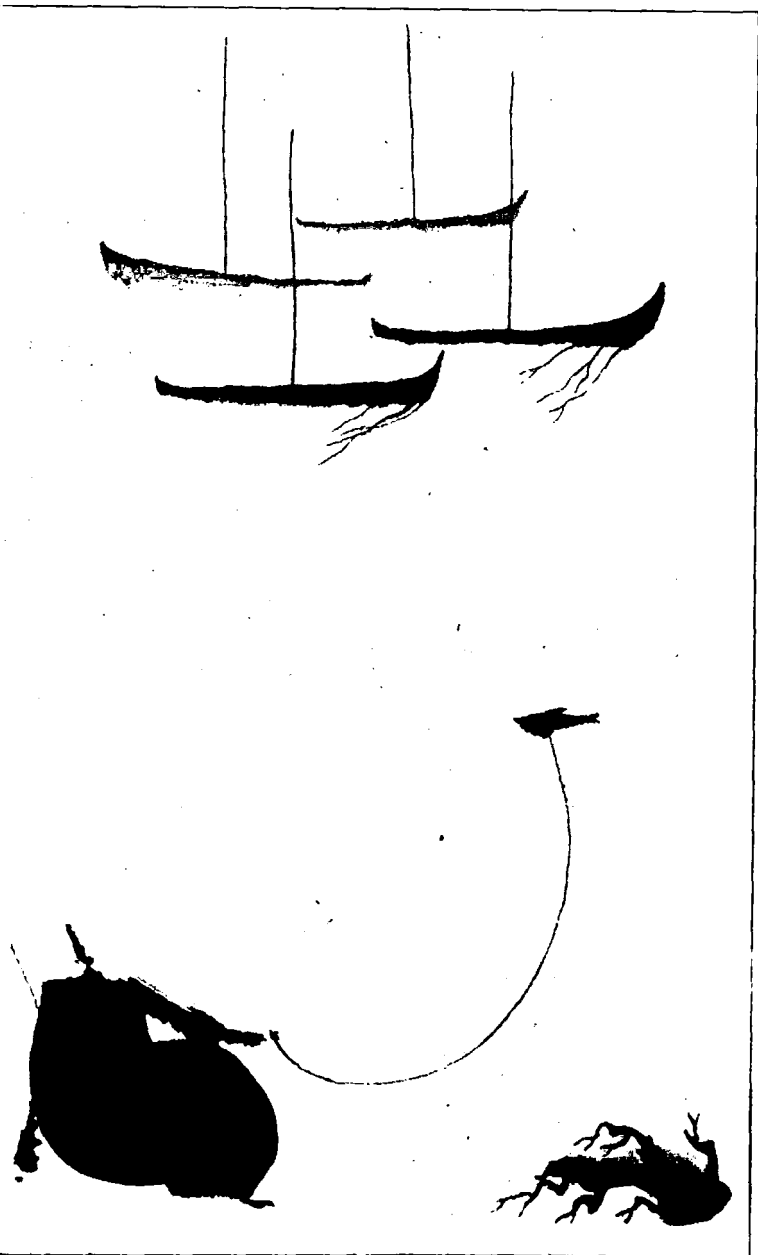
В глагольной группе узбекского языка весьма интересно и отлично от других языков место и значение деепричастий. Наряду с обычным, к примеру, для русского, английского или французского употребления

деепричастия, которое сообщает о независимом, но одновременном с основным действием: „Читая эти строки, он думал о другом...“, в узбекском языке чрезвычайно распространены единые деепричаточно-глагольные комплексы (*ола туриб, кўра солдим, ташлай олмади* и т.п.), которые уже не мыслятся как два одновременных и самостоятельных действия, а представляют собой одно действие, в котором определяющую роль играет деепричастие, тогда как глагол придаёт этому комплексу тот или иной оттенок. Как может быть истолкован этот феномен языка, когда в подобных цепи могут объединяться враз несвойские действия?

С одной стороны это свидетельствует как будто бы о **чрезвычайной внимательности к дифференциации различных действий, степени и качеству их исполнения и т.п.**, но, с другой стороны, при сравнении с другими языками, можно заметить, что зачастую глаголы в подобных сочетаниях играют ту же роль, что и наречия в других языках, т.е. даже глаголы становятся определениями различных оттенков других действий или, иными словами, **даже действие становится в этом случае лишь описанием другого действия.** Уравновешенность этих достаточно противоречивых тенденций также способна прояснить некоторые черты узбекского менталитета.

Конечно же, при случае, следовало бы рассматривать всякое специфическое в языке как отправную точку для рассуждений о специфике национального сознания; к примеру, только тот факт, что сложные глагольные образования с основным глаголом „*олмок*“ („брат“) или „*билмок*“ („знать“) — „*ёза олмок, ўкий билмок*“ и т.п. означают возможность совершения того или иного любого действия, и даже образуют самостоятельную грамматическую категорию — аспект возможности/невозможности, охватывающий все глаголы узбекского языка, — тот самый факт, что „*мочь*“ других языков обозначается в узбекском через „брат“ или „знать“, уже может послужить толчком к некоторым выводам, созвучным завоевательной истории тюркских народов. Но подобных языковых особенностей столь много, что вместо главы, в таком случае, нам пришлось бы писать новую книгу.

Именно поэтому мы вынуждены останавливаться лишь на наиболее заметных языковых особенностях, как, например, сочетание в узбекском языке всех временных причастных (перфектных) форм лишь с глаголом бытийности „*эмок*“, при отсутствии формы со вспомогательным глаголом обладания (фр. „*avoir*“, англ. „*to have*“, нем. „*haben*“). Категория бытия оказывается в узбекском причастии более всеобъемлющей и не переходит в категорию обладания в этом случае, равно как и не подменяется ею. То есть, „*быть*“ для узбека никогда не равноценно „*иметь*“.



Графика Сергея СПИРИХИНА

Майкл Маклашевич

ПИСЬМО О СЕИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

В прошлом году (№ 7-8) "ЗВ" опубликовала программную работу польского художника и идеолога искусства Майкла Маклашевича "Философия Сё". Немножко плавая в некоторых вопросах этой своеобразной и диковатой культурологии, переводчик обратился к автору с письмом с просьбой их разъяснить. Майкл прислал ответ столь обстоятельный, что он скорее претендует быть второй частью "Философии Сё", развивающей положения первой, чем просто частным письмом. Невозможным оказалось снять даже частности, свойственные любому письму, ибо сеистика — это, конечно, игра, но игра с настоящими именами и обстоятельствами. Поэтому приводим его полностью.

К.Е.

Д., привет!

Твоё письмо произвело на нас необыкновенно вдохновляющее впечатление. Таких писем мы никогда не читали. Но теперь-то мы будем иметь представление о *настоящем письме*, вернее, теперь мы имеем его образец. Вот я смотрю на образец и думаю: сеист не имеет права подражать образцу! — и в одном этом кроется его [сеиста]¹ поражение. Если смотреть по-человечески.

Но сеистика — и в этом её прелесть — открывает для нашей [не чьей-нибудь] ментальности новый тип человечности: это как бы более характерная человечность, ситуативно-личностная человечность. ("Не-гуманистическая" — по Хайдеггеру. Т.е. это человечность не идеальная, а реальная, не такая, какая должна быть, а какая уж есть.)

Поэтому образцы предаются забвению. В идеале.

¹ В квадратных скобках — поясняющие слова переводчика, в круглых — примечания и пометки автора. — Д.А.

В действительности же этого никогда не получается: и сёист тоже пишет по образцам, идёт по следам культуры. Ему просто очень хочется уникальности — но даже это хотение не оригинально, оно архетипично. Так что сёистика — это поражение со всех сторон, это утопия. Но т.к. это утопия творческая, до тех пор, пока она будет оставаться творческой, у неё есть шанс оставаться на плаву. Какое-то время.

Сёистика живуча только в состоянии парадоксальности.

Поэтому твоё предложение о сотрудничестве невозможно не принять. Сотрудничество-война — это режим наибольшего сёистического благоприятствования. Я понимаю эту работу так: мы обмениваемся ображениями о сёизме, выстраиваем некий сёистический текст, к тексту делаем сёистический комментарий — это как бы программа-манифест о том, что мир-то, оказывается, не тоталитарен, а подвижно-сёистичен, что в каждый раз он может быть неожиданен и нов. Нужно только не зацикливаться, а быть готовым к этой новизне. Под этим девизом возможна любая оригинальная литература вплоть до бог знает чего. По крайней мере здесь всегда есть свобода для осуществления своего сё. Сёизм конституирует моральное право как раз на такое осуществление (так сказать, в лучших традициях русской раскольничьей мысли, где все основания ищутся в собственном понимании этих оснований). За образцами же литературы, думаю, дело не станет.

С этим первоначальным оружием уже можно вести войну.

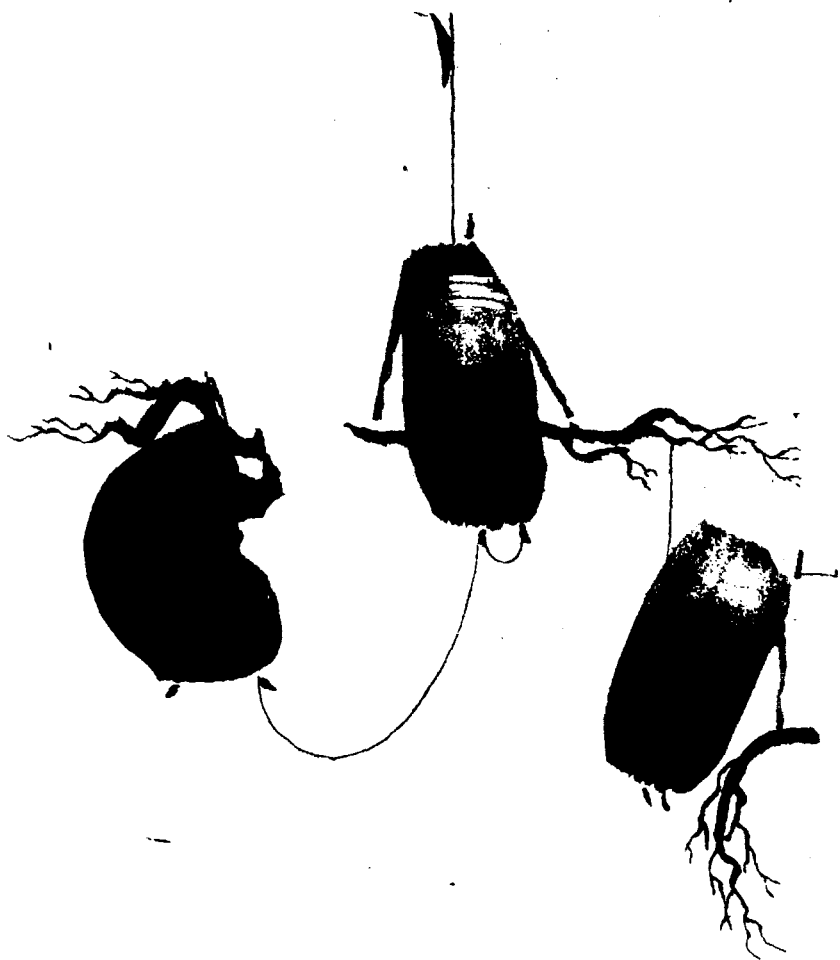
Кстати, о Sh. и Sh'овщине: всякая сёистика, кроме собственной, сиюсекундной, вызывает болезненные ощущения, т.к. это другое бытие — вид небытия, образ смерти. Её можно избегать, но она неизбежна, она всегда присутствует на горизонте — в данном случае в образе Sh. Это судьба. Судьбу нельзя устранить (как наивно думает R), её возможно только изжить, сжить со свету. А для этого нужно жить и быть живее, чем Sh. В этом, по-моему, заключается техника войны.

Но не на сёистический взгляд, а просто со стороны — журнал ваш всё-таки выглядел отлично, пожалуй, это был единственный теперь *культурный* журнал, журнал-музей иноземной культуры, католический десант. Издалека это выглядело красиво и, разумеется, вечно длиться не могло.

Вообще, сёистическая война — вещь прекрасная. Её оружие — формы, ритмы, краски, всякие полезные предметы и вещи высокого качества, именно с их помощью одни сё завоевывают другие сё, т.к. именно перед красотой труднее всего устоять. Красота зачаровывает, гипнотизирует, пленяет сё. Сё, насмотревшись на красоту, становится само не своё, оно забывает себя, оно отдаётся красоте. Но красота эта всегда чья-то: какого-нибудь злодея или злодейки.

Но буду отвечать на твоё письмо по порядку.

1. СЁИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА — это война смыслов. Мы смотрим на мир не впрямую, а через смыслы (через культуру, т.е. через язык, через *представления*). Война идёт именно за представления о мире. Я учу английский язык, т.е. учусь представлять мир по-английски. Если я учусь рисовать, то я учусь представлять мир как ваш художник Репин. Но и на самого Репина мы тоже смотрим чьими-то глазами — глазами друзей-передвижников, например. На Сократа мы смотрим глазами Платона, на Платона — глазами платонической традиции. И так далее. Сёистическая



стратегия заключается в том, чтобы посмотреть в глаза врагам своими собственными глазами, блестящими собственным смыслом.

2. Кстати, смыслы светятся именно в глазах: глаза всегда освещены неким смыслом. Это как бы общий сёистический смысл: медведь смотрит медвежьими глазами, у собаки — собачий взгляд, у сумасшедшего — безумный, у фанатика — взгляд фанатика, у рабочего — рабочий взгляд. У детей и мертвецов — нет в голове смыслов, и, действительно, взгляды их бессмысленны. Нет их и во сне. Так что ночью сёистическая война почти прекращается.

3. Сёистическая война заключается в подвешивании своих собственных смыслов в головы врагов.

4. Что касается стратегии собственно "Философии сё" — то она заключается в попытке аннулирования каких-либо до-сёистических смыслов:

для подлинной сѣистической войны необходимо расчистить поле битвы, освободить пространство от бессмысленных трупов и механизмов, которые всё ещё продолжают работать по инерции здесь и сейчас, хотя они уже давно потусторонни.

5. Это касается, кстати, каких бы то ни было богов и связанных с ними, как это называют [Р.Барт, Деррида и проч.], больших дискурсов. Именно их я имел в виду, называя это безличным сѣизмом, хотя, конечно, у них есть авторы: Магомет, Христос, Будда, Гайдар, Рерих, Перестройка, Постмодернизм и проч. В общем, всё, что называется вечными ценностями, духовными кладезями, к которым прикован человек. Почему необходимо отказаться от этого богатства? (Хотя бы мнимо отказаться.) Это необходимо именно для рождения сѣистического сознания. Ведь понятно, что Бог — это представление, это как бы смысл мира, в котором собирается мир. Кто верит в Бога, тот верит, что мир уже собран.

Напротив, сѣист верит, что мир ещё никем не собран, что его нужно собирать в своё(м) сѣ. Отличие сѣиста от верующего состоит в самом главном: сѣист верит в своё начало, тогда как религиозная личность верит в свой конец. Поэтому для сѣиста время открыто, будущее его не предопределено, оно многовариантно, оно постоянно зависит от каприза настоящего, оно чревато большими возможностями — тогда как в мире фанатиков возможен только конец. Т.е. это конец — искать основания для своего бытия в бытии Другого. Это небытие.

Начало сѣиста — это его сѣ.

Всё-таки до сих пор мне не совсем понятно, что это такое. Очевидно, что Сѣ с большой буквы — это уже мир субъекта, история его становления внутри ИВСВ [Истории Всеобщей Сѣистической Войны]; сѣ с маленькой буквы — это сѣ ситуативное: собирание человеком своих собственных смыслов здесь и сейчас. В это собирательное сѣ входят сѣ желания, сѣ воли — энергия и двигатель сѣиста. Но внутри желания ещё лежит первоисточник, вечное горючее — пустота. Это бесконечное То внутри маленького сѣ (это То, которое, "безличное и мрачное", мелькнуло на 6-й стр. под именем сѣ¹). И вся эта машина работает по принципу взаимного вос-хищения: мир восхищает сѣиста — восхищённый сѣист восхищает мир, — и в этом взаимном похищении мир и сѣист гибнут, открывая неведомое до них пространство пустоты... Такая красивая версия.

Или это можно вообразить как осыпание мира в ничто: Что осыпается в Ничто — и сам этот переход и есть сѣизм.

6. ОБ ОШИБКАХ В ПРЕДЕЛАХ СОБСТВЕННОГО СѢ. Сѣизм — дискретен, это как озарения, когда мы полностью захвачены *своим*. Но даже в этой захваченности возникают мгновения чего-то Того. Т.е. сѣист то сѣист, то несѣист. Не говоря уже о письме. Ты совершенно справедливо говоришь, что письмо — это память, это прошлое, что язык — это сѣистика отживших сѣ. И писатель тянет эту чуждую ему ляжку, но вдруг на него находит озарение: он как-то по-своему коверкает язык — и получает сѣистическую фразу: след контрагрессии против репрессий языка.

Т.е. сѣистика как бы спорадична, она *вспыхивает* — после чего её пытаются тушить. Более сильные (большие) сѣистики. Их ещё можно назвать обезличенными сѣистиками, метасѣистиками. Но в том-то и дело,

¹ См.: "ЗВ" № 7-8, 1995, с.184.

что большой сёизм — это уже не сёизм, а — дискурс. Сёистическая-антисёистическая машина.

Вообще, есть разница между сё и сё-измом. Это буквально противоположности. Сё — это исток, непосредственность, беспамятство, сё-изм — это развитие, специальность, учение. В этом и заключается парадоксальность ситуации — запечатлеть незапечатлеваемое, — но в этом как бы и законность этой ситуации. Мы чувствуем: так всегда и бывает.

7. Тот первый текст "Философии сё" и есть такой промежуточный опыт между сё и сё-измом. По ходу тут возникает такой вопрос: что, если сочинить небольшой словарь сё — и вставить его внутрь того текста?

Будет эклектика, но сёизм это и предполагает.

Например:

КУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ СЁИЗМА — напугать культуру, возратить культуре чувствительность.

НЕПОНЯТНОЕ. В идеале сёист должен быть абсолютно непонятен, непроницаем для прочтения.

СУДЬБА. Сёист не убегает от судьбы, как в древнегреческих трагедиях. Он идёт ей навстречу, он осуществляет свою судьбу, *пребывая в ней*. Именно поэтому он никогда не постижим Роком.

ТВАРНОЕ-НЕТВАРНОЕ. Всё, что сделано, — газеты, лампочки, машины, города, — это твари. Всё, что не сделано, — рыбки, деревья, сёисты, — это явления. Искусство тоже может быть тварное и нетварное: сделанное и явленное.

РАБОТА. Сёист — рабочий человек, он постоянно чем-то занят, и всё, что ни попадает ему под руку, попадает в сёистическую переработку. Это обыкновенное явление.

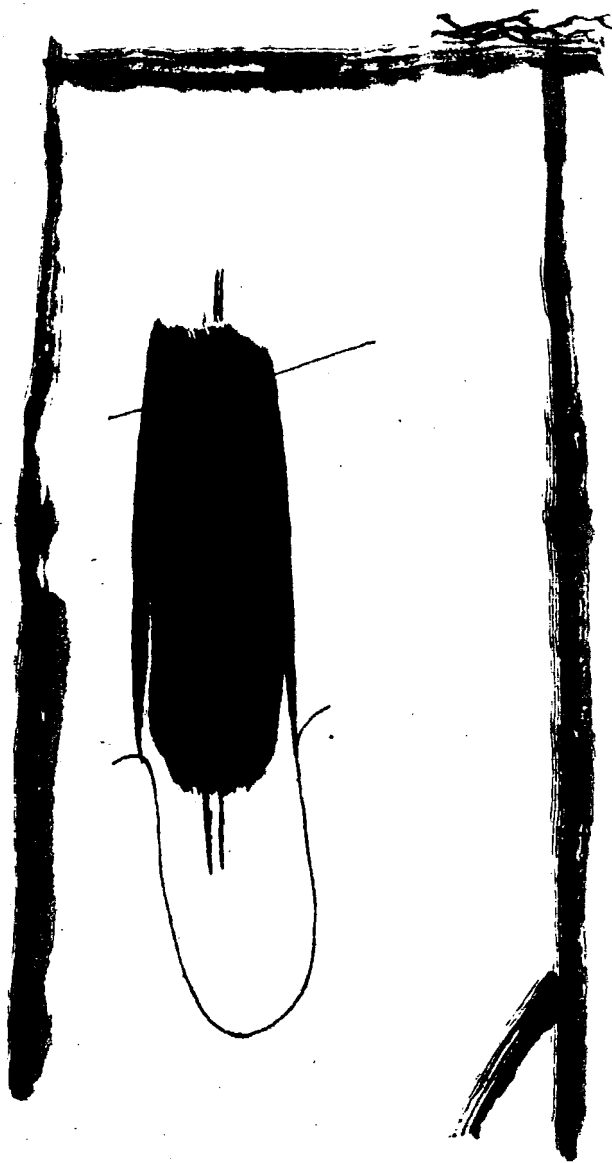
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. — Такого нет. Сёист никуда не совершенствуется. Он соответствует самому себе.

РОЖДЕНИЕ. Сёист рождается со смертью своего Эго: со смертью своих *представлений* о самом себе. Лишь похоронив свои представления, человек может *появиться*.

...Продолжаю писать письмо после некоторого перерыва. Сегодня 2 января. За это время произошла битва между сё и дао. Даосы были разбиты. Они проповедуют недеяние. Но это раньше можно было ничего не делать и быть исполненным бытия, т.к. бытия было много. Теперь бытия уже нет. Мир исполнен вещей, реальности. Чтобы вновь было бытие, необходимо расчистить эту переполненную реальность, необходимо навести в этой реальности пустоту, открыть Ничто — и поселить там Пустое Место. Это можно назвать воздухом, атмосферой, духом, тоном, настроением, ментальностью, аурой, умонастроением, временем или бытием.

Даосы это называют дао. В сёизме это называют сё. Поэтому в наше время проповедовать даосизм, буддизм, Рериха или Кришну — это бездуховность. Внутри даосизма уже нет Пустоты, в Обществе Рериха нет места для умонастроений, в Постмодернизме все варианты просчитаны. Только сёисты, имеющие Пустоту внутри себя, ещё обладают некоторой призрачной духовностью. Они-то как раз и есть — хранители Бытия.

Тогда как все, кто ходит под флагами духовных традиций — это



оборотни: духовность не может быть традиционна, время "сейчас" не может быть то же самое, что было "сейчас" в прошлом году. Духовная традиция может заключаться только в том, что каждое "сейчас" может быть только новым.

(Да, кстати, поздравляем тебя с Новым годом! Мы справили его по-сёистически (действительно — по-новому): в окружении 12-ти ёлок, читая бумажный "Телевизор". I.f.N. говорит, что это начало эпохи неолита: нового забвения. Мы тебе желаем новых впечатлений: несчастья, нездоровья и успехов в труде.)

О ПОРАЖЕНИИ, и, вообще, о негативности. Я имел в виду неудачу, поражение в обыденном смысле: когда нам нечто не удаётся, когда проект провален, мы возвращаемся к самим себе, к своему собственному ничтожеству, к своему Ничто, к сё, к разбитому корыту, к началу сказки. Когда же мы испытываем победу, триумф — то это конец сказки. Поэтому победа — это всегда победа над собственным бытием, а поражение есть рождение бытия, рождение одиночества.

Сёизм — это одиночество. Это Булюлюм.

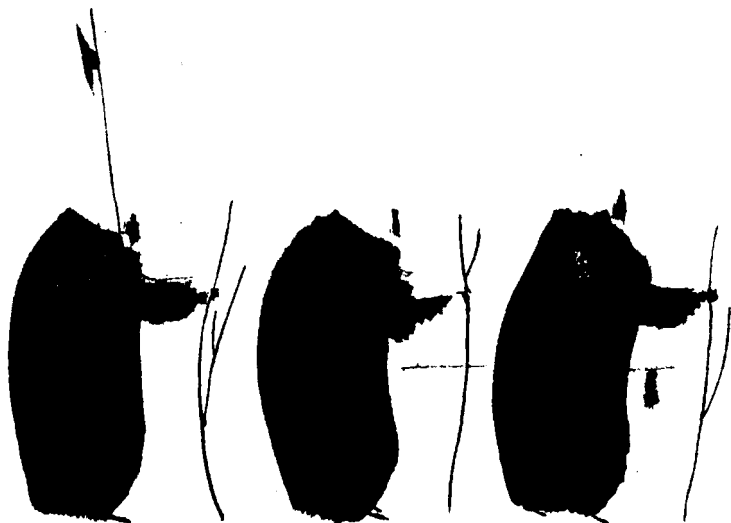
Ты говоришь, что необходимо отделить сёизм от того же экзистенциализма. Экзистенциализм [на деле] — абстрактен, сёизм же всегда конкретен, как байронизм, как гитлеризм, как есенинщина или уайльдовщина. Поэтому о сёизме нужно говорить не абстрактно, а как о сёизме-R'овщине, сёизме-Sh'овщине, сёизме-K'овщине. Поэтому наши абстрактные рассуждения — это всего лишь *введение в сёистику*, именно сё-изм, а не собственно сёистика. Сёистика начнётся тогда, когда мы будем говорить о себе.

[Продолжу словарь:]

ИСКУССТВО. В искусстве главное не *что* и не *как*, а — сё.

ПОЛЕ БОЯ. Сёистическая война (война смыслов-сё) всегда ведётся в *пространстве*: человек занимает пространство, книга с его идеями занимает пространство, флаг занимает пространство. Эта война ведётся в пространстве-здесь. Т.е. чего нет здесь — то мне не соперник. Все те, кто есть здесь — все мне соперники. И сами люди, и знаки их сёистики. Т.е. всё, что находится здесь — твоё письмо, 12 ёлок, I.f.N. и книжка по постмодернизму, как только я обращаю на них внимание, — становятся *временем, сейчас* — событием, и через это событие попадают в моё бытие, в пространство моей истории, в моё сё. Смыслы, которые содержатся в этих четырёх вещах, побеждают на часы, на мгновения, на 31 декабря мои собственные смыслы. Они торжествуют победу в лагере моего сё. Я предпринимаю ответные действия: пишу ответное письмо, покупаю 12 ёлок, сочиняю книжку по подрыву постмодернизма.

О МОРАЛИ. Ты спрашиваешь о морали. Всякая мораль как смысл есть агрессия против другого смысла. В этом смысле мораль аморальна. Недавно на Невском ко мне подошли двое убогих: подайте на церковь! Я полез в карман, вытащил чудовищную пачку денег, спросил: сколько нужно? И тут мне они говорят строгим голосом: а как у вас насчёт "совести", как обстоит дело с "добром"? Я спрятал пачку денег обратно, сказал в их бессовестные глаза: у меня с этим делом всё нормально, а как у вас? Они испугались, потащили друг друга прочь. Мораль: когда речь заходит о морали, все становятся подонками.



Да, самое главное: в чём ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ СМЫСЛ СЕИЗМА: сеист, обнаруживая себя как сё, как неподождность, как уникальность и единичность, как одиночество, обнаруживает тем самым *для других* себя как *Другого*, он становится Чужим для Другого, оставляя тем самым Другого в его собственном одиночестве, в его сё, один на один с собой. Таким образом, сеист, беря на себя участь сеиста, открывает не-сеисту пропасть его сё.

Ты упомянул о блефе. Действительно, мыслить — это блефовать. Нам нужно не бояться пытаться блефовать. Знания уже никому не нужны, просвещение давно кончилось; как говорит Хайдеггер, "нужно начать мыслить". Говоря сеистическим языком, нужно наконец-то начать писать.

В конце концов, сеистическая война — это всего лишь культура, и терапевтический смысл сеизма заключается в осознании этого *всего лишь*. Мир человека не безусловен, его всегда можно переозначить, написать заново — и тем самым избежать какого бы то ни было тоталитаризма, рока и невроза.

Перевод с польского
Джунаида АВТОРХАНОВА

Теперь, пожалуй, можно открыть три ипостаси одного из самых ярких авторов "ЗВ" периода 1991-96 гг., выступавшего как Мяо Мевяо (№ 5-6, 95), Майкл Маклашевич (№№ 7-8, 95; 3, 96) и, наконец, под собственным именем — Сергея Спирихина (№№ 7, 91; 5, 92; 7-8, 95). — К.Е.

Валерий Вотрин

ЧЕЛОВЕК БРЕДУЩИЙ

фантастическая повесть

ГЛАВА 1

Замок Безумцев стоял в долине, у которой не было своего названия, но имелась репутация, почти столь же зловещая, как и у самого замка. Малахитовое небо сверкало над ним алыми полотнищами зарниц, острые шпильки устремлялись вверх, и безобразные птицы сидели на зубцах его башен. Окна замка светились странным светом, который переливался и мерцал, завораживая всевозможными оттенками. У основания замшелых стен замка на ровной, хорошо освещённой светом кровавой луны площадке Хейзинга и Намордник Мендес играли в бамбару.

Дорога начиналась недалеко от них, заросшая дикой травой и кустарником, и уходила за холмы, на серую необъятную равнину, покрытую ядовитым ковылём и змеиными норами и залитую нехорошим лунным сиянием. По этой дороге к замку подходил Каскет.

Каскет был парень лет двадцати с бледным подвижным лицом, ясными голубыми глазами, крупным носом и улыбочивым ртом. Его волосы, тёмные и прямые, спадали на лоб небрежными прядями. Каскет был одарён во многих отношениях: он хорошо говорил, знал и любил древних философов, пел, плясал и умел играть на музыкальных инструментах. Он также был сведущ в колдовстве и мог постоять за себя в драке, зная, как управляться и со шпагой, и с мечом. Он нравился женщинам и некоторым мужчинам тоже. Его манера одеваться всегда была одинакова: красный кожаный камзол и зелёный

плащ. На поясе Каскет носил короткий меч с изумрудами на рукояти. В его карманах не было ничего сейчас и никогда ничего не водилось. Каскет был лёгкий и весёлый человек.

Тучи напоздли на луну, когда он приблизился к замку. Ещё издалека до него донеслись обрывки беседы, смысл которой уходил в дебри вековой игорной казуистики:

— Когда на третьей семёрке выпадает вилка, которую также называют чёртовыми рогами, а валет червей вынимает кинжал, чтобы поразить двойку и короля пик, — тогда и выходит бамбара.

— А дама? Куда девается она? Нет, вилка колет её в бок, она взвизгивает и вскакивает на короля, превращаясь в семёрку и становясь средним зубцом в вилке.

— Так ты не про вилку говоришь, а про трезубец. А он получается так, смотри... во-от... потом так... р-раз!

Слышалось шушание и азартные шлёпанье картами.

— Э! А туза? Туза-то ты забыл!

— Да не забыл я. Вот он. Он — башня пик. Дама томится у зарешёченного окна, а валет лезет к ней по верёвочной лестнице.

— Хм. А если лестница обрывается?

— Это и будет бамбара.

Каскет подошёл к ним и уселся рядом. Хейзинга был толстяк с впаянным в глазищу железным моноклем и париком, сделанным из стальных стружек. Глаза Намордника Мендеса, карлика с большими вислыми ушами, светились во тьме зелёным огнем. Над ними было вечно-беззвёздное небо с красным оком луны и светящиеся окна замка. За ними глухо возносилась вверх стена из дикого камня. Под ними был холодный выщербленный камень площадки. Перед ними был Каскет.

Ему дали его карты, и он устался в них.

— Десятка, — сказал Каскет, — вертит хвостом и заглядывает в глаза королю бубен, ибо пора отправляться на соколиную охоту.

— А на кого охота? — спросили его.

— На пустельгу, — сказал Каскет.

Намордник Мендес встал и потянулся.

— Недавно я сочинил стихи, — провозгласил он. — Слушайте.

Однажды в суровом и диком краю
К сосне привязал я лошадку свою.
Сходил по делам я, вертаюсь назад —
Сожрал мою лошадь бесстыжий бинфэн!

— Ха-ха-ха!

— Bravo, bravo!

— Стихи, достойные... м-м... даже сам не знаю кого!

Намордник Мендес расшаркался и сел.

— Итак, — произнес Хейзинга, уставясь моноклем в раскрытый всер своих карт, — на повестке ночи — определение бамбары. Первое: игра. Второе: игра карточная.

— То есть азартная, — вставил Каскет, покрывая шестёрку бубен двойкой пик.

— Именно. Поскольку это так, а никак не иначе, что могут подтвердить по меньшей мере три свидетеля, не считая прочих, число

которых совершенно точно установлено быть не может, что также засвидетельствовано упомянутым уже мною числом видоков, а именно — тремя, — заключаем, что бамбара — игра, игра карточная, игра азартная и, что самое главное, игра сложная. Все ли согласны?

Несогласных не было.

— Тогда, — продолжал Хейзинга, заставляя своего валета лезть под юбку даме трэф, — зададимся вопросом тождественности обыденных реалий и тем, что происходит здесь, под стенами строения, известного больше под именем Замок Безумцев, каковое название непосвященному странно, и даже весьма, хотя отнюдь не странно человеку посвященному, искущённому и сведущему. То есть, говоря слишком упрощённо, тождественно ли тождество и реальны ли реалии? Имеет ли кто высказаться?

Желающих не имелось.

— Вот, к примеру, ты, — обратился Хейзинга к Каскету. — Имя?

— Каскет, — сказал Каскет.

— Вот видишь, — сказал Хейзинга Наморднику Мендесу. — Он реален, а значит существует, дабы иметься в наличии.

— Да, — молвил тот.

— Далее. Замок Безумцев. Все знают, что в нём хранится благородный чёрный опал, называемый Сажей Вельзевула, из чего следует, что наш друг Каскет, в просторечии, вор. Воруга.

— Совершенно с вами согласен, — откликнулся Каскет, побивая туза трэф королём пик и делая вилку.

— Но возникает один вопрос. — Хейзинга поднял вверх почему-то четыре пальца. — По какой причине помянутый Каскет — единственный вор, пришедший сюда за последние семь лет? Имеется ли на этот мой вопрос разумный — я подчеркиваю, разумный, — ответ, или такового не имеется?

По-видимому, такового не имелось, ибо Каскет и Мендес продолжали молча обмениваться ходами. Луна, наконец, очистилась от туч, и вновь красный её свет залил площадку.

— Имеется! — торжественно вскричал Хейзинга, самолично отвечая на собственный вопрос. — Этот замок — Замок Безумцев. Он необитаем, если, конечно, не называть обитателем мага. А уж с ним не захотел бы встретиться никто, уверяю вас!

— Да уж, — согласился Намордник Мендес. — Никто, это точно. Даже я.

— А что за маг? — поинтересовался Каскет. Игра немного утомила его, и он был рад возможности перевести дух.

— Милый мой, — почувствованно положил руку ему на плечо Хейзинга. — Никто не знает его имени, ибо он не выходит из своего замка много лет, а за этот срок прозвание, если таковое и было, забылось. Но он там есть, и это доказывается хотя бы тем, что последний вор, тот, что был здесь семь лет назад, обратно к нам не вышел. Так что ты — очередная пожива этого старого хитреца.

— А, — спросил Каскет, — Сажка Вельзевула всё ещё там?

— Там, — печально кивнул Намордник Мендес, украдкой плутуя. — Но и колдун — тоже там.

— А как он выглядит?

— Кто? Камень?

— Нет. Колдун.

— Это длинный ужасный старик с пустыми белыми глазами и в балахоне, испещрённом таинственными символами.

— И больше никого в замке нет?

— Он надеется, — сказал Мендес Хейзинге. — Он еще на что-то надеется. Молодец. Я бы так не смог.

— Там один колдун, — произнёс Хейзинга, звеня своим париком. — Раздать ещё раз?

— Не надо, — поднялся Каскет. — Я иду.

— Давай, давай, — сказал Мендес и — Хейзинге: — Смотри, у тебя тузовая упряжка. Проморгал?

— Я всё вижу. У меня цуг, у тебя — карета.

— Ну-ну. Только вот бамбары пока ещё нет.

— Нет — так будет.

Когда Каскет входил внутрь замка, последними словами, им услышанными, были:

— Итак, на повестке ночи — определение бамбары. Первое: игра...

Внутри замок был тёмн. Начинаясь в сравнительно малом холле, вверх разбегалось множество лестниц. Лестницы были узкие, и казалось, что где-то наверху они переплетаются друг с другом, образуя огромный, запутанный узел.

— Ку-ку? — сказал Каскет. Ответа не последовало. Он потоптался на одном месте и решил подняться по той лестнице, которая была прямо перед ним. При этом он старался идти тихо, ногами не шаркать и не хрустеть суставами.

Лестницей, по которой он поднимался, вдавние времена пользовались часто: камни её ступеней были сглажены и отшлифованы когда-то ногами многочисленных гостей. Но сейчас она явно не использовалась: на ней лежала пыль и тлен веков.

Преодолев последнюю ступеньку, Каскет оказался перед низкой железной дверью. Над нею длинным медным гвоздём был приколочен растрескавшийся человеческий череп. Замка в двери не было. Каскет вытащил из кармана длинную деревянную щепку и сунул её в тёмное глубокое отверстие, зияющее в двери, словно голодный распахнутый рот. Раздался звучный хруст, и дверь начала отворяться.

Каскет вытянул щепку обратно: около половины её было словно начисто отъедено. Конечно же, не стоило удивляться хитрости волшебника. То ли ещё будет. Просто так можно было легко лишиться и руки.

Внутри было тёмно. В маленькой комнате с полукруглыми сводами в мутных тиглях рычало белое острое пламя, играя чёткими геометрическими тенями по стенам. Всё остальное тонуло во тьме. Пахло серой и ещё чем-то — очень неприятно.

На первый взгляд комната казалась несобитаемой. Каскет так и решил. Он неспешно вошёл внутрь и подошёл к выступившему из тьмы столу, заваленному свитками, заставленному пустыми ретортами, засыпанному шкурками неизвестных животных и птичьими черепами, заляпанному разноцветными кляксами от едких кислот и пахучих жидкостей. Камень тоже был здесь, в соседстве с рыжим огарком свечи и двумя общипанными перьями: чёрный отшлифованный опал в золотой корзинке, сделанной в виде гнезда феникса. Каскет, довольный, протянул руку, чтобы взять его.

— Вор!

Каскет оглянулся. Из тёмного угла с лежанки, которую трудно было заметить с первого взгляда, смотрел на него пустыми белыми глазами старик со спутанной бородой и в балахоне, испещрённом таинственными символами. Некоторое время они молчали, глядя друг на друга.

— Тайна жизни, — наконец произнёс старик, продолжая неподвижно смотреть на Каскета. — Никому не удавалось постичь её, разве только древним. Но они мертвы. Ты вор.

— Не буду отрицать, — с поклоном произнёс Каскет.

— Да падёт на тебя столбняк до тех пор, пока не скроется за тучами лик луны, — молвил маг, и на Каскета пал столбняк. Он застыл на месте, не моргая и не двигаясь. Только глаза его обежали всю комнату и вновь остановились на старике.

Голова колдуна упала на подушки. Он устало закрыл глаза и прошептал:

— Неистовые деяния моей жизни не дают мне спокойно уйти в другой мир. Довлея надо мной, они вынуждают оставаться здесь, пребывая в брэнной оболочке тела и скорбя о прожитом. Знание тяготит меня, вор. Страшные тайны известны и подвластны мне, ибо в своем добровольном заточении я не терял времени даром, проникая за древние завесы прошлого. Ты содрогнешься, услышав мои слова.

Каскет молчал — принуждённый заклятием.

— Тайна Бога, — говорил старый чернокнижник. — Чего только не отдали бы некоторые, чтобы узнать её. Я же постиг эту тайну. Ты тоже узнаешь её сейчас.

Луна продолжала мертвенно сиять.

— Есть условие. Узнавший тайну должен передать её другому, иначе не покинет этот мир. Шесть лет я томлюсь на этом жёстком ложе и семижды семь раз пожалел уже, что убил того последнего вора, который пришёл сюда, чтобы украсть мой драгоценный опал. Моя душа давно горела бы в аду, но сколь слаще для меня котёл с кипящей серой в сравнении с этим неудобным ложем. Ты воспримешь мою тайну, а я уйду, ибо устал. Ты согласен? Но ты не можешь ничего сказать, связанный заклятием.

Он хотел сказать что-то ещё, но в это время тучи внезапно наполнили на луну, и она перестала расточать свой тревожный свет. Заклятие спало с Каскета. Он выдернул свой меч. Волшебник говорил, закрываясь бессильными руками, но Каскет махнул мечом, и голова мага покатилась по полу. Из разрубленной шеи не вытекло ни единой капли крови. Голова подкатилась к столу и утонула на Каскета ненавидящими глазами.

— Может, так тебе станет легче? — съязвил Каскет и, схватив чёрный опал, сунул его к себе за пазуху. Голова внизу что-то пробормотала.

— Что-что? — спросил Каскет, склоняясь к ней и прикладывая ладонь к уху. — Ты что-то хочешь сказать?

На него упала тень. Он медленно поднял голову и увидел, что над ним возвышается нечто, стоящее на ногах, оканчивающихся двойными копытами. Оно было рогато и чёрного цвета.

— Боги Пора! — проблеял Каскет севшим голосом.

Нечто заговорило голосом мягким и приятным:

— Как ты повелишь казнить его, господин?

Голова на полу что-то хрипло выкрикнула.

— Я понял, господин. — Демон поклонился. Подняв недовольную голову волшебника, он бережно положил её рядом с телом, беспомощно шарящим руками. Затем повернулся к дрожащему Каскету.

— Пойдём, — сказал он, и Каскета схватило за шиворот, головой вперёд протасило в узкое окно, ободрав одежду, стремительно-мгновенно пронесло по воздуху, и в ту же секунду он обнаружил, что висит на грубом деревянном кресте, а его руки и ноги крепко привязаны к перекладинам. Крест стоял как раз на опушке того самого леса, который находился недалеко от Замка Безумцев и который путники старались обходить стороной. Низкое небо было мрачно. Над стоящим в отдалении замком на фоне багрового круга луны кружили чёрные силуэты огромных птиц.

До Каскета донёсся смех. Внизу, под крестом, стоял демон, принёсший его сюда.

— Если ты волшебник, — глумливо произнёс он, — сойди с креста!

С этими словами демон показал Каскету чёрный опал, темнеющий в его правой руке, и исчез.

Луну в очередной раз закрыло тучами. Пошёл холодный дождь, ледяными струями окативший Каскета с головы до ног. В лесу рычали — не по-человечески и не по-звериному. Зловещие молнии полыхали над мрачным замком.

Каскет в отчаянии задрал голову к неприступным небесам.

— Лама савахфани! — завопил он.

ГЛАВА 2

Каскет висел на кресте, и в голове его проносились мысли, чистотой своей и чёткостью сравнимые разве только с алгебраическими формулами:

“Холодно если не удастся слезть с креста погибну замерзну верёвки остановят кровообращение и тогда всё конец лес рядом звери хищные хищные птицы другие тоже хищные сожрут надо же было попасть в такую дурацкую передрагу опал пропал смотри-ка рифма дорога правда рядом но что толку никто по ней не идёт путники путники не оставьте меня здесь холодно холодно холодно”.

В лесу раздавались шорохи и хруст ветвей, мелькали светящиеся нехорошим вожелением глаза. Внезапно он услышал шаги. По дороге, слабо виднеющейся в темноте, торопливо двигалась фигура в капюшоне.

— Добрый человек, — взмолился Каскет с высоты своего креста, — помоги мне, и я клянусь, что отплачу тебе сполна за это доброе дело.

Человек остановился, с сомнением оглядывая высокий крест.

— Это слишком трудоёмко, — сказал он хриплым голосом. — И потом, откуда мне знать, может, ты опасный разбойник, распятый здесь за свои мерзкие преступления, и освободив тебя, я подвергнусь большому риску?

— Клянусь тебе, — вскричал Каскет, — я мирный человек и терплю над собой надругательство исключительно за незлобивый и добродетельный свой нрав. Спаси меня, и будешь вознаграждён.

— А может, — продолжал вслух размышлять человек, — ты закоренелый грешник, и такое времяпровождение тебе только на пользу? Тогда снять тебя с креста значит навлечь на себя твои же тяжкие грехи, а я законопослушный и искренне верующий человек.

— Добрый странник, — сказал Каскет, — поторопись, ибо я вижу, что вышел на опушку большой сируйт и ощерил свою громадную пасть. А мне очень не хотелось бы попасть туда.

Человек внизу решился.

— Лучше я оставлю тебя здесь, — пробормотал он, собираясь идти дальше.

— Человеке, — заорал Каскет, страх которого достиг своего предела, — остановись! Ибо ты бросаешь жертву на произвол хищных бестий. Я дам тебе всё, что имею.

Человек приостановился.

— А что ты имеешь?

— Я владею землёй, золотом, — начал перечислять Каскет, со страхом видя, что сируйт приближается к ним, — драгоценными камнями невиданной огранки, великолепными тканями, шитыми серебром, мягкими, как серый дым на ветру, прекрасными женщинами с гладкой смуглой кожей и загадочными глазами...

— Подожди, — торопливо произнёс человек, бросаясь развязывать путы Каскета. — Хотя я и сам богат, но, видно, есть на свете люди и побогаче меня. Только поклянись, что дашь мне всё, что перечислил.

— Клянусь фаллосом Тука, бога стрекоз, — пылко произнес Каскет.

— Тогда пойдём. Ибо ночь и непогода застигли меня в пути. Хотя, думаю, ты не будешь клясть судьбу за это.

И они пошли по дороге, уводившей их прочь от замка. Каскет, продрогший и разминающий свои члены, затёкшие от долгой пытки на кресте, непрестанно оглядывался. Ему казалось, что сируйт следует за ними, принохиваясь к их запаху. Но в это время он сам почувствовал зловоние.

Так пахнуть мог только сируйт. Каскет отшатнулся от своего ничего не подозревающего спутника и стал ступать по возможности тише. Зверь был рядом, и это пугало его ещё больше, чем долгое висение на грубом, нетёсанном кресте. Внезапно возле него сверкнули глаза чудовища, и тяжкое тело навалилось на спутника Каскета.

— Во имя всего сущего, — закричал тот, — помоги мне! Ибо ужасный сируйт напал на меня в ночи.

— Постой, — глубокомысленно проговорил Каскет. — А что ты мне дашь за это?

— А-а! — вопил путник, погибая в зубах сируйта.

— Ты не очень-то многословен, — недовольно констатировал Каскет, собираясь идти. — Ради спасения своей жизни можно было бы сказать на пару слов больше. Но я уже ухожу. Говори скорей, не испытывая моего терпения далее.

— Я дам тебе земли, золото, драгоценные камни невиданной огранки, великолепные ткани, шитые серебром, лёгкие, как серый дым на ветру...

— Где-то я это уже слышал, — пробормотал Каскет, быстро уходящий на юг.

Он пришёл в город Ыбдуз, в котором никогда ещё не бывал, но

слышал, что здесь живут люди простодушные и бесхитростные. Каскету всегда нравились такие люди, умилявшие его своей честностью и верой в высокие идеалы. Поэтому он без колебаний решил остановиться здесь — в надежде разжиться хоть малой толикой денег, так как опал остался у хитрого старого колдуна, а возвращаться в замок снова Каскету вовсе не хотелось.

Он ввалился в первую попавшуюся таверну, дом с толстыми каменными стенами и непристойными картинками над грубо сколоченными столами, и потребовал себе комнату и ужин, потому что был ужасно голоден — недавняя переделка возбудила в нём зверский аппетит. Служанка внесла ужин — хлеб, холодное мясо и кувшин пива, — и Каскет, поужинав, крепко уснул.

Наутро он отправился осматривать город. Ыбдуз был город большой, но небогатый, что соответствовало характеру его жителей, промышлявших земледелием и разведением скота. Вдобавок он лежал далеко в стороне от торговых путей, редкие караваны заходили в него, чтобы проследовать на местный рынок, и их нечастым визитам отнюдь не способствовало то, что окрестные леса кишели разбойниками, хищными сируитами и злыми колдунами, наславшими чёрную порчу. Сами же местные жители почти все без исключения были людьми отталкивающего обличия, страдающими разными физическими недостатками, и многие из них в полнолуние обращивались волками и страшными ящерами. Но, в общем, это были добрые и гостеприимные люди.

Толпа этих людей окружила Каскета на большой рыночной площади, куда он забрёл, будучи по натуре человеком любознательным. Такое поведение Каскету совсем не понравилось. Ещё секунду назад люди вокруг него были поглощены своими собственными делами, заключающимися в том, чтобы похитрее надуть друг друга или стянуть то, что плохо лежит, и вдруг немая, но недоброжелательно настроенная толпа окружила его сплошным кольцом. Люди Ыбдуза молча и явно враждебно изучали Каскета.

Наконец один из них, высокий человек с чёрной дырою вместо рта, сказал:

— Откуда ты, чужеземец, и расскажи нам также, чем ты занимаешься.

— Человек я мирный, — ответил ему на это Каскет, — иду к святым местам храмов Нергала и Сотота — кормиться подаванием. Любитель тихой душевной беседы и восторженный созерцатель чудес природы, кои являют нам справедливые и неусыпные боги.

Люди Ыбдуза с сомнением оглядели его.

— Нергал и Сотот весьма почитаемы в нашем городе, — сказал кто-то, — но вокруг в лесах обретаются кровожадные и лютые банды разбойников. Ты не из их ли числа?

— Нет, нет, — горячо запротестовал Каскет. — Я не могу даже помыслить об убийстве — это приводит меня на грань червонного припадка, и я начинаю трястись и дрожать, словно осиновый лист на холодном осеннем ветру.

— А как ты относишься к детям? — спросили его.

— Дети, — сердечно произнёс Каскет, — единственная отрада моей отнюдь не достойной примера жизни, наполненной скверной и грехами. Эти божи создания своим невинным лепетом и сиянием восторженных глазёнок исцеляют мою душу, раненную мерзостями мира, и мне

начинает казаться, что посредством этого я становлюсь ближе к небесам.

Жители города после этой речи восторженно зашумели. Их подозрительность как рукой сняло.

— Он — то, что нам нужно! — вопили в толпе женские голоса. — Он спасёт их! Скажите же ему! Скажите!

Каскету сказали. Оказалось, вот уже долгие месяцы город терроризировали компрачिकосы. Никто не знал, сколько их, но судя по тому, что недосчитались многих детей, компрачиковосов вокруг города тоже хватало. Это были остроумные компрачикосы: они прислали бургомистру записку, в которой просили не обвинять их во всех смертных грехах и благодарили за детей, кои оказались такими же уродливыми, как и их родители, что значительно упрощало труды компрачиковосов по превращению детей в карликов и других столь же потешных созданий. Записка была торжественно сожжена на городской площади, а город объявил компрачиковосам беспощадную войну. Причем жители Ыбдуза вовсе не отличались большой любовью к своим отпрыскам. Скорее тут имел место вопрос охотников и дичи, а дети значили здесь не больше, чем неизбежная причина конфликта. Кто-то высказал предположение, что объявился новый гаммельнский крысолов, но предположение с великим гулом и негодованием было отвергнуто, ибо родителями пропавших детей категорически опровергалось даже какое-либо отдалённое сходство их чад с непотребными гаммельнскими грызунами. Однако дети продолжали пропадать. Бургомистр города, худой паралитик в кресле-каталке, затесавшийся здесь же в толпе, обратился к Каскету:

— Чужеземец! Наш город небогат, и даже можно с уверенностью сказать, что город наш просто беден. Но мы с радостью дадим тебе некоторое количество денег, лишь бы ты нашёл нам наших детей. Ибо они — наше счастье, а счастье, можно сказать, из рук выпускать нельзя.

На что Каскет ответил, что с удовольствием готов помочь. Ему тут же была вручена достаточно солидная сумма, которую Каскет с внутренним ликованием и принял. Несколько благодарных донельзя женщин чуть не подрались друг с дружкой за право предоставления ночлега новоявленному спасителю детей, но тут вперёд вышла девушка, выгодно отличавшаяся от спорщиц и лицом, и фигурой, и Каскет поспешно выбрал её дом для предстоящего почтения. Спорящие с неохотой и завистью проводили их взглядами, и толпа быстро разошлась.

Дом девушки, которую звали Нонией, был чист и пуст. Хозяйка молча пригласила Каскета внутрь, молча подала ему обед и молча удалилась.

Каскет услышал звук льющейся воды: было похоже на то, что хозяйка принимала ванну. С удвоенной энергией он проглотил свой обед, и в это время Нония появилась в комнате. Они возлегли на её невинное девичье ложе и проделали ряд несложных телодвижений, которые до того понравились им обоим, что всё оставшееся время дня и всю ночь они занимались тем же.

Утром, как только рассвело, Каскет с некоторым сожалением посмотрел на спящую Нонию и вышел из дома. Его путь лежал за стены города, к густым и неприветливым лесам, состоящим по большей части из грабов, дубов и чинчуйских секвой. Солнце только встало, небо

было серо-розовым, и по нему плыли облака, напоминающие своим видом спаривающихся животных. Птицы только начинали петь свои утренние песни, которые вскоре ненавязчиво превратятся в дневные, а потом в вечерние, к ночи совершенно стихая, — к великой радости невольных слушателей.

Немного поблуждав по лесу, Каскет встретил одинокого дровосека.

Он спросил его, где здесь обитают компрачикосы, и дровосек подробно объяснил, где они обитают, что делают сейчас и чем занимаются вообще.

Попутно он также внятно и многословно изложил свои собственные взгляды на их деятельность, а также на то, почему он, зная их местоположение, до сих пор не сообщил куда следует. Последнее вышло у него достаточно невнятно и неубедительно. Каскет поблагодарил его и пошёл по указанной честным тружеником тропе, которая привела его вскоре к длинному каменному строению с крошечными оконцами и дверью, сделанной из цельной гранитной плиты. На строении было написано: "Компрачикосы. Мастерская. Вход слева". Возле указанного входа Каскета встретил улыбчивый толстячок с выпученными блёклыми глазами, и они, немного помедлив от первоначального изумления, бросились затем друг к другу в объятия. Произошёл некий быстрый и малопонятный разговор, в котором вспоминалось прежде и нещадно клялось нынешнее, а затем толстячок, звавшийся Воозом, пригласил Каскета в дом. Здесь Каскет был представлен второму компрачикосу, Ипсиланти, сухопарому и жёлчному типу со вставными железными зубами. Ипсиланти был специалист по приданию нужных форм. Каскет удивился, что компрачикосов всего двое, а также тому, какими хитроумными и осторожными способами те выкрадывали детей у тупоголовых жителей Ыбдуза. Вооз подмигивал и вопил, что это — секрет производства, и что тут ничего не поделаешь, хоть Каскет и старый друг, но тайны ремесла — это тайны ремесла, извинаясь. Ипсиланти взвизгивал каким-то особенным смешком и блестел своими зубами. Каскет витиевато высказался в том плане, что, не ожидая ничего от такого неприятного во всех отношениях поручения, он встретил внезапно и вдруг двух старых друзей, а это уже радость и, если не бояться этого слова, даже счастье. После этих слов двое компрачикосов окончательно проицклись к нему пылкой и многословной симпатией.

Потом пошли смотреть воозовских подопечных. Те размещались в большом помещении, которое на первый взгляд было похоже на мастерскую горшечника. Тут и там стояли большие кувшины, из которых торчали детские головы, остриженные наголо. Некоторые головы спали, другие таращились на вошедших круглыми испуганными глазами. Каскета разобрал смех, и он согнулся вдвое. Ипсиланти начал объяснять, какие уродцы получаются из тех, что в горшках, и какие пользуются спросом, служа для потехи местным князьям и прочим аристократам.

— Мы копим, — пояснил его слова Вооз. — Надо расширять производство, усиливать темпы, заменить устаревшее оборудование. Появилась конкуренция. С такими моделями сейчас много не заработаешь. Методы, которыми мы пользуемся, также безнадежно устарели. Но не ломать же им кости молотками!

Каскет, понимая справедливое возмущение Вооза, смеялся.

— В знак нашей старой дружбы, — наклонился к нему Вооз, — дарим тебе любого... да хотя бы этого, он как раз готов для продажи. Учти, просить за него следует не меньше пятисот оболов. И то этого будет мало, ибо те труды, которые мы положили на него, тянут на всю тысячу.

— Отлично, — сказал довольный Каскет, осматривая товар. — Ну, приятно было повидаться.

— Ты куда идёшь? — спросил Ипсиланги.

— Перевалю через горы, а там видно будет. Хочу пойти сейчас, потому что, как мне показалось, местные жители производят впечатление людей хоть и недалеких, но весьма быстроногих.

— О да! — заулыбался Вооз. — Но ты же от них уйдёшь?

— О да! — заулыбался и Каскет.

Компрачикосы снабдили его плетёнкой вина и некоторым количеством съестных припасов, и Каскет отправился в путь, захватив с собой мальчика лет десяти — карлика с непомерно большой головой и носом, набрякшим какой-то тёмной жидкостью. Так как Каскет отправлялся в путь без денег, то ему требовалось побыстрее сбыть свой товар, а потому он зашёл в один большой и богатый замок, где карлика приобрели у него за восемьсот оболов. Больше получить не удалось, хотя Каскет долго и упорно торговался, отстаивая каждый грош и нудно перечисляя все достоинства своего спутника. Но ему удалось ещё кое-что выжать из представившейся возможности, переночевав в замке и стянув несколько мелких, но ценных безделушек, отсутствие которых обитатели замка, люди богатые и немелочные, заметят нескоро. В полдень Каскет двинулся в путь по седой от выпавшей за ночь росы долине к серым горным цепям вдалеке.

ГЛАВА 3

"Муза скажи мне о том многоопытном муже который боги Пора он настагает мчится словно молния вот уж не ожи... оп хоп ямы какие глубокие коряги чёрт бы их побрал оп взобраться бы на гору а там оп-па чёрт ямы а там я в безопасности меч потерял нет не по... оп нет не потерял слава небе..."

Каскет бежал по светлой берёзовой роще, ловко прыгая через коряги и глубокие ямины, а следом за ним скакало, сопя и взрывая землю короткими толстыми ногами, опасное чудовище бинфэн. Обе головы его, расположенные спереди и сзади мускулистого кабаньего туловища, покрытого короткой лоснящейся щетиной, громко хрюкали от возбуждения. Они бежали так довольно долго, и только недостаточная для быстрого бега длина ног бинфэна до сих пор спасала Каскета. Но бинфэн был упорен в достижении своей цели — сожрать Каскета, а Каскет уже порядком устал. Где-то по дороге он потерял пояс, в котором хранились все его вырученные деньги, и это отнюдь не придавало ему сил. Как назло, берёза — дерево не очень-то удобное, чтобы мигом взобраться на него, не обладая цепкими когтями, а потому Каскета могла спасти только виднеющаяся немного впереди гора — преддверие вечного льда, снега и разрежённого воздуха.

Роща, как мельком успел заметить Каскет, не была необитаемой.

Когда они с бинфэном с шумом пронеслись между прямых и белых древесных стволов, ломая и приминая кустарник, по сторонам мелькали некие плохо различимые фигуры в зелёных колпаках. По-видимому, это были альрауны. В одном месте одна такая фигура с белой бородой и с топором в руке восхищённо заулюлюкала им вслед, и радостно захрюкала ей в тон головы бинфэна.

Роца вплотную примыкала к каменистому боку горы, уходящему вверх, словно ступени гигантской лестницы. Каскет с ходу запрыгнул на первые исполинские валуны и быстро начал взбираться вверх. Но и бинфэн не отставал. Он проявлял чудеса прыти и ловкости — видимо, был сильно голоден. Так они молча, с сопением карабкались, некоторое время, пока, наконец, Каскет не заметил сбоку от себя вход в пещеру, возле которого толпились какие-то карлики в оранжево-бурых плащах. При его приближении карлики резво исчезли в недрах горы, а вход закрыла большая бронзовая дверь с четырьмя наклёпанными сверху железными полосами. Каскет не раздумывая налёг на эту дверь плечом, и она утробно скригнула. Бинфэн уже был где-то рядом: слышалось его шумное похрюкивание. Каскет налёг сильнее. За дверью завозились, и чей-то голос сипло прокричал:

— Эй! Ты сейчас нам дверь выломаешь, дурило!

Каскет с руганью пнул дверь, вызвав поток ответной ругани, и, путаясь в изодранном плаще, начал карабкаться на почти отвесную стену возле пещеры. Ему удалось залезть на скальный козырёк, нависающий над бронзовой дверью. Здесь он устроился и с любопытством стал ждать появления бинфэна. Тот себя ждать не заставил. Он тяжело дышал, отдувался и оглядывал окрестности двумя парами налитых кровью глазок, тщаься найти Каскета. Каскет, сидя на козырьке, с помощью специальных упражнений привёл в порядок дыхание, потом крикнул бинфэну:

— Наверх посмотри. Что, спал? А ты постучись вот в эту дверь. Или не открывают?

Бинфэн с радостным хрюканьем устремился к двери, одним ударом вышиб её и скрылся в недрах горы. Из темного лаза послышались громкие воли. Каскет с удовольствием прислушался к ним, ещё немного передохнул и полез дальше вверх.

Когда он достиг вершины горы, его глазам представился грандиозный вид громадного хребта, частью которого, как оказалось, и была гора. Вид был — точно на плоском белом чертеже, потонувшем в прозрачном мареве облаков, что особенно подчёркивало геометрические пропорции открывшегося пейзажа: чёткие треугольники пиков, устремляющиеся вверх, округлая бесконечность туманных бездонных пропастей, трапеции пиков поменьше, которым будто не хватило сил дорасти до своих громадных братьев, сравняться с недосыгаемыми треугольниками; многогранные горных цепей, закидывающих сети своих скал далеко к сердцу мирных зелёных долин. И над всем этим ровным и сверкающим кругом — символом вечной бесконечности — висело холодное горное солнце. Вершина горы была плоской и каменистой, только в дальнем углу её, на маленьком клочке земли, росла старая ель, у корней которой журчал пробивающийся меж камней слабый ручеёк. Под этой елью толстый старик по имени Лаглас лепил из влажной земли глиняного голема.

Когда на вершине показался Каскет, утомлённый, испарянный и

в изодранном плаще, Лаплас уже заканчивал свой труд.

— Собственно, я уже заканчиваю свой труд, — сказал он подошедшему Каскету, который жадно приник к воде ручейка, а потом, напившись, устало присел на камни у корней дерева. — Правда, остались кое-какие детали... нос... глаза — вместо них я вставляю вот эти два камешка, правда, красивые?... рот... у-у, какой большой, в него поместишься даже ты...

Взгляд старика скользнул по Каскету.

— Давно лепишь? — спросил тот, отдышавшись.

— Давно, давно. Как создан мир.

— Да, давненько, — согласился с ним Каскет. — Что там вдали, за этими горами?

— Страны.

— Это хорошо. А то я думал было, что горы эти никогда не кончатся.

— Всё кончается и заканчивается. Всё начинается и зачинается. Всё претворяется и притворяется.

— Вода в твоём роднике вкусная.

— Обычная вода. Вода жизни.

— А.

Ель шумела ветвями. Было прохладно.

— Всё. — Лаплас долепил своего истукана. — Теперь самое главное и самое важное. Теперь надо его оживить. Поможешь?

— А почему нет? — бездумно согласился Каскет.

— Сначала нужно узнать текущее имя бога, — наставительствовал Лаплас. — Но какое? Текущих имен также — великое множество. Затем — кровь. Нужно сбрызнуть кровью голову голема. Можно, конечно, этого и не делать. Но лучше сбрызнуть. Тогда он будет прямо как человек.

— Где ты найдёшь здесь кровь? — наивно спросил Каскет.

— Они растут быстро, — говорил старик. — За неделю вырастают до громадных размеров. Конечно, риск. Но зато сколько возможностей! Имя бога может быть совершенно неизвестным, иным словом, ещё неслышанным доселе этим миром. Попробуем?

И они стали изошряться в произнесении невнятных и чуждых разуму словес, каждое из которых по своему звучанию чем-то роднилось с шумами, по временам издаваемыми органами пищеварения. Сначала Каскету это нравилось, но затем порядком наскучило. Он сильно проголодался и устал. Отойдя от Лапласа, который продолжал что-то бормотать и выкрикивать, Каскет сел возле родника и задремал.

Разбудил его звук голоса Лапласа, который произнёс что-то вроде очередного "грмрдр", и последовавший за этим странный шорох. Он открыл глаза и увидел, что голем больше не походит на серую бесформенную глыбу затвердевшей глины, но более похож на облепленного влажной почвой человека, правда, немного уродливого. Глаза-камешки его странно блестели, а руки были разведены в стороны. Но что самое главное, в правой руке его был меч, и этим мечом голем описывал угрожающие круги, направляясь к Каскету. Лаплас за спиной голема тихонько хихикал и довольно потирал руки.

— Вот видишь, — крикнул он Каскету. — Мне удалось узнать текущее имя. А теперь ты узнаешь, чья кровь необходима моему голему для полного его завершения.

Каскет вскочил на ноги и сделал выпад мечом в сторону голема. Тот ловко отскочил. Лаплас прыгал и громко смеялся. Каскет и глиняное порождение магии закружили друг против друга, обмениваясь частыми ударами. Голем двигался упруго и ловко, тогда как уставший после длительного подъёма Каскет был не в форме и скоро понял, что если поединок будет продолжаться так и дальше, он действительно быстро узнает, чья же кровь нужна для полного завершения голема. Тот обрушился на него с новыми силами, которых, судя по всему, было ещё много, и ослепил сериями эскапад и туше. Каскету пришлось плохо. Он кое-как сумел отбиться, не обращая внимания на издевательский смех творца голема. Затем прыгнул за большой камень, выигрывая время. Голем на секунду потерял ориентацию. Они стали ходить вокруг камня, время от времени обмениваясь ударами. Каскет пока думал.

— Всё по правилам! — вопил Лаплас. — Всё по правилам!

Судя по всему, он был в восторге.

Не придумав ничего лучшего, Каскет стал подбирать с земли увесистые булыжники и метать их в своего противника. Эта прогрессивная метода вскоре оказала свое действие: один булыжник выбил меч из руки голема, другой раздробил ему живот, а третий, метко запущенный, снёс истукану голову. После этого голем рассыпался, превратившись в кучку серой глины, а улыбка быстро сползла с лица Лапласа.

Каскет крепко связал его и прислонил спиной к камню. В рот Лапласу он засунул кусок своего плаща — дабы старик не учинил ещё какого-нибудь злонамеренного колдовства. Закончив, отошёл и немного полюбовался на плоды своих трудов. Затем вытащил меч.

— Блаженны идиоты, — произнёс он, — ибо их есть царствие небесное. Блаженны тупые ублюдки, ибо они соль земли. Блаженны нелепые ханжи, ибо они бога узрят. Блаженны гонители и мракобесы, ибо они — свет мира. Блаженны вечно алчущие и жаждущие чужого, ибо они насытятся. Блаженны нечистые душой и осквернённые пороками, ибо они наследуют землю. И если просто изречёшь: "да, да" или "нет, нет", то это от лукавого. И если правый глаз соблазняет тебя, соблазнись, ибо не причинишь так себе вреда. Ты слышал, что сказано: "Око за око, зуб за зуб"? И я говорю тебе: воистину!

С этими словами он кончиком своего меча сделал несколько аккуратных надрезов на теле Лапласа в месте залегания крупных сосудов и с минуту с удовлетворением смотрел, как кровь вымывает из колдуна жизнь, орошая землю и одежду тёмно-красным. Потом Каскет ушёл с этого места.

Когда же сошёл он с горы, за ним не следовало множество народа.

ГЛАВА 4

Каскет шёл по узкой, извилистой горной тропинке, и яростный ледяной ветер сшибал его с ног. В горах была непогода. Временами, когда не было ветра, откуда-то снизу наползал парной, промозглый туман, в котором невозможно было дышать, и тогда и тропа, и горные пики вокруг переставали быть видны. Потом, внезапно, туман разгоняло резким ветром, который принимался завывать в камнях и тёмных

отверстиях гротов. Этот визг был неприятен на слух, особенно для Каскета, слушающего его вот уже двое суток. Двое суток он пробирался через горные цепи, одолевал крутые заснеженные перевалы, попадая то в утомительно жаркие долины с вязким неподвижным воздухом, то на пронизывающе-холодные вершины. Он измотался и похудел, но не потерял присутствия духа. Сейчас, правда, в голове его была сплошная мешанина и бардак, но в тумане не важно думать — важно не потерять тропу под ногами и не сбиться с пути.

Два раза ему казалось, что за ним кто-то следит, и оба раза так оно и оказывалось. Один раз горный великан-ётун, притаившись за утёсом, попытался схватить его своей громадной лапишей, но Каскет юркнул в узкую расщелину и дождался, пока ётун укывлял прочь. В другой раз целая орава скальных троллей высыпалась на него откуда-то сверху. Тронх он сбросил в пропасть, остальных преследовал до тех пор, пока не убил одного. Им Каскет поужинал. С тех пор в его желудке не побывало ни крошки, и Каскету ничего не оставалось, как брести в поисках безопасного и относительно тёплого ночлега.

В этих горах полновластным владыкой был Рюбецаль, хозяин горной непогоды и обвалов. Предполагалось, что Рюбецаль хорошо разбирается в людях, ибо всегда делит их на хороших и плохих — весьма поверхностное и несправедливое определение.

Когда Каскет, чудом увернувшись от очередного обвала, ступил на шаткий свайный мостик, пролётший над головокружительной пропастью, сзади из тени вынырнула фигура серого монаха. Холодные узловатые пальцы легли на руку Каскета.

— Ночлег, — пояснила фигура. — А мостик этот тебя не выдержит.

И Каскет послушно последовал за монахом, уныло размышляя, что вот, очередная ловушка какая-то, да не всё ли равно, ночевать негде, и вскоре оказалась в великолепных подземных чертогах. С потолка свешивались сталактиты самых невероятных конфигураций, камень стен сверкал мириадами оттенков, а потолок поддерживали прямые и толстые, будто гигантские свечи, сталагмиты. В глубине зала возвышался красивый резной трон, сделанный из драконьего черепа, и на этом троне сидел провожатый Каскета.

— Приветствую тебя, Рюбецаль, — церемонно поклонился Каскет. — Прости, что я в такой затрапезной одежде: увы, я не знал, что меня ожидает визит в твои подземные чертоги.

— Не беспокойся, — произнёс Рюбецаль звучным голосом. — Давно уже у меня никто не бывал, а если бы ты увидел моего последнего гостя, то задрожал бы от ужаса. Но приблизься, ибо тебя ждёт угощение.

Это было кстати. Каскет мигом оказался за столом, внезапно появившимся ниоткуда и заставленным великолепными яствами.

— Тебе налить этого вина? — для вежливости осведомился он с набитым ртом, показывая на кувшин.

— Нет. Ты знаешь, я не пью.

— Я этого не знал. Извини.

— Ты уже давно идёшь по моим горам, — сказал Рюбецаль, когда желудок Каскета более или менее удовлетворился объёмом втиснутой туда пищи. — Куда?

— Туда.

— Понятно. Это хорошее и полное объяснение. Но все-таки нельзя ли поподробнее?

— Я иду к Товне, — сказал Каскет. — Но, может, по пути раздумаю и направлюсь куда-нибудь ещё.

— Ну, будем пока придерживаться этого. Здесь редко ходят путники, поэтому ты был замечен.

— Немножко шалили ётуны и тролли. Но это не слишком важно

— Отраднo, что ты пришёл к такому заключению. Люди боятся ходить по моим горам — чувствуют опасность, а я лишь поддерживаю слухи. Нехорошо, когда у моего народа появляется дополнительный стимул охотиться за людьми.

— Все вы здесь отличаетесь редкой любознательностью, — проворчал Каскет. — Только ты один удосужился поинтересоваться, что я за человек, а не сколько я вешу, достаточно ли жирен и помещусь ли в котёл целиком или по частям.

— Да, мой народ не вполне цивилизован, — сокрушённо подтвердил Рюбецаль.

— Если ты это называешь "не вполне", — обиделся Каскет, — то тогда я — Сууша, легендарный просветитель людей.

Рюбецаль сошёл с трона и остановился возле одной из колонн.

— Вот никак не определю, что ты за человек, Каскет, — сказал он. — Я привык судить о человеке с первого взгляда. Тебя же мне не удаётся подогнать под определённые мерки. Ты весь какой-то изменчивый, мерцающий, как радужная плёнка на воде.

— Не суди, да не судим будешь, — поднял палец Каскет. — И каким судом будешь судить, таким будут судить и тебя.

— Брунду говоришь, — поморщился Рюбецаль. — Все вы, люди, болтаете что ни попадя, а сами делаете себе же поперёк. Вот ты, например, — не суди! Вздор! Все судят друг о друге, причём судят зло, пристрастно, явно добра не желая и не боясь, что о них будут судить так же, потому что о них так и судят. Зато извергаются массы слов, тяжёлых и велеlepных, призванных избыть то, чего уже никогда не избудешь.

Каскет пожал плечами.

— Ты себя таким не считаешь, — констатировал Рюбецаль. — Но и ты такой же, Каскет. Хотя про тебя этого не скажешь с такой же определённоcтью. Ты всё так же — идёшь к Товне или уже передумал?

— Иду к Товне.

— А я уж боялся, что ты передумал.

— А чего тебе бояться?

— Люди, — пояснил Рюбецаль, — часто меняют свои решения. Это объясняется их недолговечностью и боязнью не успеть.

Каскет промолчал. Он осматривал зал.

— Конец света, — наконец проговорил он.

— Чушь, — тут же отрезал Рюбецаль. — Ещё одна выдумка. Мир рушится постоянно, изо дня в день — где-то старое сменяется новым. А что ещё такое — конец мира? Не бывает — порушилось и всё. Обычно на это место приходит другое, не обязательно новое, прогрессивное и молодое, чаще даже — того же возраста, но — более живучее и умеющее приспособиться. А иногда и новое летит в тартарары, единственно только затем, чтобы уступить место старому — но это старое более приемлемо для мира. Новое не всегда приходится к месту, а старое —

оно как давно притёршийся, удобный чехол, в который можно затолкать весь букет грехов и ошибок и забыть о нём.

— А ты философ. Налить тебе этого вина?

— Я не пью.

— Забыл. Извини.

Каскет отхлебнул из бокала.

— Твоя теория неприменима к богам, — сказал он. — Все обваливается, ползёт, а они — стоят как ни в чем ни бывало.

— Я сам — бог, — услышал он. — Ты удивлён? Не удивляйся. Я тоже старый бог. Но по натуре я отшельник, и потому моя теория скорее всего применима именно к богам. Ты вот говоришь — стоят как ни в чем не бывало. Да не стоит никто! Стоять — это значит почитать в лаврах. Задача богов — не допускать, чтобы порушились их культы. А если, как утверждают некоторые, мир зиждется на богах, то он никогда целиком не обрушится — им это невыгодно. Они зубами и когтями будут держаться за старое, оно им мило и нескучно, оно навевает приятные воспоминания о сотворении мира и тому подобных вещах — любому богу, кто хоть раз в жизни сотворил что-нибудь, всегда приятно вспоминать об этом.

— Твой мир обрушился, — подумав, ответил Каскет.

— Я сам не хотел, чтобы он стоял. И потом — кто сказал, что он обрушился? Вот мой мир — и он стоит.

— Это горы, сюда никто не ходит.

— Дело не в этом. Как там они меня называют? Дух, демон, гений? Низшая мифология. А ведь всё равно — бог. Бог Места, имеющий над ним Власть. Что ещё нужно? Я не тщеславен. Мне не нужна власть над всем миром. Когда я сержусь или не в настроении, в горах непогода. Когда у меня здесь пир, над горами сияет солнце. Понимаешь?

— Абсолютно. Ты очень гостеприимный хозяин.

— Да нет, не очень. Знаешь, как бывает — хозяин-то гостеприимен, а гостей нет. Такая вот история.

— Не расстраивайся. Я разнесу по всему свету, чтобы почаще заходили в гости к Рюбецалю, ибо он — гостеприимный хозяин.

— Не надо, — отнёс Рюбецаль. — Не надо. Будут шастать здесь толпами, пугать троллей, дразнить ётунов, стрелять моих ласок. Меня сердить. Ладно. Ты не передумал? Тебе всё ещё надо в Товну? Снаружи буря, ибо я сегодня не в настроении, поэтому говори, куда тебе надо, и я перенесу тебя туда.

— Мне в Товну, — сказал Каскет. — Спасибо за пищу и кров, Рюбецаль.

И Каскет оказался на пустынной, неприглядной равнине к северу от города Товны.

Возле Товны уже много лет сидел сфинкс, терзающий своими неумными вопросами сначала уши путников, бредущих в город, а буде помянутые путники на эти вопросы не отвечали, то сфинкс терзал их тела, но уже не вопросами, а зубами. Эта же участь предстояла и Каскету. Он подошёл к сфинксу.

— Ты уже был здесь, — приветствовал его сфинкс. — Только в прошлый раз ты сумел ускользнуть от меня, не ответив на мои вопросы.

— На глупые вопросы не отвечаю.

— Те — может быть. Сейчас у меня другие вопросы.

— Пропasti рядом есть? — спросил Каскет.
— Зачем тебе пропasti? — поразился сфинкс.
— Это первый вопрос, — деловито произнёс Каскет. — Моё имя — Эдип.

— Мы так не договаривались, — заюлил сфинкс. — Здесь вопросы задаю я.

— Пока ты ходил вокруг да около, — перебил его Каскет, — выяснял, кто здесь уже был, а кого ещё не было, какие вопросы глупые, а какие нет, я взял инициативу в свои руки. Лучше благодари богов, что тебе попался такой добродетельный человек, как я, а не какой-нибудь шарлатан и краснобай. Вот уж картина, представьте: сфинкс и досужий демагог никак не могут переговорить друг друга.

— Только без фантазий, — строго сказал сфинкс. — Обязательно ведь найдётся такой — давай фантазировать: и то будет так, и это будет эдак, сфинкс и этот дема... ну, в общем, начинаю задавать вопросы.

Он надел очки и выташил бумажку.

— Отвечать быстро, чётко, не раздумывая и без лишних рассусоливаний, — сказал он и задал первый вопрос: — Кто из живых существ утром ходит на четырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх?
— При этих словах сфинкс хитро прищурился.

Возникла пауза.

— Кто-то здесь говорил, что у него вопросы умные, — сказал разочарованный Каскет.

— Извольте отвечать! — грозно рыкнул сфинкс.

Каскет устало помотал головой, закрыл и открыл глаза, потёр лицо рукой.

— Человек, — наконец сказал он. — Расшифровать?

— Странно, — задумался сфинкс. — А я-то думаю, что это у меня в животе бурчит? Давно не ел, оказывается! А всё потому, что вы все умные очень стали! — заорал он сварливо.

— Ты не кричи, — посоветовал Каскет. — Ещё вопросы будут?

Сфинкс достал другую бумажку.

— На этот вопрос ты уж точно не ответишь, — самодовольно заметил он. — Что быстрее всех на свете?

Каскет присел на камень.

— Давай, — предложил он, — я вздремну пока, а ты там поройся в своих бумажках, поищи, может, найдёшь вопрос посложнее. Ну, уж если нет посложнее, то хоть поумнее вопрос, позакковыристей, что ли...

— Да что это такое! — возмутился сфинкс. — Ты отвечаешь или нет?

— Мысль, — сказал Каскет. — Мысль быстрее всего на свете. Но тем, у кого её нет, этого не понять.

— Прошу без намеков, — предупредил сфинкс. — И наконец, — провозгласил он, — последний, самый сложный вопрос.

Каскет приготовился слушать с терпеливым выражением на лице.

— Что не умирает, если даже бывает похоронено в земле?

Каскет поднялся с камня.

— Сначала договоримся, — сказал он. — Если я найду разгадку и для этой твоей шарлады, ты выполняешь любое моё желание.

Сфинкс был вынужден согласиться.

— Мой ответ — семья, — сказал Каскет. — А теперь желание. Когда-то жители этого города или города, похожего на него, — сейчас уже не

помню — обидели меня. Они палками и пинками изгнали меня из города только за то — согласись, что это пустяк! — что я не уплатил за ночь одной шлюхе по имени Раав. Ты голоден. Иди и покормись немного в Товне.

Сфинкс почесал затылок.

— У меня уже была такая мысль, — важно объявил он, — но я её почему-то отбрасывал. Но ты прав. Да, — сказал он, окончательно решившись. — Пойду. А что ещё делать? Есть-то надо. Но ответственность — на тебе.

— Да ради бога, — пожал плечами Каскет. — Приятного аппетита, — пожелал он, удаляясь.

ГЛАВА 5

Преодолев безводную, но весьма непротяжённую пустыню Сегед, Каскет пришёл в Шамсурен, Город Площадей. Он не был здесь уже давно и успел соскучиться по гранитному безмолвию его памятников и чёрному великолепию площадей. Шамсуренский царь Эртель приходился Каскету родным дядей, и Каскет решил, внезапно вспомнив про долг родственника, а также про полнейшее отсутствие средств, навестить его. Город Площадей гостеприимно раскинулся перед ним, и Каскет вошёл в его распахнутые ворота.

Шамсурен, раскинувшийся на многие мили, был огромен, но на самом деле здесь жило не так уж много народа. Дома строились близ площадей, а они в Шамсурене были громадны, так что домишки теснились вокруг них, как нечто незначительное, ненужное, словно некий бесполезный, декоративный бордюр. Зато площади на того, кто видел их в первый раз, производили неизгладимое впечатление: колоссальные пустые пространства, выстланные чёрным мрамором или полированным базальтом, лежали немые и величественны как заповедные территории, на которые распространялся таинственный древний запрет-табу. Но Каскет прошёл по ним, плотно закутавшись в плащ и оставляя пыльные отпечатки своих башмаков на трауре чёрного базальта, ибо по площадям гулял сильный ветер, пробирающийся насквозь. Каскет думал о том, как попросить денег у своего дяди, и древние тайны Шамсурана мало волновали его.

Царский дворец, словно слепое бельмо, торчал на краю одной из площадей. Это было безобразное строение, нелепым слизнем растёкшееся по чистому чёрному мрамору, и Каскету захотелось взять в руки лопату, хорошую гигантскую лопату, и соскрести этот гнойный нарост со сверкающего тела площади. Но вместо этого он вошёл внутрь дворца.

Два раза его останавливали охранники, но оба раза он избавлялся от них посредством толчков и зуботычин. Потом это ему надоело, и он, продвигаясь по коридорам, просто стал орать:

— Дорогу! Дорогу наследнику!

И ему стали уступать.

Распахнув двери, он вошёл в один из покоев, где пребывал в одиночестве царь Эртель, упитанный человек, страстно увлечавшийся собиранием кальянов. Сейчас он курил один из них, богато

изукрашенный серебряной чеканкой. Когда в комнату вошёл-влетел Каскет, Эртель поперхнулся дымом, и внутри него и его кальяна одинаково забулькало.

— Дядя Эртель! — возопил Каскет, кидаясь к царю.

— Любимый племянник мой Каскет! — поспешно и так же громко вскрикнул Эртель, бросая кальян и широко раскрывая объятия.

— Какими судьбами? — приветливо спросил Эртель, когда взаимные родственные объятия немного ослабли и он смог высвободиться.

— Я решил навестить тебя, дядя, — сказал Каскет, незаметно оглядывая комнату в поисках вещиц поценнее. — Был так близко от города, что не мог не зайти, чтобы повидать тебя.

— Да, да, — рассеянно сказал Эртель, затягиваясь пахучим дымом.

— Ты же мой любимый племянник.

Они обменялись настороженными взглядами. Повисла неприятная пауза.

— Я прикажу, чтобы тебе приготовили комнату, — сказал затем Эртель, следя за Каскетом.

— Спасибо, дядя, — смиренно ответил тот.

На этой нейтральной ноте они расстались. Всю ночь Каскет не спал, прислушиваясь к шагам бродящих по дворцу привидений и временами обращаясь взглядом к окну, за которым над мёртвыми чёрными площадями Шамсурена висел желтоватый сгусток луны.

Завтрак его вполне удовлетворил: бифштекс был в меру прожарен, и так же в меру была вина — как раз, чтобы отряхнуть с себя пыль тревожных сновидений. После завтрака Каскет решил прогуляться по дворцу.

Он прошёл картинной галереей, полюбовался портретами умерших царей Шамсурена, вышел на террасу и с минуту смотрел на площадь и на виднеющееся вдалеке море — синюю полосу, пересечённую силуэтами невысоких городских башен. Вставало бурое солнце. Со стороны моря ветер доносил запах свежести — странный аромат в наполненном древней, сухой пылью дворце.

Вдруг Каскету пришла в голову отличная мысль. Он вспомнил, что у Эртеля есть дочь, его двоюродная сестра, по имени Адальперг. В детстве он частенько дразнил её, всячески переделывая её звучное имя и доводя Адальперг до слёз. Сейчас она, наверное, повзрослела и расцвела. Во всяком случае, на последнее Каскет надеялся. Не грех было бы навестить её: до вечера далеко, а именно вечером Каскет собирался попросить дядю помочь ему. Он резко направился к выходу, но в дверях столкнулся с девушкой. Она мигом очаровала его, и он также мигом понял, что это и есть его кузина Адальперг. От своего лоснящегося папаша она не унаследовала ни единой чёрточки, даже цвет её волос — каштановый с чуть рыжеватым отливом — совсем не походил на цвет редких прядей, свисающих с черепа Эртеля. Она была одета во что-то белое, и это удивительно шло к её стройной фигуре и тонкому лицу с большими, тёмными, приподнятыми к вискам глазами.

Каскет галантно поклонился.

— Я узнала, что ты здесь, — сказала она, отбрасывая всяческие церемонии, — и сразу направилась сюда. Ты очень изменился, Каскет.

— А ты — нисколько, — отвечал Каскет. — Я сразу узнал тебя. Я думал о тебе.

— Ты был у отца? — спросила она. — Ах да, я же видела тебя. Он всё такой же, правда?

— Какой? — осторожно спросил Каскет.

— Добрый, — воскликнула она. — Ты разве так не считаешь? Ты ведь любил его.

— Д-да, — промямлил Каскет. — Я и сейчас... некоторым образом...

— Вот видишь, — продолжала она, не слушая. — Но ты ведь не знаешь дворца. Пойдём, я покажу его тебе.

И она, взяв его за руку, как в детстве, повела за собой. Каскету она нравилась всё больше и больше.

— У тебя есть жених? — спросил он как бы между прочим.

— Есть. Но он далеко, в какой-то стране с длинным-предлинным названием.

— А-а.

Они пришли в небольшую уютную залу, всю заставленную старинными вазами в рост человека, и долго разговаривали здесь, вспоминая детство.

Вечером Каскет зашёл к дяде. Эртель курил кальян, но на этот раз вид его нельзя было назвать мечтательным.

— Тебя видела с моей дочерью. — Взгляд Эртеля показывал, что всё лицемерие отброшено. — Не смей к ней прикасаться. У неё есть жених. Очень влиятельный человек, сын герцога Мортании.

— Но она мне сестра, — возразил Каскет, не отведя глаз. — Мы очень мило вспоминали про наши детские шалости.

— Меня это не интересует, — перебил Эртель. — Покажись ей ещё раз — и я скормлю тебя отвратительным тварям, которых достаточно обитать в подземельях под моим дворцом.

Судя по всему, разговор о деньгах сегодня был бы неудачен, и Каскет поспешно ретировался.

Весь следующий день он бесцельно бродил по огромному дворцу, обнаруживая всё новые потайные уголки; безуспешно приударил за какой-то служанкой, убежавшей от него с нестерпимым визгом; начал было играть в порко, но разбил деревянным мячом окно и был вынужден прервать своё занятие. Потом он смотрел на далёкое море и строил планы. Ночью спал плохо.

Он снова зашёл в комнату Эртеля. Тот курил сиреневый с красноватым отливом кальян, в котором сипело. Был настроен критически.

— Ты ещё здесь? — встретил он Каскета. — Я думал, ты уже ушёл.

— Я хотел попрощаться, — тактично начал Каскет. — К тому же...

Кальян хрипло забулькал и заглушил его слова.

— Ты что-то сказал?

— Я сказал...

В кальяне забурчало так громко, что собственный желудок Каскета отозвался на это дружеским приветом.

— Извини. Я слушаю тебя.

Каскет открыл рот, чтобы снова заикнуться о деньгах, но кальян вновь засипел, и Каскет ушёл раздосадованный.

Парило. Солнце закрыли белые ровные облака, на которые невозможно было смотреть, так ослепительно жгли сквозь них солнечные лучи. Не было ни дуновения ветерка со стороны моря. Во дворце душный зной окутал галереи и террасы, проник в залы, невзирая на

тёмные занавеси, воцарился в низких покоех и тесных кабинетах. Каскет, страдая от жары, маясь и проклиная себя за то, что забрёл в это неприветливое место, лежал в своей комнате и пил прохладительные напитки. Но уйти отсюда уже не мог. Его здесь что-то держало, и в глубине души он не хотел уточнять, что именно приковывало его к этому дворцу.

Ближе к вечеру он спустился в сад, расположенный внутри дворца, в кольце каменных стен. Дурманяще-сладко цвели серпентусы, ало горели шровереты, мягкие терпкие лилии-белокровки свесились над красноватыми дорожками. Где-то в глубинах сада, в тёмных дебрях лиан и скипулов, громко орали гаруды и попугаи, изредка глухо фукал чёрный феникс, клекотал грифон, и ему вторила ноготь-птица. Каскет остановился возле одной стены и увидел далеко вверху окно.

— Скучно, — сказал Каскет, внимательно прикидывая высоту. — Очень скучно, — повторил он.

Дождавшись наступления темноты, он, не тратя времени даром, отправился в сад. Стену увивал тернистый плющ. Каскет сначала не придавал этому большого значения, но потом ему пришлось пожалеть об этом: плющ больно оцарапал его, пока он с кряхтением взбирался на стену.

Адальперг уже спала, и его появление напугало её. Но он быстро успокоил её, сказав несколько слов. Она увидела кровь на его одежде.

— Ты ранен? — воскликнула она. — Люди отца ранили тебя? Ты дрался, дрался за меня?

— Я укололся о плющ, — отвечал Каскет.

Девушка было горячее, как и окружавшая их душная ночь. Они не сомкнули глаз до утра, занимаясь любовью с большим пылом.

— А-а! — заорал Эртель, вламываясь утром в комнату Адальперг. От этого крика Каскету стало нехорошо. С его дядей было ещё человек двадцать, или это так показалось Каскету спросонья. Довольно неумело размахивая длинным мечом, Эртель начал гоняться за скачущим по всей комнате Каскетом, который под конец, боясь пораниться об острый клинок Эртеля, выскочил в окно. На полпути плющ предательски оборвался, и Каскет больно ушибся при падении. Здесь, в прекрасном благоухающем саду, его и взяли люди царя, крепко связав. Сверху неслись отчаянные крики Адальперг и рев Эртеля: видимо, происходило небольшое родительское внушение.

— Любимая! — воскликнул Каскет, Эртелю назло. — Я не забуду тебя и с края света приду, чтобы наши любящие сердца воссоединились!

— Я буду ждать, — донеслось сверху, заглушаемое нечленораздельными звуками, издаваемыми Эртелем. — Я будуечно ждать!

Тяжёлая дубинка стукнула Каскета по затылку, и ему стало не до Адальперг.

Он очнулся в подземелье. Возле него с факелом в руках стоял Эртель. Он ухмылялся.

— Никто не сможет упрекнуть меня в том, — сказал он, — что я не предупреждал тебя. Нет, я предостерегал тебя, но ты не внял моим советам, кои были продиктованы исключительно моей доброй волей и благорасположением.

— Но в каком, — заметил Каскет, — они были сделаны тоне?

— Тон — это вопрос вторичный. Главное — смысл, содержавшийся в моих увещеваниях.

— Из-за тона я не понял смысла, — возразил Каскет. — Но всё равно я ценю твои советы, дядя, как ценил их и в детстве, когда прислу...

— Я для тебя "его величество", — сварливо перебил Эртель. — Что же ценю в тебе я, Каскет, так это твой талант добытчика, если не сказать прямее и грубее. Ты мне достанешь одну вещь. Но её трудно достать! — Эртель мерзко захихикал.

— От твоих слов, дядя Эртель, — сказал Каскет, ёжась, — холодок пробирает меня. Ты меня знаешь, я человек робкий и неспособный на какой-либо отчаянно-смелый поступок.

— Заткнись! — оборвал Эртель. — Ты пойдёшь и достанешь мне мандрагору.

— Но мне надо подумать, — упавшим голосом проговорил Каскет.

— О да, — чарующе улыбнулся Эртель. — Я подожду тут за углом. Надеюсь, тебе не помешают некоторые бродящие здесь в изобилии твари, которые, наверно, уже давно не ели и голодный блеск глаз коих я замечаю вон в тех тёмных проходах.

— Я согласен, — тотчас же ответил Каскет.

Утрюемого вида стражники приволокли его в курительную Эртеля. Тот как всегда дымил кальяном, золотым с бирюзовыми вкраплениями. Другой кальян, отделанный треугольными сапфирами, курил советник царя Вундт, человек-тапир с безобразной мордой и зелёными морщинистыми лапами, выглядывающими из тонких кружевных манжет. Его Каскет ненавидел, пожалуй, сильнее, чем своего дядю.

— Надо отдать тебе должное, — произнёс Эртель, когда Каскета расковали. — Адальперг тоскует по тебе. Но я запер её в башне: так, может быть, она быстрее успокоится.

Эртель и Вундт внимательно следили за реакцией Каскета.

— Мерзавец! — пылко вскричал тот, потому что этого от него ждали.

— Ты заплатишься за это!

— Всё такой же дурак, — заметил Вундт. — В детстве дурак — и сейчас дурак. Дурак — и всё!

— Сам ты дурак, — сказал ему Каскет. — Сволочь поганая.

Вундт обиделся.

— Ты лучше подумай, — ехидно намекнул Эртель, — как ты собираешься выполнять своё обещание. Или ты не обещал ничего? А ну, поклонись!

— Клянусь фаллосом Тука, бога стрекоз, — поклялся Каскет.

— Мандрагора, — сказал Вундт, — есть растение необычное, свойств которого почти никто не знает достоверно. Все, кто пытался добыть его, погибали страшной смертью.

Каскет расхохотался.

— Чего это ты смеёшься? — насторожились они.

— Те, кто погиб, были просто невежды, — ответил Каскет. — Были ли они одни в своем странствии?

— Не было никакого странствия, — недовольно произнёс Эртель, уязвлённый смехом Каскета. — Мандрагора растёт в лесу, который расположен за городской чертой. А насчёт другого — да, они отправлялись в путь всегда в одиночку. Тебе что-то известно?

— Только то, что нужно с собой взять спутника.

— Для чего?

Каскет снова засмеялся.

— Для компании.

Каскет, Эртель и Вундт вышли из дворца. Была ночь того же дня, беззвёздная и тревожная. Вдалеке мерно шумело море. Через два часа они оказались у кромки леса. Это был странный лес: совершенно лишённый подлеска, с огромными могучими деревьями, которые стояли правильными рядами, он был похож скорее на храм неведомого бога, чем на обычный лес.

— Здесь растёт мандрагора, — сказал Эртель.

— Да, сегодня можно будет сорвать её. — Каскет посмотрел на небо, потом на своих спутников. Вундт держал меч, и Каскет не сомневался, что при малейшем неосторожном движении тапир тут же убьёт его.

Поляну, где росли мандрагоры, они обнаружили быстро, ибо она была не единственной такой поляной в этом колдовском лесу. Там и сям среди тёмной травы слабо светились пучки листьев. Казалось, всё застыло кругом, не издавая ни звука. Прислушиваясь, Каскет сделал знак. Эртель и Вундт подошли поближе, всё время тревожно оглядываясь. Каскет нагнулся и взялся за один светящийся пучок.

— И как это вы, — заметил он, — согласились пойти за мной?

С этими словами он потянул мандрагору из земли. Раздался глухой, жуткий стон. У него закололо в висках, кровавой пеленой застлало глаза, но он успел увидеть, как два его спутника упали на землю. Выдернутую из земли мандрагору Каскет небрежно отшвырнул в сторону. Эртель смотрел на него угасающим взглядом.

— Невежество, — назидательно сказал ему Каскет. — Когда в доме такая великолепная библиотека, только полный болван захочет курить кальян и валяться на мягком ложе. Мандрагора излишне возбуждает, дорогой дядя, и я очень рад, что это не пошло тебе на пользу.

Потом Каскет исчез в лесу.

ГЛАВА 6

Он вышел к невысокой горе, у подножия которой стояла хижина, крытая тёсом. Внутри хижины сидел странного вида лысый человек, которого звали Ставангер. Ставангер был представителем бестической философской школы, поэтому приветствовал Каскета восторженным рычанием, стрекотом и кваканьем. У него давно не было собеседников, и жажда общения переполняла его.

— Приветствую тебя, — сдержанно и с недоверием сказал Каскет.

Ставангер засвистел и зацокал, но потом перешёл на нормальный человеческий язык. Он сказал:

— Извините. Но долгое общение с собственной натурой и натурой окружающей отучило меня говорить на языке людей.

Он предложил Каскету поесть, а сам в это время кричал селезнем и что-то жужжал себе под нос.

— Вы никогда не замечали... — сказал он, дождавшись, когда Каскет поест, и оглушил его потоком слов. Каскет некоторое время безуспешно вслушивался, потом веки его сами собой сомкнулись, и он заснул.

Когда он проснулся, Ставангера рядом не было, а был он, судя по всему, где-то около дома, откуда доносилось веселое чириканье и лай.

— Вы отличный слушатель, — произнёс Ставангер, внезапно

появляясь в дверях с охапкой приторно пахнувших пурпурных цветов, от запаха которых у Каскета тут же разболелась голова. — Вы очень внимательно меня слушали, но не вставили ни одного слова. Что вы думаете... — и он вновь выбил почву из-под ног Каскета бурной рекой слов. Но теперь Каскет отдохнул и был во всеоружии.

— Я думаю... — сказал он и в ответ ошеломил Ставангера не менее бурным собственным монологом, от которого Ставангер пришёл в восторг.

— Какой школе принадлежат ваши взгляды?

— Я панккаскетист, — отвечал Каскет, — иногда, впрочем, смиряющийся с правдой жизни.

Ставангер закивал.

— Прислушайтесь, — прошептал он, и Каскет наострил уши. — Прислушайтесь к природе! Вы никогда не замечали, какие яркие чувства и поразительная гамма эмоций заключены в звуках, издаваемых животными? Ну, послушайте хотя бы вот это: ква-ква! Не правда ли? Ква-ква! Не могли бы вы повторить?

— Ква-ква! — сосредоточенно повторил Каскет, стараясь вникнуть в сокровенное значение этих звуков.

— Не правда ли? — снова пришёл в восторг Ставангер. — Или вот это: гав! Гав! Гав-гав-гав! Да?

— Гав-гав! — лаял Каскет.

— Или: ку-ку! ку-ку! Так и напрашиваются, знаете ли, различные по глубине своей мысли.

— Ку-ку!

— Ку-ку!

— Ку-ку!

Так до поздней ночи они выли, рычали, кричали, мяукали на разные лады, то вместе, то поочерёдно, и кончилось это тем, что внезапно в двери вломилась из леса большая орда диких зверей и существ, которую привлёк сюда их оживлённый диалог. Каскет успел выскочить в окно и долго улепётывал извилистыми тропами, тогда как в оставленной им хижине выли образцовый и на этот раз неподдельный хор ужасных голосов, обладатели которых собрались на свой поздний ужин.

Эту ночь он провёл на высоком дереве, прислушиваясь к каждому шелесту и дрожа от страха.

Как только наступило утро, он быстро спустился с дерева и рысцой припустил через лес, смутно памятуя о том, что где-то рядом когда-то была небольшая деревушка. Он пересёк лес, пересёк поле, пересёк мелкую, вонючую речушку и увидел, наконец, деревню. Она состояла из десятка бревенчатых домов, над которыми клубился желтоватый дымок. Возле деревни было большое поле. На этом поле возле сохи с лошастью стоял крестьянин по имени Мимнерм и тупо пялился на глубокий провал в земле, из которого он только что вытащил свою соху.

Каскет подошёл и тоже уставился на провал. Мимнерм поглядел на него.

— Вот, понимаешь, пашу, — произнёс он, — и вдруг — хрясь, понимаешь, земля под лемехом, бултых вниз, оттуда снизу, понимаешь, — бабах, потом туп-туп!

Он замолк.

"Клад, — про себя обрадовался Каскет. — Как кстати! Этот тупица так и не поймёт ничего".

— Подожди меня здесь, — торопливо бросил он Мимнерму. — Я залезу туда и посмотрю, в чём дело.

И он прыгнул в яму. Пролетев значительное расстояние, он свалился на кучу земли и только потому остался жив. Каскет огляделся. Клада он никакого не увидел, а увидел он точно такое же поле. Или не точно такое же... Нет, это поле было другое. Оно было тёмно-синего цвета и всё покрыто белыми сверкающими крапинами, подозрительно похожими на звёзды. Посреди поля белела луна, закрытая тучами. И луна, и тучи были намертво впаены в поверхность поля. Каскет посмотрел наверх. Над ним, далеко вверху, колыхались верхушками вниз деревья, мерцала гладь озера, в котором отражалась его размытая фигура. По полю головой вниз двигался человек, в котором Каскет узнал Мимнерма. Но настоящий Мимнерм смотрел на Каскета из той дыры, через которую он попал сюда. Его круглая голова казалась чёрной точкой посреди светлого круга.

До Каскета донёсся дружный вопль. Поле было обитаемо. Двенадцать молодых с упорным энтузиазмом гоняли по нему мяч, сделанный из сердца циклопа. Сам же циклоп охранял ворота — красный овал в горе — и всякий раз, как молодцы с гиканьем подкатывались к самым воротам, безнадежно махал в воздухе руками и раскрывал жаркую пасть. Но мяч летел мимо, чтобы через секунду вновь оказаться на поле и в игре. Судил игру чёрный сухопарый человек в пасторской шляпе и с тревником в руке.

В то время как Каскет с изумлением вглядывался в эту картину, один игрок вдруг исчез, и скрежещущий голос судьи объявил:

— Замена!

И Каскет очутился в игре. Пока наблюдал за ней со стороны, он убедился в том, что правила ему непонятны. Но когда оказался в гогочущей и ржущей толпе играющих, когда увесистый мяч попал в него, опрокинув на землю, когда чьи-то крепкие ноги с явным удовольствием прошлись по его телу и кости Каскета отозвались на эту акцию болезненным хрустом, Каскет понял, что правил этой игры он не поймёт и не узнает никогда, даже если будет гонять мяч по этому странному полю всю свою оставшуюся жизнь. Толпа молодых в очередной раз увлекла его за собой, и Каскет очутился рядом с циклопом. Тот следил за мячом кротким глазом.

— Ну что пасть разинул? — со злобой крикнул ему Каскет. — Прыгни как следует и поймай мяч.

— Нельзя, — ответил циклоп, внимательно следя за игрой. — С места трогаться нельзя.

— Правил здесь всё равно нет, — сказал Каскет, отбивая мяч, — толпа молодых устремилась в другой конец поля. — Твоё сердце?

— Ага. Моё.

— Ну так схвати его.

— Последствия.

— Не бойся последствий.

— Ты знаешь, куда попал? — спросил его циклоп, соизволив, наконец, оторвать взгляд от игры. — Это Место Хаоса, точка, где соприкасаются миры Порядка и его Противоположности, Хаоса. Не то

чтобы здесь царил хаос во всём. Просто здесь нет порядка в том значении, в каком вы его понимаете. Но законы — есть. Хаос — это сплошная случайность...

Мяч влетел в ворота, и циклоп мотнул в воздухе руками.

— Здесь нет причинности? — спросил его Каскет.

— Нет. Воля случая. Или кого там ещё. Видишь того в шляпе? Это, как говорится, бог. А эти вот — ангелы.

— Понятно.

— Да ничего тебе не понятно, — недовольно отозвался циклоп.

— Верно, — покорно согласился Каскет. — Ничего мне не понятно...

Но, положим, что будет, если ты вдруг схватишь мяч?

Циклоп в ужасе содрогнулся.

— Здесь-то ничего не будет. А вот там, откуда ты родом...

— Кроме того, что там уже произошло, ничего страшного там произойти не может, — успокоил Каскет. — Так что лови. Или игра закончится?

— Она никогда не закончится. Просто будет другой вратарь.

— Вот и успокойсья. Отдохнёшь. Каково без сердца-то!

— Так-то так...

И циклоп глубоко задумался. Ватага молодцев-ангелов, поднимая едкую пыль, промчалась мимо.

— Всё станет с ног на голову, — очнулся циклоп.

— А сейчас не так, что ли? — засмеялся Каскет. — Посмотри: деревья у вас наверху, а звёзды и луну вы топчете ногами, будто это простая трава.

— А другого мы не знаем, — важно изрёк циклоп.

Орава сшибла Каскета с ног в очередной раз и пронеслась мимо.

— Мне это надоело, — объявил Каскет, поднимаясь и отряхивая колени. — Хватай мяч, образина.

Мяч, отделившись от толпы, летел к циклопу.

— Попытка не пытка, — пробормотал тот и, схватив мяч, проглотил его. Моментально игра прекратилась. Циклоп хлопал своим глазом. Игроки стояли на местах. Судья скривился.

— Кто подбил его на это? — спросил он, и взгляд его переместился на Каскета, довольно глупо ухмыляющегося.

— Держи вот этого! — завопил злобно судья, бывший одновременно богом, и первым бросился через всё поле к Каскету. Ретивые игроки, взвизгивая, неслись за ним.

— Хватай! — ревели вокруг.

Потом всё умолкло, и небо под ногами у Каскета вздрогнуло. Циклоп исчез с громким хлопком. Игроки попадали. Судья стоял, глядя вверх. Поверхность под Каскетом выгнулась, и его выбросило ввысь. Он долетел до своей дыры и схватился за её края руками. Посмотрев через плечо вниз, увидел, что бравая команда с судьёй во главе стоит посреди невысокого леса и недоумённо переглядывается. Рядом с Каскетом сияла луна. Ему захотелось потрогать её рукой, но вместо этого он подтянулся и вылез на поле. Мимнёрм был здесь. Ни слова не говоря, Каскет схватил его и швырнул в дыру, откуда только что сам вылез. Прислушался. Из дыры донеслись чьи-то вопли, потом скрипучий, далёкий голос объявил:

— Замена!

Поле вокруг приобрело голубоватый оттенок. Деревни не было. Не было и солнца над головой — лишь какое-то неясное свечение. В воздухе висел странный, невесёлый, тягучий звук — будто небо медленно разлезалось на части, как ветхая ткань. Каскет отправился своей дорогой.

ГЛАВА 7

Вскоре он вышел к морю. Оно было похоже на жёлчь, внезапно пришедшую в движение. Вязкая вода лениво и мерно накатывала на берег, потом отползала, и на берегу оставалась дохлая рыба и слизь. Солнца так и не было, лишь далеко впереди, за морем, что-то горело под линией горизонта, и море отсвечивало зелёным и коричневым.

Через несколько шагов Каскет набрёл на поселение нефтяных червей. Не столько чтобы согреться, а развлечения ради он бросил в одну дыру-скважину горящую веточку и с удовольствием понаблюдал, как нефтяной червь с визгом вылетел из своего обиталища, свалившись рядом с дырой. Каскет затушил его ногами и, отрезав от него несколько кусков полуще, съел их. Мясо червя отвратительно пахло нефтью, но Каскет подавил тошноту: впереди он не знал ни одного поселения, где можно было поесть.

Ближе к ночи он увидел город. Он хорошо помнил этот город, но так и не смог понять, почему не вспомнил про то, что город встретится на его пути. Город Ригемел зданиями из мрачного красного камня сбегал к морю. Когда-то часть его была затоплена водой, и теперь высокие башни торчали недалеко от берега, и на них отдыхали сирены. Звук в воздухе всё ещё висел — надрывный, тянущийся вой, — но Каскет так к нему привык, что уже не обращал внимания. Вместо этого он поспешил к Ригемелу, пропуская мимо ушей зазывные вопли сирен, показывающих ему свои прелести. Он решил сойти при дворе короля Ригемела за бродячего менестреля. Он знал, что дочь короля отличается божественной красотой, и также решил попытать счастья и добиться её руки.

Но как только он вошёл в город, на него набросились два дюжих стражника и, несильно побив, привели к королю. У Каскета не было времени разглядывать тёмный зал с колоннами, куда его ввели. С каменного трона к нему нагнулся мрачный бородатый человек с золотой короной на голове и горящими глазами. Каскет знал, что короля зовут Бургмайр. Кроме того, он знал, что у короля имеются ещё и прозвища и что их несколько: Бургмайра величали Кровавым, Безжалостным, Воителем и Чёрным. Глянув в его глаза, Каскет решил, что ни одно из этих прозвищ не лжёт.

— Назвался менестрелем? — проговорил король низким басом, от которого у Каскета забурчало в животе. — А как зовут тебя, любезный менестрель?

— Каскет, — сказал Каскет.

— А ну-ка, исполни что-нибудь, называющий себя Каскетом! — крикнул Бургмайр.

Каскет втянул в себя воздух и начал:

Тристан давно в лесу живёт,
И эта жизнь — не сладкий мёд.
Его не сыщешь поутру,
Где спать ложился ввечеру:
Он знает — волей короля
Вся ригемельская земля
Ему теперь как вражий стан.
Вкус хлеба позабыл Тристан.

Лицо короля смягчилось.

— Эй, люди! — грянул его голос. — Одеть и накормить этого проходимца. Он настоящий менестрель. Потом приведите сюда. Я ему верю.

С Каскетом сделали что было приказано. Он вновь предстал пред очи короля.

— Вижу, вижу, — сказал тот. — Ты сыт и доволен.

Каскет сказал:

Тристан теперь в дворце живёт,
И эта жизнь как сладкий мёд.
Давно не прятался в нору,
Глодал железную кору.
Он знает — волей короля
Вся ригемельская земля
Ему теперь и кров и дом.
Сего достиг своим трудом.

— О! Да ты поэт, — удивился Бургкмайр. — Тебя мне послал сам Махес, бог грозы и бури, сын Баст. Какому богу ты поклоняешься?

— Туку, богу стрекоз, — сказал Каскет.

— Не знаю такого, — нахмурился король.

— Это малоизвестный бог, — объяснил Каскет.

— Неважно. Что ты знаешь о драконах, менестрель?

— Лишь то, что они — драконы, — осторожно ответил Каскет.

— Я даю тебе всю ночь — узнать о них побольше. Бог Махес прислал тебя сюда, чтобы помочь городу. Коварный и кровожадный дракон по имени Нибур поселился в окрестностях нашего города. Сегодня утром он похитил мою дочь Ситу прямо из дворца, когда она гуляла по берегу моря со своей служанкой.

— А что он сделал со служанкой? — спросил любопытный Каскет.

— Обычно драконы пугают служанок так, что они впадают в полубессознательное состояние, или навевают колдовские сны, или...

— Он её попросту сожрал, — сказал Бургкмайр. — Так вот, никто не осмеливается идти на бой с Нибуrom. Ты человек с хорошо подвешенным языком, ловкий и, судя по всему, смелый. На заре ты пойдёшь и сразишься с драконом.

— Хорошо, — согласился Каскет без промедления. — Но, великий король, я не отдыхал три дня. Чтобы увидеть чудеса города, о которых я слышал далеко за пределами твоей земли, я спешил, сбивая ноги в кровь и мечтая увидеть поскорее великие башни Ригемела. Словно вихрь, обгоняя толпы паломников, спешащих сюда, я бежал, и свист раздавался мне вслед. Я не хотел отдыхать, о нет, я словно ветер, словно

буря, да какое там, словно северный ураган, нёсся сюда, дабы взглянуть хоть одним глазом на ригемельские достопримечательности. Смилуйся, король, и дай мне отдохнуть немного.

И король смиловался. Утром Каскета разбудили пинками, сняли с него тяжёлые цепи и выпустили из сырой и непроветренной темницы, где он провёл ночь. Его снабдили большим, неудобным мечом, ибо свой он потерял где-то в пути, и гнали до самых ворот города, безжалостно стуча по спине толстыми нестругаными палками из сырого дерева.

Так Каскет снова оказался на берегу моря. Ему указали направление, любезно пнув пониже спины, и он отправился в путь. Проходя берегом, он увидел братьев Симона и Андрея, которые тянули сети из воды, ибо были рыболовы. Он позвал их с собой, и они пошли. Симон был косоглазый урод с лицом, побитым крупными рябинами, а Андрей, его брат, разнился с ним лишь тем, что рябины на его лице были немногим меньше. По пути произошел такой диалог.

— Итак, храбрые рыцари, — хлопнул Каскет храбрых рыбаков по твёрдым плечам. — Знайте, что мы идём на дракона, причём главная роль в этом деле принадлежит не мне, а вам, выходцам из народной среды, витязям, так сказать, кому самой судьбой предначертано повергнуть адское чудовище и уничтожить его.

Пламенная эта речь лишь в малой степени встретила отклик, ибо была понята только наполовину.

— Поверг... — прогукал Симон, усиленно пытаясь шевельнуть той малой толикой извилин, которая имела в его черепной коробке. — Стало быть... да нешто...

На этой риторической ноте его мозговая деятельность закончилась. Андрей был посообразительней.

— Это кто ж пойдёт-то на дракона? — спросил он. — Мы, што ли?

— Вы, легендарные святогоры, — радостно закричал Каскет, налетая на них и не давая обдумать его слова. — Ну и я тоже. Великий король Бургмайр, ну вы знаете, призвал меня к себе — а надо вам сказать, что я великий истребитель драконов по имени Палтус — так вот, он призвал меня и сказал — доверительно так, вполголоса, — говорит — иди-де, верный Палтус, и найди двух храбрейших в моей стране рыболовов. Одного зовут Андрей, а другого — Пётр.

— Симон, — прогудел Симон.

— Да, да, Симон, ну конечно, он так и сказал — иди, говорит, и найди мне двух храбрейших в моей стране рыболовов — Андрея и... м-м... Симона. Пустяки их на дракона, и ты увидишь, как затрясётся мерзкая bestия, узрев их, как поперхнётся своим огнем и как сразу выдаст им мою драгоценную и, можно сказать, любимую дочь.

— Дочь, — повторили легендарные витязи, выходцы из народа и истребители драконов.

— Да, — кричал Каскет. Он окончательно вошёл в раж. — Больше того, король сказал мне — я знаю, они настолько храбры, что им не нужны ни мечи, ни копыя, благодаря своему устрашающему, дикому нраву они покончат с тварью, терроризирующей наши земли, расправятся с ней и вернуться в ликующий город, где их встретят прекрасные девы с розовыми венками, а может быть, даже дубовыми, хотя я лично думаю, что эти венки будут лавровыми.

Братья восторженно закивали. Перспектива им нравилась.

— Ну так вперёд, доблестные воители! — вопил Каскет, потрясая мечом. — Мы идём на дракона!

— Ага! — орали вместе с ним воители. — Идём, стало быть!

С морского берега они вскорости попали в тёмный и унылый лес, тишину которого нарушал лишь далёкий хохот леших. Лес был утрюмый, но Каскет так взвинутил своих спутников, что вид леса их несколько не смутил. А чтобы такое настроение не упало, Каскет всю дорогу говорил, пел героические песни и попытался даже станцевать лезгинку с мечом в зубах, но меч не удержался в его зубах, потому что был слишком тяжёлый, и Каскету пришлось оставить эту затею.

Наконец на одном дереве они увидели надпись рунами: "Дракон. 3 мили" и стрелку, указывающую куда-то налево.

— Вперёд! — выкрикнул Каскет. — Принцесса ждёт вас, герои!

Герои с шумом и треском устремились в ту сторону. Каскет вздохнул и пошёл следом.

Они прошли ещё два указателя, висевших с точностью через одну милю, и оказались перед одиноко стоящей скалой, в которой виднелась дверь. На ней висела табличка: "Дракон. Не беспокоить".

— Во! — заскорузлым, пахнувшим рыбой пальцем показал Симон на дверь. — Там он, подлюга! Чую я его!

Каскет бодро осмотрелся, затем приказал братьям встать перед дверью и громко вызывать дракона с промежутком в две минуты. Сам он залёг в ближайших кустах. Через две минуты после того, как Симон и Андрей что-то нечленораздельно проорали, дверь приоткрылась, и через неё ударил мощный поток жгучего пламени, который мгновенно испепелил драконоборцев, превратив их в прах. Тогда Каскет вышел из кустов, спокойно подошёл к двери и деликатно постучал.

Через некоторое время послышалось бодрое "иду", за дверью протопотали шаги, и дверь открыл низенький лысоватый толстячок. Толстячок гостеприимно улыбался и тщетно пытался скрыть струйки дыма, идущие у него из ноздрей.

— Досточтимый Нибур, дракон? — осведомился Каскет.

— Да, да. — Толстячок заулыбался ещё шире.

— Я Каскет, — представился Каскет, — некоторым образом драконоборец. По очень важному делу.

— Очень рад. — Дракон торопливо распахнул дверь и пропустил Каскета внутрь. — Живёшь, знаете ли, в глуши...

В помещении запах палёного был ещё сильнее. Единственная комната была очень большой, каменные скамьи покрыты шкурами сируйтов и леших. По углам были свалены в кучу драконовы сокровища, покрытые вековой пылью. В одном углу на грубой подстилке скорчилась дрожащая девушка, облачённая в рваные лохмотья. Рядом с ней сидел мужчина со связанными за спиной руками. На шипящем огне, горевшем посреди помещения, стоял большой котелок, в котором варились человеческие ноги. Каскет остановился у огня.

— У вас пригорает, — показал он на котелок.

— Ох, ох, — засуетился Нибур, прищелкнул пальцами — пламя немного поухтило. — Решил, знаете ли, приготовить хороший студень.

— Конечно, — сказал Каскет.

— Пожалуйста, присаживайтесь, — пригласил дракон. Каскет сел на одну из скамей. Нибур уселся напротив.

— Чем могу? — осведомился он.

— Видите ли, — начал Каскет, — благодаря некоторому стечению обстоятельств, которое вряд ли можно назвать благоприятным, я послан исполнить одно поручение или даже приказ. Некий король расположенного здесь неподалеку городишка просит вернуть ему его дочь.

— Ах да, — задумался дракон. — Было у меня недавно...

— Я могу хотя бы увидеть её? — спросил Каскет, с сомнением поглядывая на котелок с варившимися ногами.

— Да вот она, — махнул рукой Нибур на сжавшуюся в углу девушку.

— Ах, эта! — Каскет тоже посмотрел туда: девушка была очень непривлекательна в своём рубище и вовсе не походила на прежнюю красавицу-принцессу. — А это кто? — Он кивнул на мужчину.

— Да это так, мой ужин, — бросил дракон. — Не обращайтесь внимания.

— Понятно. Вернёмся к нашему делу. Могу ли я — если, конечно, это не покажется вам дерзостью — могу ли я забрать принцессу отсюда?

— Конечно, конечно, — тотчас же согласился дракон.

— Но как же... — поражённо начал Каскет, не надеявшийся на такое скорое согласие и ожидавший, что дракон будет ломаться и заставлять себя упрашивать. — Как же я...

— Я, собственно, уже с ней, так сказать, натешился, — озорно подмигнул Нибур. — А чего ещё надо от такой молоденькой девушки? Пропитания у меня хватает, соседи хорошие.

Каскет подмигнул ему в ответ, и они засмеялись. Вскоре они уже сидели за одним столом, пили великолепное вино из погребов дракона и дружески разговаривали. Гостеприимный дракон предложил было Каскету немного содержимого из своего котелка, но тот вежливо отказался, сославшись на неизбежные человеческие предрассудки.

— Мой отец, — сказал на это Нибур, — умел готовить прекрасный хаш из человеческих ног. Причём чем моложе ножки, тем лучше — тогда они хорошо провариваются. Он и меня научил. И, можете себе представить, готовить хаш очень легко, ножки почти не нужно опаливать, и наvara с них много. Вот только выбирать надо уметь, ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха!

— Ну как она? — спросил потом Каскет шепотом, нагнувшись к уху Нибура и кивая в сторону Ситы.

— Ничего, ничего, — скорчил равнодушную мину дракон. — Правда, не знает некоторых простейших вещей, но всё искупается богатым воображением и живейшим восприятием.

— Ха-ха!

Расстались они совершенными друзьями. Каскет и Сита вышли из пещеры, Нибур сердечно с ними попрощался, причём у девушки это не вызвало никакого отклика, и Каскет повёл её через лес. Осмотрев принцессу внимательнее, он нашёл, что в целом материал недурён и даже лохмотья не могут обезобразить отличной фигуры девушки. Выбрав кусты погуше, он увлёк её туда и здесь немного поучил искусству любви. Девушка не сопротивлялась. Вообще-то после

драконова флирта с её рассудком что-то случилось, и Сита была явно не в себе.

Выйдя из леса и доведя девушку до берега моря, Каскет указал ей направление, где, по его мнению, находился Ригемел, а сам пошёл в противоположную сторону. Сита безучастно побрела по морскому берегу, но потом вдруг заинтересовалась камешками, отполированными волнами, и, наклонившись, стала собирать их в подол своего платья.

Солнца не было. Спустя некоторое время Каскету встретился некто прозванием Саошьянт, могучий витязь в круглом шлеме, верхом на быке. На небо с востока накатывалась тьма — по всем признакам, наступала ночь. Возле глубокого озера с крутыми обрывистыми берегами возвышался храм какого-то бога, имя которого Каскет позабыл. Он предложил Саошьянту переночевать в храме, на что тот согласился.

Храм был большой и неотапливаемый, людей в нём давно не было. Огромные идолы ялялись на них со стен, а с пола глазели идола поменьше — деревянные антропоморфные статуэтки в разных неприличных позах.

Саошьянт был раздумчивый человек. Он сказал:

— В этом храме нет души. Его боги мертвы. Следовательно, их нет. Когда мир будет валиться в бездну, а святые праведники восстанут к жизни, этот храм так и будет оставаться мёртвым.

— Ты прав, — сказал Каскет. Он собрал деревянные статуэтки с полу, навалил их в кучу и поджёг, потому что было холодно. — Душа храма в вере. Если же нет человека, нет и веры. А в этом храме отродясь не бывало людей. Чем ты занимаешься?

— Чиню суд, — ответил тот.

— Неплохое занятие. А что потом?

— Потом воскресают праведники. Сомневаюсь, что в этом месте есть могилы праведников. Долго спорили, как вообще отличить праведного человека от неправедного. И ничего не решили. Вот, смотри!

Он подошёл к своему быку и ударом меча отсёк ему голову. Потом не спеша разделал его и начал жарить мясо на костре из статуэток богов. Пока он этим занимался, в храм ворвались двое старцев почтенного вида, с белыми бородами и глазами, лучащимися благодатью.

— Искупительная жертва быка, — произнёс Саошьянт, обращаясь к Каскету, — воскрешает усопших праведников. В этих местах их всего двое. Это уже много. Мир вам, старцы праведные!

— И тебе мир, Саошьянт!

— Мир и тебе, Саошьянт!

Каскет зачерпнул немного крови, текущей из перерезанной шеи быка, и окропил ею старцев. Те вмиг исчезли, уступив своё место коричневым скелетам на полу.

— Ну зачем ты так? — укоризненно бросил Саошьянт через плечо.

— Зачем ты их лишил их праведности?

— Они лгали, — спокойно пояснил Каскет. — Праведного человека не бывает. Человек бывает лишь бредущий — сам не зная куда.

Саошьянт несколько раз кивнул головой.

— Давай есть, — сказал он, и они стали есть поджаренное мясо быка и пить вино из фляжки Саошьянта. Закончив есть, Саошьянт оживил быка и, выйдя из храма, привязал его у входа. Было уже совсем темно. Звук висел в воздухе — плотный, как полог.

Вернувшись, Саошьянт постоял в раздумье.

— Ничего не понимаю, — пробормотал он. — Ничего. Ты что-нибудь понимаешь, Каскет?

— А ничего и не надо понимать, — отозвался Каскет, грызущий большую кость. — Зачем понимать? Вот представь: кто-то всё понимает. Ты его спросишь: слушай, а это как? Он тебе: так и так. Ты — ему: а вот это? Он — снова: так и так-де. Всё понимает. Всё. Скучно это. Противно. Лучше ничего не понимать. Жить.

— Ты хорошо объясняешь, — кивнул Саошьянт. — Разумно. Объясни тогда: я — Саошьянт. Вот мой меч, им я должен истреблять носителей зла. Вон бык, его жертва воскрешает праведников. Где же суд? Суд — я? Объясни мне это, Каскет!

Каскет отложил кость в сторону и задумался.

— Нет, — сказал он наконец. — Ты — не суд, Саошьянт. Суд — это какое-то место, престол, херувимы, огненная река... Нет, ты не суд, Саошьянт.

— Я так и думал, — удовлетворённо ответил тот. — Сомнения одолели. Вопросы стали возникать. Так, значит, я не судия, Каскет?

— Не-а, — отозвался Каскет, грызя кость.

Саошьянт снял с себя меч и отбросил его в сторону.

— Пускай другие судят.

— Носители зла! — фыркнул вдруг Каскет. — Ну ты и придумал! Да где ты их найдёшь, таких рафинированных!

— Вот и я думаю.

Потом спали.

Утром, когда Каскет пробудился, он не нашёл Саошьянта возле себя. В стороне валялся его меч и шлем. Возле входа лежали остатки туши быка с перерезанным горлом. Самого Саошьянта нигде не было.

Каскет пожал плечами и вышел из храма.

ГЛАВА 8

Каскет шёл весь день. Он очень проголодался, но ему повезло: в одной деревне, где все люди сплошь были слепыми, он украл двух куриц и каравай хлеба. Будь у него времени побольше, он остался бы здесь и пожил немного, ибо любил людей беспомощных. Но звук в воздухе нарастал, и Каскет пошёл прочь, по длинной ровной дороге, ведущей за горизонт.

Только что тянулась перед ним равнина, бурая, в некоторых местах покрытая островками бурьяна, и вдруг прямо на дороге возник сказочный дворец. Весь белый, изящный, с башенками, лёгкими аркадами, парадными порталами и широкими витражами окон, с бесчисленными переходами и галереями, дворец казался настолько нереальным в этой местности, настолько явственной была какая-то печаль, разлитая во всех его линиях, что рисовался он странным и необычным сном.

Каскет протёр глаза. Но дворец не пропадал. Напротив, он возвышался перед ним, красуясь во всём своём блеске, и Каскету захотелось войти внутрь, посмотреть, что за великолепный властитель построил это чудо посреди безжизненной равнины, вдали от центров цивилизации и в

непосредственной близости к варварскому быту деревень.

Он долго блуждал по таинственному чертогу, но ни один обитатель его не попался ему на глаза. Только не было здесь того стонущего плача, который стоял снаружи, неумолчным воём надрывая уши. Но здесь была какая-то тоска, безысходность, ощущение безвозвратного падения и отсутствия всякой надежды, которые чувствовались в каждом новом переходе, открывающемся его глазам, в каждой колыхающейся пурпурной портюре, в каждом бледном бюсте, которому не хватало только венчающего его силуэта Ворона.

Неожиданно Каскет вышел в большой освещённый зал. Казалось, здесь были только занавеси, белые как снег, занавеси лёгкие, развевающиеся на ветру, занавеси прозрачные, и Каскету поначалу показалось, что занавеси заменяют этому залу стены. Но кроме занавесей было здесь и нечто более примечательное. В зале находилась женщина, и когда Каскет увидел её лицо, лишь оно запечатлелось в его памяти. Это было странное лицо. И вроде бы не было ничего в нём необычного — тонкое, бледное лицо, — но сквозь него виделось другое, лицо, которое невозможно описать словами, лицо милосердное, но печальное, доброе, но слишком грустное, чтобы быть по-настоящему добрым. Глаза светились понимающей любовью, но любовью не конкретной, не земной, а какой-то совершенно иной, которую не понять и не принять. И Каскет понял, что перед ним София, Премудрость Божия.

— Встань передо мной, Каскет, — услышал он её голос, мелодичный, но твёрдый, и Каскет тотчас же повиновался. — Знаешь, кто я?

— Знаю, — пробормотал он, отводя глаза.

— Я давно вижу тебя. Не наблюдаю и не слежу, ибо в этом нет необходимости. Ты ясно виден мне, и тебе это неприятно.

— Всякому будет неприятно, когда он узнает о таком.

— Тем не менее все люди всегда на виду. Мне поручено строить и устроить этот мир. Можно найти множество недостатков в нём, великую тьму пороков, странные несовместимости бытия. Это легко устранимо, но необъяснимо средствами людей. То, что кажется вам странным, для меня закономерность. Ваша беда в том, что вы всё видите исключительно со своих позиций, а они несовершенны.

— Но ты любишь людей, — сказал Каскет.

— Да, я люблю людей. — Голос её стал ещё мелодичнее. — Не то чтобы мне было велено любить людей, хотя и это тоже. Я прониклась к ним особым чувством и не требую жертвы.

— А я не собираюсь приносить жертвы и сам не буду ею, — произнёс Каскет.

София испытующе смирла его взглядом.

— Почему-то я знала об этом, — сказала она, — и ожидала этого от тебя. Но ты мне не ясен. Потому-то на дороге тебе и встретился мой дворец.

Каскет кивнул.

— Дорогу осилит бредущий, — сказал он.

— Один бредущий был и до тебя, — сказала она. — Но он принёс себя в жертву, дабы даровать спасение.

— Но я не бог, — возразил Каскет. — И не хочу им быть, ибо для этого нужно любить людей. Иногда я думаю, что это есть основной,

главный атрибут божества — любовь к людям. Ко всем людям! Вот этого я никогда не пойму.

— Это и не требуется.

— Ты защищаешь людей, — произнёс Каскет. — Во всяком случае, так говорят. Значит, ты их любишь. Вот так запросто появляешься перед каждым бредущим путником...

— Не перед каждым, — прервала она его. — Не каждому дано знать тайны мира. Ты побывал в Игре. Axis mundi. Это — мировращение.

— Я вовсе не преуменьшаю значение мной увиденного, — заметил Каскет. — Но мне нужно было оттуда выбираться...

— Вот именно, — сказала она. — Тебе нужно было оттуда выбираться. И для этого ты нажал невидимую кнопку, обратил необратимые процессы вспять. Теперь даже мне неизвестно, чем это всё кончится.

— Зачем знать? — пожал плечами Каскет. — Будет известно в своё время.

— Это время может и не настать, — строго сказала София, откидывая голову.

— Твоё дело — защитить людей от того, что может настать, — усмехнулся Каскет.

— А как ты представляешь себе своё дело? — спросила София. — Я не могу позволить тебе ломать и дальше. Это не по законам. Это противоречит всему.

— Раз это есть — значит, этому надлежит быть, — изрёк Каскет. — Такова незыблемая формула. А вот уничтожение этого будет действительно противоречить всем правилам.

София в раздумье медленно проплыла к высокому окну, за которым была видна всё та же бурая равнина. Потом так же медленно кивнула.

— Вот он, неизбежный дуализм! — засмеялся Каскет. — И никуда от него не деться. Всё подчиняется этому космическому цинизму. Ты сама создала мир таким, противопоставив свет и тьму.

— Я была лишь проводником высшей воли, — гневно воскликнула София. — И свет и тьма — ещё не всё. Есть и сумерки. Люди — сумеречны.

— Не все, — уклонился Каскет.

— Нет, все, — ударила София. — А кто нет — отступление от нормы. Патология. Это не люди.

— Очень хорошо, — поклонился Каскет, уязвлённый.

— Верно, я люблю людей, — продолжала София, — со всеми их грехами. Ведь они — люди. И я заступаюсь за них перед ликом Его и перед ликами тех, кто им вредит. Хотя твоё лицо не назовёшь ликом.

— Харя, — подсаказал Каскет. — Рожа, мурло, личина.

Она поморщилась.

— Может, и так. Но и это — лики. Они разные. Так просто не определишь твою маску, Каскет. А потому я всё равно не отступлюсь от своего, ибо я — защитница. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Ты можешь что-нибудь сказать?

— Я не отступлюсь от своего, — вызывающе передразнил её Каскет. — Иго моё благо, и бремя моё легко. Дорогу осилит бредущий.

— Сам выбирай свой путь из двorca, — рекла она.

И Каскет двинулся прямо на стену. Когда до неё оставалось совсем

немного, стена исчезла, и перед Каскетом вновь оказалась дорога.

— Ты выбрал, — донесся голос Софии.

Была дорога. По ней шёл человек в терновом венце. Каскет остановился.

— Quo vadis, Domine? — спросил он, когда человек поравнялся с ним.

И услышал:

— В Рим, чтобы быть снова распяту.

С этими словами человек исчез. Каскет помотал головой, потом рассмеялся.

— Такова твоя участь, — напутствовал он человека.

Потом Каскет пошёл своей дорогой.

ГЛАВА 9

Постепенно, не сразу, так, чтобы к нему привыкли и не кляли при первом услышании, не бежали узнавать, что это, не останавливались посреди дороги, обратившись в слух, постепенно, — звук нарастал в воздухе. Он не был ни на что похож, этот звук. К нему можно было применить все определения — и шум, и вой, и плач, и вопль, и стон, и скрежет зубов.

Каскет тоже не мог разобрать, что это.

Он быстро шагал по дороге. Равнина давно уже сменилась пейзажем покинутых деревень, обвалившихся стен, печных труб, торчавших из пепла быта, воронья, каркающего над развалинами. Каскету было безразлично, какое бедствие постигло этот край — мор или глад. Главное, сохранилась дорога, дающая направление. Это было главное.

На перекрёстке трёх дорог он остановился. Здесь стояли две статуи: Гекаты, ночной охотницы, и Януса, бога, которому ведомо всё. Здесь Каскет стоял раздумывая, когда со всех сторон и сверху послышалось хлопанье крыльев, адское завывание, хохот, свист бичей, и перед Каскетом закрутилась, завилась, заиграла Дикая охота. Каскет разглядел сонм страшных призраков и злых духов, мечущихся в скачущей пляске. Он стоял на месте — перекрёсток был особенно опасен для встречи с Дикой охотой, и потому бежать было некуда. В это время перед ним возник длинный сухопарый человек в чёрном костюме для верховой езды, чёрной широкополой шляпе и с допотопным мушкетом в руке. Его узкое безгубое лицо было мрачно. Они взглянули друг другу в глаза.

— Вот и ты, — наконец произнёс человек.

— Вот и ты! — заголосило, завывало вокруг. — Вот и ты! Давно мы ищем тебя, Каскет. Давно, давно, давно, давно мы ищем тебя, Каскет!

— Что я вам? — спросил Каскет.

Чёрный человек улыбнулся — оскалились его жёлтые клыки.

— Мы зовём тебя — присоединяйся к нам. Ты достоин нас.

— О, как ты достоин нас, — выли голоса. — Как достоин, как достоин ты нас, Каскет!

Каскет дождался, пока адский визг прекратится.

— Это ты так считаешь, Чёрный охотник? — спросил он.

Человек кивнул.

— Да.

— Я подумаю, — сказал Каскет, делая шаг.

Стальная рука тисками ухватила его за плечо, пронзив холодом, и чёрные глаза уперлись в его глаза. Каскет выдержал взгляд.

— Зачем тебе свой путь? — прошипел Чёрный охотник. — Идём с нами. Ты достоин нас.

— У меня своя дорога, и я иду ею, — произнёс Каскет, еле сдерживаясь.

Рука отпустила его.

— Гей! — грянул голос, и вокруг поднялся гам и стон, Дикая охота сорвалась с места и, ныряя в облаках, среди молний и вспышек, понеслась куда-то — исчезла.

Каскет поднялся с земли, куда его опрокинуло, и принялся отряхиваться. Закончив, он выпрямился и посмотрел в ту сторону, куда исчезла Дикая охота и где ещё слышался приглушенный вой.

— Не многовато ли побед на сегодня? — прошептал он задумчиво, продолжая свой путь.

Набатно звенело в тихом воздухе. Начались буковые леса, сменились полями, невозделанными, лежащими впусте, и казалось, никогда не оглашала их весёлая песня пахаря. На небе, где раньше было солнце, теперь расплылась белёсая клякса, мутно светящая. Горизонт обьяло красноватым заревом — неизвестно, что было там. И такое уныние наводил этот пейзаж, что Каскет в конце концов оставил себе под ноги и начал напевать весёлую песенку. На всём пути ему не встретилось ни одной обитаемой деревни, ни одного города, в котором кипела бы бурная жизнь. Жизнь была в запустении. Правда, люди ему встречались, но все они, в основном, болели, вели войны, скитались по дорогам и попрошайничали. Каскету нечего было дать им.

В конце концов он вышел на берег широкой реки, которая где-то вдалеке, за крутым изгибом, впадала в море. По реке плыли люди, дома, деревья, некоторые виды диких и домашних животных, трава, небо и туманный отблеск несуществующего солнца. Всё это медленно плыло по реке и уносилось в море. Через эту реку не было ни брода, ни моста.

Каскет стоял на берегу. По реке плыл корабль. Он назывался Нагльфар и был сделан из ногтей мертвецов. Корабль был огромен. Как грандиозный, отблёскивающий айсберг, он двигался вниз по течению реки, мерно взлетали — опускались весла, скрипели уключины, полоскался парус где-то в недостижимой вышине, и пескончаемый гул и бряцанье неслись с корабля, будто целое войнство плыло на нём к какой-то своей цели.

Каскет посмотрел назад, откуда пришёл. Его настигала Дикая охота. Теперь Чёрный охотник, видимо, не был уже настроен так миролюбиво, как вначале. Визг и улюлюканье неслись прямо в лицо Каскету, и он понял, что нужно спастись. Дикая охота не сможет нагнать его на воде, поэтому Каскет приложил ладони рупором ко рту и закричал:

— Эй, на судне!

Ему пришлось крикнуть ещё два раза. Корабль проплывал мимо, мерно взмахивали весла. На носу стоял человек. Он был высок, чернобород, в чёрном ниспадающем плаще и коническом рогатом шлеме. Человек повернул к Каскету своё насмешливое лицо и долго

изучающе смотрел на него, в то время как корабль продолжал плыть по течению. Каскет начал суетливо бегать по берегу и для пушей наглядности тыкать рукой в приближающуюся Дикую охоту. Человек повернул голову и с минуту изучал Дикую охоту. Наконец отдал какую-то команду. Каскет легко взбежал по опустившимся сходяням, и всё снова прорезали тихую мутную воду реки. Дикая охота остановилась на берегу. Клубящийся сонм призраков начал медленно таять болотным туманом, и Каскет видел, что перед тем как исчезнуть, Чёрный охотник поднял руку, затянутую в черную охотничью перчатку, в торжественном прощальном салюте.

ГЛАВА 10

Берега неспешно плыли мимо. Каскет взойшёл на мостик и встретился взглядом с человеком, спасшим его. Вдалеке, за открывшейся излучиной, виднелось море, и над ним небо багрянело тревожным пожаром. Каскет и человек в плаще встали друг против друга.

— Бог Локи, — сказал Каскет. — Я узнал тебя по кораблю сестры твоей Хель. Благодарю тебя.

Локи склонил голову в шлеме.

— Назовись! — сказал он.

— Каскет, — сказал Каскет.

— Этот корабль зовется Нагльфар, — произнёс Локи. — Мы плывём к Рагнарёк. Тебе известно об этом?

— Да, я знаю, — бросил Каскет. — Но мне не по пути с вами. Ведь я жив, а потому не смогу драться на твоей стороне.

— Иногда я бываю не своекорыстен, — пожал плечами Локи. — Я подобрал тебя из чистого благородства. Твоя благодарность льстит мне.

— Боги Асгарда первым убьют меня, кто был на стороне их злейшего врага, — быстро сказал Каскет. — Они так и не простили тебе смерти Бальдра.

— А по-твоему, из-за чего заварилась вся эта кутерьма? — зло фыркнул Локи. — Из-за этого сопляка, которого все почему-то считают мудрым и благодетельным. Клянусь громом! Я нисколько не жалею, что подсунил этому слепому дурню Хёду ту стрелу из омелы.

— Они отомстили, — тихо произнёс Каскет.

— Да, жестоко отомстили, — воскликнул Локи, и лицо его затвердело. — Они убили одного моего сына, а другого превратили в волка. Они окропляли моё лицо ядом змеи. О, они жестоко поплачутся за это!

— Я надеюсь.

Локи медленно повернул к нему лицо.

— Ты надеешься? Да ты будешь грызть землю от страха, когда произойдёт Гибель богов. Ты будешь кататься по земле и выть от страха.

— Что сказано в кеннингах? — спросил его Каскет. — Тебя называли "изначально проигрывающим". Почему? Тебе это известно?

— Да, — угрюмо ответил Локи. — Я никогда не узнаю, где находится заповедная роща Ходдмимир.

— Верно, — с довольным видом подтвердил Каскет.

— Тебе известно, где это? — Локи внезапно и с силой притянул его к себе. — Где?

— Я не знаю этих мест, — твёрдо сказал Каскет. — Скажи мне, когда будем у цели, и я попытаюсь показать тебе. Ибо ещё не родились Лив и Ливтрасир, и не выпала ещё та роса, которой они будут питаться.

Локи нехотя отпустил его. Потом вытащил откуда-то длинные клейкие красные нити.

— Это кишки моего сына Нары, — глухо молвил он. — Они связали меня ими, думая, что мне не вырваться. Клянусь кольцами другого моего сына, Ёрмунганда, я свяжу этой вервью Одина и сброшу его в мировую бездну Гинунгагап!

Потом прислушался.

— Слышишь?

В воздухе нарастал звук. Локи повернул лицо с горящими глазами к Каскету.

— Это рог Хеймдалля, — сказал он. — Уже вырвались на свободу дети мои Фенрир, Ёрмунганд и Хель. Кренится и дрожит мировой ясенё Иггдрасиль, и Фимбулветер наступает на землю.

— Ты боишься? — спросил Каскет.

— Боюсь? — расхохотался Локи. — Клянусь пастью Фенрира! Скоро мы будем в море. А потом я выпущу из этих трюмов тьму душ, когда-то обречённых на страшную муку, и они обрушатся на эйнхериев Одина.

Корабль выходил из устья реки. Впереди ярилось море. Свинцовые волны и свинцовое небо слились в одну бушующую стихию, и стало стужено. Каскет задрожал.

— Дрожишь? — крикнул Локи. — И Один дрожит так же, чуя свой конец!

Вокруг сталкивались друг с другом громадные валы, но Нагльфар шёл, прорезая их и даже не качаясь. Каскет плотнее завернулся в свой плащ и так же, как и Локи, зорче вглядывался вперёд. От рева воды и ветра мурашки бежали у него по телу.

Корабль шёл быстро. Зарево впереди стало разгораться, звук в воздухе был — точно зов рога, ибо страж богов Хеймдалль уже разбудил дружину асов, и она готовилась к конечной битве. Каскету стало странно-весело, и он засмеялся.

Начали попадаться айсберги. Корабль входил в зону вечных льдов. Резко похолодало, и плащ уже не спасал Каскета от порывов ледяного ветра. Волосы его, брови и ресницы обледенели, и весь он дрожал. Локи стоял рядом с ним, но ему всё было нипочем: он весь ушел в мистительно-радостное предвкушение грядущего сражения. Он что-то бормотал себе под нос и сжимал рукоять своего меча.

Зарево, достигнув блистающего предела, превратилось в неяркое сияние. Звук в воздухе пропал. Теперь корабль окружала тишина, и слышен был только шелест мелкого битого льда под днищем корабля да стук о борт осколков покрупнее. Впереди расстилалась белая заснеженная страна с чернеющими резко верхушками скал и свинцовым низким небом. Астард, страна богов, была перед ними.

Корабль остановился.

— Ну, теперь ты мне скажешь, где находится священная роща? — спросил внезапно Локи, оборачиваясь к Каскету.

Каскет чуть поколебался. Потом сказал.

— Недалеко, — удовлетворённо произнёс Локи. — Эй, у руля, курс — вперёд!

Продрогший, голодный и донельзя усталый, брёл Каскет по снежной стране. Не разбирая пути, спотыкаясь, падая, скользя по обледенелым склонам, он шёл вперёд. Позади себя он слышал неясные звуки начавшейся битвы, звон и стук титанических мечей, лай и грызню, знаменующую схватку Одина с Фенриром, зловещее шипение Ёрмунганда. Каскет, не оглядываясь, брёл прочь, а за горами вставало ослепительное сияние: то шёл Сурт с мечом, словно молния.

Потом всё кончилось. Местность начала вдруг резко меняться: сначала исчезли льды, потом постепенно сошёл на нет снег. Пропали скалы, деревья, чахлая трава, выбивающаяся из-под снега, камни, почва, вода родников, сочащихся с гор. Под ногами стелилась ровным слоем плотная бурая земля, которая отзывалась на каждый шаг громким чётким стуком. Каскет стоял на этой земле. Он оглянулся. Сзади безбрежно расстилались заснеженные поля льда, чёрные островерхие горы, надо всем этим мёртво темнело небо. Он посмотрел вперёд. Еще несколько десятков шагов, и бурая земля круто обрывалась в никуда. За этим провалом уже ничего не было, лишь сероватый туман изменчиво плыл, создавая фантазмагорические, насмешливые образы. Каскет подошёл поближе. Он стоял на краю земли. Перед ним лежала коричневая бездна без начала и конца, курящаяся серыми волокнами тумана. Оттуда налетал на него свирепый холодный ветер. Внизу ничего невозможно было различить. Бездна гасила и мысли, и желания. Она была всё.

Каскет находился у конца земли. Он ещё раз оглянулся. Локи наверняка уже идёт к незабвенной роще Ходдмимир, — не он, так кто-нибудь другой, им посланный, — и когда он достигнет рощи, тогда погибнут Лив и Ливтрасир. Тогда всё погибнет.

Каскет, удовлетворённый, стоял и стоял у края погибающей земли. Он думал, что скажет на прощанье что-нибудь эдакое, что-нибудь геройское вроде: "ну и идите вы все в ад!" или "милый Рагнарёк!" или даже: "Боги и люди, все вы одинаковы!" Каскет удивился сам себе, потому что ничего такого не сказал.

Вместо этого он разбежался и прыгнул в открывшуюся под ним головокружительную бездну.

Материалы рубрик:

Эссе о поэзии

Поэзия эмиграции

Из опыта мировой поэзии

Мир един: зарубежная поэзия сегодня

Без сюжета

Одно стихотворение

подготовил *Шамшад АБДУЛЛАЕВ*.

На обложке рисунок *Вячеслава УСЕИНОВА*

Технический редактор *Гульнара РАМАЗАНОВА*

Журнал набран и сверстан на компьютере IBM.

Адрес редакции: 700000 Ташкент, ГСП, ул. Буюк Турон, 41. Телефоны: 33-42-68, 33-07-78.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Перепечатка без соглашения с редакцией не допускается, ссылка на "ЗВ" обязательна.

Подписано в печать 03.04.96. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная.

Офсетная печать. Усл. п. л. 11,76. Уч.-изд. л. 15,75. Тираж 6000.

Заказ 128. Цена договорная.

Отпечатано в типографии ИПК "Шарк".

700083 Ташкент, ул. Буюк Турон, 41.